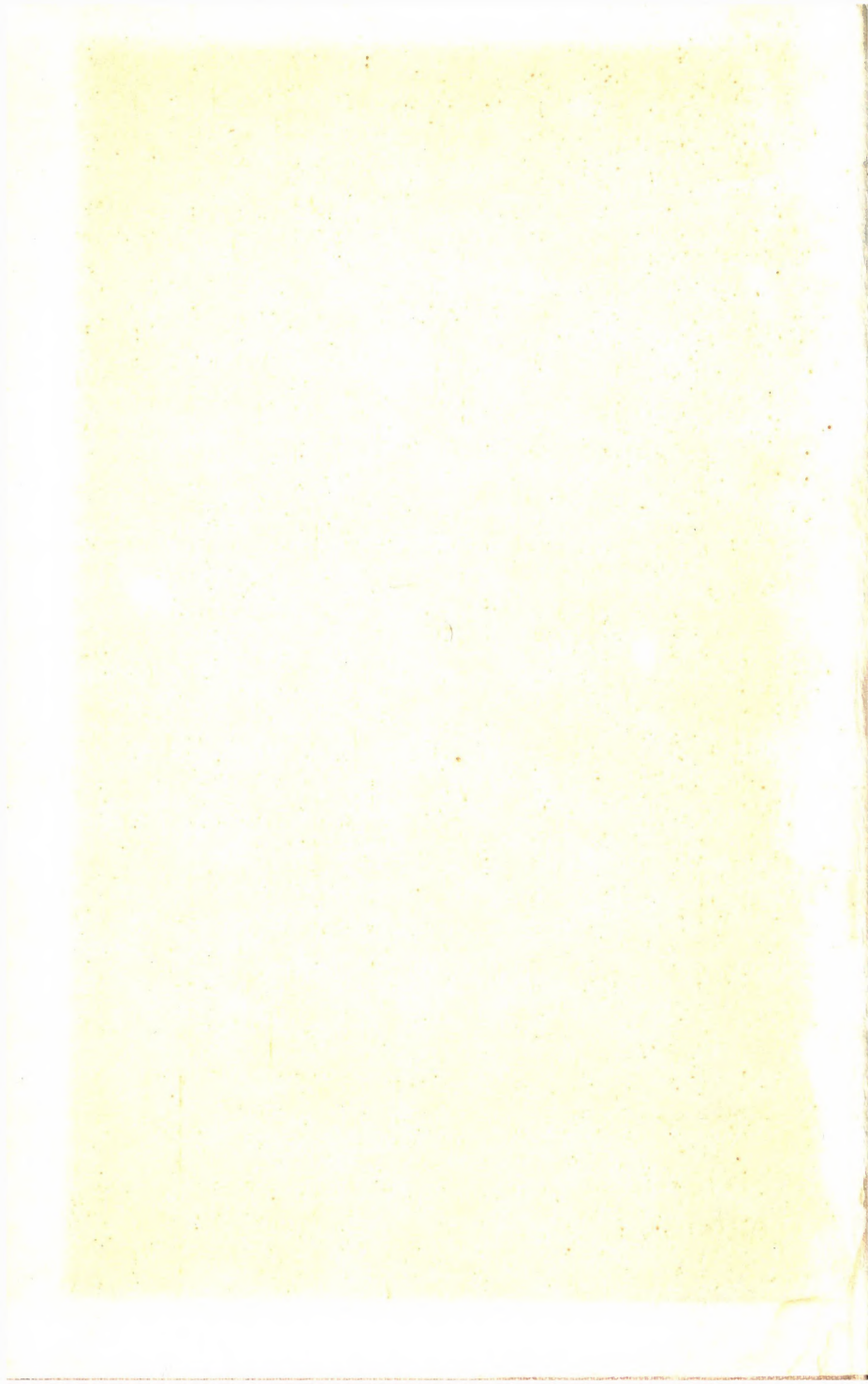


**ЛАРИСА
РЕЙСНЕР**

Изобразительное





ЛАРИСА РЕЙСНЕР

ИЗБРАННОЕ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1980

P2
P35

Вступительная статья
И. КРАМОВА

Составление и подготовка текста
А. НАУМОВОЙ

Художник
М. ШЛОСБЕРГ

Р $\frac{70302-008}{028(01)-80}$ 80-80

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

1

Имя Ларисы Рейснер стоит у истоков советской литературы. Написано ею не так уж много. Однако по силе воздействия на читателя, по тому интересу, какой вызвало ее творчество, оно занимает особое место среди других художественных явлений 20-х годов.

Советский очерк и документальная проза с появлением «Гамбурге на баррикадах» (1923) и цикла «Уголь, железо и живые люди» (1924) обретают свой голос и свою судьбу.

Дерзость замысла и размах свершений побуждали современников сопоставлять документальную прозу Рейснер с другим замечательным литературным событием тех лет — книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Одним из первых обратил внимание на сходство писателей известный немецкий публицист и журналист Эгон Эрвин Киш. Но надо сказать, что Рейснер не была тут учеником. Она искала на тех же путях, что и Рид. Их появление в одно время обнаруживало творческую энергию литературы, стремящейся запечатлеть эпоху.

В предисловии, предпосланном «Фронту» (1918—1921), Лариса Рейснер пишет о тех, кому адресует книгу и, в конечном итоге, свое творчество, — об обитателях переполненных студенческих общежитий, которые «в несколько курьерски быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру».

Этот «буйный, непримиримый народец материалистов» для Рейснер не только аудитория, которую надо просвещать. Ее отношение к своему предполагаемому читателю многое объясняет не только в ее творчестве, но и в жизни.

Чтобы «одолеть старую буржуазную культуру», надо учиться — и она готова учить. Просветительский запал явственно ощутим во всем, что она пишет в эти годы. Но в то же время она готова и

стремится учиться сама. С тем же спокойным мужеством, какое выделяет она как одну из отличительных черт молодых рабфаковцев, она приходит к ним, чтобы учиться самой.

То, что довелось пережить Рейснер, — необычно, поражает воображение. Она ходит в разведку, пробирается в занятую бслыми Казань, участвует в боях за Свияжск, где Красная Армия на Восточном фронте получает боевое крещение.

События, которыми богата ее жизнь, настолько увлекательны, что слава «Дианы-воительницы», как назвал ее однажды в письме Федор Раскольников, затмевала порою в представлениях современников ее писательский труд. «Ей нужно было жить и нужно было помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером в руках, ибо она отличалась духом искаательства, неугомонной подвижностью, смелости, жадности к жизни и крепкой воли», — писал о ней журнал «Красная новь». Один из хорошо знавших Ларису Рейснер людей назвал ее неугомонную подвижность и смелость, ее ненstreбимую страсть к странствиям «яростью жизни».

В соединении женственности и мужества, пронизательного, взвешивающего ума с пылким, увлекающимся сердцем — особое обаяние Рейснер. Но полнее всего ее богато одаренная натура выразилась в творчестве, и книги остались свидетельством главного подвига ее жизни.

2

Лариса Михайловна Рейснер родилась 1 мая 1895 года в Люблине. Ее отец, известный знаток государственного права, был в ту пору профессором Пулавской сельскохозяйственной академии. Вскоре семья переехала в Томск, где Михаил Андреевич Рейснер занял кафедру в университете. Однако и здесь Рейснеры задержались ненадолго. Либерально настроенный профессор выступил в поддержку «студенческих беспорядков», после чего был вынужден оставить университет.

Начались скитания. Рейснеры выехали за границу, осев сначала в Германии, а затем перебрались в Париж.

Михаил Андреевич близко сходится с русской политической эмиграцией. В Берлине и Гейдельберге он знакомится со многими видными деятелями немецкой социал-демократии. В 1904 году немецкое правительство инсценировало суд над германскими социал-демократами, обвинив их в преступлениях против русского царизма. М. А. Рейснер, приглашенный Карлом Либкнехтом, выступил в суде как эксперт по русскому праву.

Ранние скитания, социальные проблемы, постоянно обсуждавшиеся в семье, — таковы первые впечатления Ларисы Рейснер, во многом далеко не детские.

После амнистии 1905 года Рейснеры возвращаются в Петербург.

Лариса Рейснер рано начинает заниматься литературой — со страстью, свойственной скорее взрослому человеку, чем юной девушке.

В 1913 году в одном из рижских издательств выходят две небольшие книжки, озаглавленные «Женские типы Шекспира». На

обложке стоит никому не известное имя автора — Лео Ринус. Это — первый литературный опыт Ларисы Рейснер.

В том же году в альманахе «Шиповник» выходит ее пьеса «Атлантида». Содержание «Атлантиды» ясно указывает на круг идей, которым жила тогда Рейснер. Герой старинного мифа, давшего сюжет для пьесы, Леид пытается спасти от гибели жителей легендарного материка и платит за это жизнью. Его убивают жрецы, справедливо увидевшие в его действиях угрозу своему влиянию и могуществу, ничто не может заставить их отказаться от власти и от своих привилегий и прав — даже нависшая над всеми катастрофа. Читатель «Атлантиды» находил тут идеи и мысли, волновавшие в то время русское общество.

Стихи, которые Лариса Рейснер пишет вслед за «Атлантидой», знаменуют начало новой полосы в ее стремительном духовном развитии. Вокруг нее собирается кружок молодых поэтов, где «петербургский» эстетизм уживается с ненавистью к мещанству и туманной проповедью социального обновления.

«В университетскую пору, — вспоминает поэт Вс. Рождественский, близкий знавший Рейснер, — мы часто могли слышать ее в своем кружке, несколько ровным, но вдохновенно приподнятым голосом читающую по рукописи свеженаписанные строфы. Тематика была разнообразной и не совсем обычной. Чаше всего возникали образы французской революции («Камилл Демулен» и др.), декабристов, царской столицы Петербурга, где:

Петровские граниты
Едва прикрыли торф,
И правит Бенкендорф,
Где правили хариты.

Еще в те предреволюционные годы привлекал воображение Л. Рейснер образ художника, творчество которого, при всей его эстетской отгороженности от действительности, неминуемо приходит в трагическое столкновение с непосредственной жизнью».

В стихах Ларисы Рейснер холодноватая и несколько манерная изысканность сплетается и соседствует с мотивами, почерпнутыми из революционной поэзии. Эта двойственность в какой-то мере отражает характер ее увлечений той поры. Ее захватывает пестрый мир литературных диспутов и поэтических вечеров, мир внезапной и шумной славы модных поэтов и художников. Но в Психоневрологическом институте, куда, окончив гимназию, поступает Лариса, она сталкивается с иной жизнью. Это учебное заведение, созданное на средства частных лиц, задумано было как противодействие казенной высшей школе, и здесь на студенческих сходках тон задавали бунтари, связанные с революционным подпольем.

К ним и тяготеет по общему настроению и идеям журнал «Русь», который Лариса начинает издавать совместно с отцом в 1915 году. Он задуман как протест против шовинистических настроений, возникших в обществе с началом империалистической войны. Однако программа, сформулированная в одном из первых номеров журнала, — «клеить бичом сатиры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось», — захватывала более широкий круг проблем и явлений.

Все, что касалось организации дела, Лариса Рейснер взяла на себя. Ее разносторонняя одаренность проявилась здесь впервые с

таким размахом. Она закупает бумагу, ведет переговоры с цензурой, с типографиями и хозяевами книжного рынка, в руках которых розничная торговая сеть, добывает средства на издание, закладывая в ломбарде вещи семьи, изыскивает кредит. И вместе с тем пишет статьи — в каждом номере две, а то и три ее статьи, подписанные разными псевдонимами.

В этих статьях впервые прозвучал ее подлинный голос, решительная и резкая интонация которого оттолкнула кое-кого из ее недавних друзей. О направлении и характере ее духовных поисков в эти годы можно судить по одной из наиболее интересных и ярких ее работ «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому».

В поэзии Маяковского Рейснер сумела рассмотреть ее масштаб. Нужно было обладать большим критическим чутьем, чтобы с такой глубокой серьезностью написать в ту пору о поэте, отмечая «желтую кофту» и все скандальное, связанное с его репутацией: «Через толщу тротуаров, из-под каменных гор приходит его гнев, его месть, его жажда освобождения». В беспорядочном бунте футуризма Рейснер находит духовно близкое себе, это — «жажда жизни и творчества и желание и воля новых поколений». В сущности, глубинное настроение статьи, едва прикрытое обычной критической фразеологией тех лет, — ожидание неминуемой социальной бури.

«За Россию бояться не надо, — писала Рейснер с Волги в 1916 году, — в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки — все уже бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут».

«Рудин» просуществовал недолго — под гнетом цензурных преследований и материальных тягот издатели вскоре вынуждены были прекратить дело. Лариса Рейснер сотрудничает в «Летописи», которую издает вернувшийся из Италии Горький, а после Февральской революции — в газете «Новая жизнь». Для того, кто читает ее статьи и очерки тех месяцев, — о жизни рабочих клубов, о народном театре, о поэзии Рильке, — не было ничего неожиданного и в следующем ее решительном шаге. В то время, когда под Гатчиной шли бои и казаки Краснова готовились войти в город, Рейснер без обиняков определяет, с кем она в этот час. В очерке «В Зимнем дворце», опубликованном в «Новой жизни» в ноябре 1917 года, она с чувством ответственности за судьбу происходящего говорит об опасности, подстерегающей революцию изнутри. Она пишет о толпе, осаждающей винные погреба: «Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что возможно. Какое-то бешеное, голое, наглое сладострастие влечет к запретной стене одну толпу за другой... Рабочие, матросы обещали разнести все здание, если не прекратится низменное паломничество. И они правы. Лучше гибель чего угодно, чем зрелище ненасытного болезненного обжорства, совершаемого в дни величайшей русской революции».

С корреспондентским билетом Рейснер выезжает под Гатчину. А летом 1918 года, в самый тяжелый период Восточного фронта, она — в Казани.

«Первый, самый опасный фронт Республики, — писала об этом времени Рейснер, — пылал, охваченный той неслыханной героической вспышкой, которой хватило еще на три года голодной, тифозной и бездомной войны».

В 1918 году в «Известиях» появились «Письма с фронта» Ларисы Рейснер, впоследствии вошедшие в ее книгу «Фронт».

В предисловии к книге, обращаясь к молодому поколению, справедливо берущему под сомнение любую риторику, Рейснер оговаривает свое право на такие высокие слова, как «братство», «самоотверженность», «героизм». «Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязной койке в нищих, вошных госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнейшего своего, втрое сильнейшего противника при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма... Надо было иметь порывы, — как вы думаете?»

Никогда прежде Рейснер не писала с таким открытым чувством, с такой жаждой выразить то, что ей довелось пережить.

Рейснер прошла с Волжской военной флотилией весь ее боевой путь — от Казани до Энзели. Все это должно было сойтись и совпасть — Волга, «половодье чувств», разбуженных революцией, молодость и близость сильных, ярких, одаренных людей, чтобы появился новый писатель.

Проза Рейснер свободна в своих ассоциациях и прихотливом соединении то беглых, то более обстоятельных зарисовок городов и селений, дорог с их вздыбленным кочевым военным бытом, боев с их рождающейся романтикой подвига и упорства, людей «повышенно пульсирующей жизни» с их порывами, взлетом мыслей и чувств.

Патетика, ирония, нежность к друзьям — все это, слитое воедино, и придает особенный тон очеркам. Слышишь голос, интонации рассказчика, увлеченного и поглощенного тем, что довелось ему пережить. Эту книгу пишет человек, влюбленный в окружающий его мир мужественных людей, мир действия, самоотверженности. Он вбирает в себя жадно все впечатления бытия. Все, что происходит вокруг, приобретает глубокий смысл и значение. Рейснер ощущает себя на перекрестке эпох, откуда современность предстает в очевидной связи с прошлым и будущим.

Во «Фронте» множество подробностей, схваченных на лету столь метко и достоверно, как только и можно было увидеть их вблизи. И вместе с тем художественный язык «Фронта» несет на себе следы влияний, от которых Рейснер далеко не сразу удастся избавиться. Стремление к эстетизации образов идет у Рейснер от эстетики «Аполлона», отвергнутой ею, но далеко не утерявшей своей власти над ней. Известное смещение акцентов в сторону «красоты», легендарного ореола порой мешало понять истинный смысл происходящего. Больше всего интересует Рейснер человек тех лет, появившийся из народных глубин. Она пристально всматривается в него.

Среди беглых зарисовок и портретов, рассеянных по страницам «Фронта», есть и такой: «Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами». Рейснер весело и настойчиво спорит с этим торжеством «уравнения в сером цвете», нарочито будничным восприятием жизни, отрицающим

ее красочность, многообразие, раздолье,— все то, что она любит и ценит в ней.

Как бы продолжая спор, Рейснер рисует портрет одного из героев революции — начдива Азина. В Азине все преувеличено: не любовь, а страсть, не просто смелость, а не признающая препятствия удаля, не просто широта души, а весенний разлив и размах. В этом романтическом портрете не хватает глубины и точности, но в нем есть правда непосредственного первого отклика: так видели и воспринимали тогда.

Впрочем, автор и сам чувствует, что портрет не вполне удался, что какие-то черты оригинала остались за пределами его художественных возможностей или понимания. Смелое перо Рейснер, словно загнувшись, приостанавливается на минуту: «Но как рассказать Азина?» Привычные понятия, представления, этические нормы, весь опыт прошлой жизни едва ли кажутся пригодными, чтобы измерить ими неохватную новизну как бы сызнова начатого бытия.

Азин огромен, как задача для художника, желающего понять через этот характер новый мир. В заметках к «Фронту» немало страниц, не вошедших в окончательный текст, где видно, как Рейснер ищет слова и краски для этого образа и наконец признает: «есть характеры, о которых опасно и трудно говорить, чтобы не впасть в напыщенность и дурной стиль. Сами по себе они так ярки, так почти слишком богаты резкими противоречиями, красками, страстями. Их не боялись изображать только великие отцы Возрождения...» Здесь Лариса Рейснер отчетливо сформулировала цель, что уже немало: осмыслить характер в его резких противоречиях и страстях. Проблемы, сложность которых осознавала тогда Рейснер, не потеряли ни остроты, ни актуальности и сейчас. Тем интереснее следить, как она пытается разрешить их.

Она продвигается ощупью, используя краски декоративные, броские, создавая портрет яркий, со множеством характерных штрихов и деталей, но лишенный психологической глубины. Это первый приступ к материалу и первая, еще далеко не удавшаяся, попытка овладеть им. Доступ к глубинному содержанию нового человеческого типа, выдвинутого событиями на авансцену жизни, автор пока не находит и сознает это. «Разве такого, как Азин, расскажешь?» Он и остается «нерассказанным» — при обилии всякого рода бытовых подробностей. Они драгоценны, они-то и остаются знаком и свидетельством писательского первородства, которое не смогут ни затмить, ни подменить никакие позднейшие реконструкции эпохи. Но с более далекого расстояния, на дистанции времени литературе удастся ближе подойти к главной цели своих стремлений — создать образы большой обобщающей силы и осмыслить их нравственно-социальную суть.

С первых шагов советской литературы вставала проблема нового художественного языка, и «Фронт» точно фиксирует этот момент. Проблема заключалась в том, как «рассказать» Азина. Достоинство «Фронта» в том, что он не только поставил и очертил ее, но и предложил свои решения, далеко не всегда удовлетворительные, но выявляющие суть противоречий. В этом смысле даже его неудачи несли на себе печать своеобразной художественности. Они принадлежали — во всей своей острой выразительности — уже новому искусству, отважно отправляющемуся на поиски своих средств изображения действительности.

Понимала ли сама Рейснер всю глубину и значительность возбужденных «Фронтом» дискуссионных проблем?

Незадолго до смерти ей пришлось отстаивать право писателя на правду о гражданской войне. Аргументация Рейснер, так же как и аргументация тех, с кем она спорит, поразительно напоминает наши позднейшие литературные бои. В статье «Против литературного бандитизма», опубликованной в январе 1926 года, Рейснер отстаивает живое изображение революции в таких книгах, как «Виринея» Л. Сейфуллиной, «Конармия» И. Бабеля, «Неделя» Ю. Либединского. «Мы слишком современники своей эпохи, чтобы понимать, какую ценность для будущего имеют эти книги, выросшие из революции, ее очевидцы, неподкупные свидетели ее страданий, героизма, грязи, нищеты и величия. Немногие писатели научились видеть революцию такой, какая она есть на самом деле... И к этому изображению теперь подбираются пачкуны и, обмакнув критическое помело в ведро дешевого идеализма, собираются что-то подкрашивать, затушевывать, обсахаривать».

«Кроме художественной ценности, — писала Рейснер, — такие вещи, как «Виринея», «Правонарушители»¹, «Конармия», «Неделя», являются живым изображением революции. Не фотографическим снимком, а художественным портретом нового десятилетия».

«Фронт» тоже вносил свой штрих в этот художественный портрет.

4

Увлеченность Рейснер разнообразием жизни внушала порою сомнения, высказанные однажды известным в 20-е годы публицистом Л. Сосновским: «Не слишком ли много красоты в ее писаниях, не слишком ли много образов и красок».

Однако существовала и другая точка зрения на особенности ее стиля. А. Воронский с большим художественным чутьем отметил то, что придавало своеобразие и неповторимость прозе Ларисы Рейснер: «Каждый ее очерк, каждая статья походили на дерево, отягченное пышным и щедрым изобилием плодов, — писал он. — Как в огромном и разнообразном цветке, глаз разбегался в этом богатстве уподоблений, образов, неожиданных и метких определений, в этом узорном кружевном плетении, в этой восточной яркости, пестроте и насыщенности. Иногда это казалось изощренностью. Да, она владела культурой художественного слова, знала и чувствовала тайну его, но это была не изощренность, а щедрость человека, который легко и свободно дарует и разбрасывает кругом полными пригоршнями из того, чем владеет в изобилии».

С особенной полнотой проявились эти черты в «Афганистане» (1922—1923), написанном в результате поездки в эту страну.

От «Фронта» к «Афганистану» — путь внутреннего роста и вместе с тем художественных свершений, позволяющих Рейснер ощутить, что она наконец свободно владеет собственным художественным языком. Основная краска «Фронта» — это признание в любви к революции и ее людям, готовность, если нужно, во имя ее погибнуть. Все это выражено порою экзальтированно, но с искренностью, какую не мог не ощутить читатель. «Все, кто хочет познать эту ис-

¹ Повесть Л. Сейфуллиной.

ключительную эпоху, понять ее, принять нутром ее сущность и достижения — должны прочесть эту небольшую и захватывающую книгу», — так откликнулся на появление «Фронта» журнал «Красный флот».

«Афганистан» написан иначе, чем «Фронт», — более уверенной, спокойной рукой. Конечно, имело значение, что на этот раз Рейснер пишет о событиях, которые не так ей близки и не так волнуют ее. Но коренная причина перемен, столь очевидных при сравнении «Фронта» с «Афганистаном», — это новое самосознание, какое приходит к Рейснер в итоге всего пережитого на Волге.

«Мы — долгие годы, предшествующие восемнадцатому году, и мы — Великий, навеки незабываемый восемнадцатый год», — пишет она родным из Кабула. Едва ли не первой из писателей Рейснер приложила к Востоку мерку русской революции, посмотрела на него сквозь призму рожденных революцией идей.

В Афганистан Рейснер приезжает с советским посольством в 1921 году. Первым советским дипломатам пришлось преодолевать здесь недоверие, укоренившееся в годы колониальной экспансии царизма. Рассказывая об этом, Рейснер знакомит с бытом, историей, современностью страны. Панорама неведомого пестрого мира возникает по мере того, как писатель рисует картину народного праздника, встречи в пути. Мы видим Восток гаремов, жестоких феодальных князьков, лукавых слуг и забитых крестьян. Но экзотика нищенских лохмотьев, так же, как и архивная пыль памятников старины, решительно отменяются Рейснер. Каждое слово выражает тут стремление разбудить эту жизнь, стряхнуть с нее наваждение застоя и немоты.

«И все-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упительную красоту этой жизни, меня обуревают ненависть к мертвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи верст».

Блеск и упительную красоту Востока Рейснер умеет живописать. Маленькие главки в начале книги — «Прошрое», «Кушка», «Башни Тимура», «Вершины», «Камни», «Смерч» — складываются в яркую фреску, где каждый образ выписан тщательно и любовно. «Нигде я не видела природы, так долго пирующей, так медленно испивающей пору наслаждений». Но чувство автора постепенно сосредотачивается на других впечатлениях. Самые глухонемые массы, «какие мне когда-либо приходилось видеть», — вот с чем сталкивается Рейснер на этот раз.

Два основных образа, постоянно сопутствуя и дополняя друг друга, проходят перед нами на страницах «Афганистана» — средоточие чувств и мыслей, пробужденных в авторе знакомством с этой страной.

Вот один из них:

«И суета базара, и движение больших дорог, и кладбища с плоскими острыми камнями на могилах, похожими на зазубренные ножи доисторического человека — не что иное, как тишина, в которой роятся краски, сгустки света и теплой энергии совершенно как пыль в солнечном луче».

А вот второй:

«В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки. Слон несет бревна, потому что его колют за ухом острием анка; солдат глотает пыль, обливаясь потом в своем верблюжьем мундире, съезживается, как сморчок, под лучами беспощадного солнца,

а зимой пухнет от холода и голода, подгоняемый хлыстом и кулаком; палка устраивает в одну ночь сады на голом и мертвом поле, убирает для праздника флагами, коврами и фонариками какую угодно нищету... При помощи этой палки Амманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением, нечто вроде маленькой Японии — железный милитаристский каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной хищной душой».

Деспотия палки и кнута, насаждающая «современное государство» с «первобытной, хищной душой», едва ли менее страшна, чем тысячелетний сон Востока. Рейснер, конечно, понимает это и ищет разрешения этих дилемм. И находит росток живого. Это — «машин-хане», маленький заводик. «Этот шум, этот живой трепет машин после полуденной лени полей производит впечатление потрясающее: это заговор против старых гор, мечетей, магометанского неба, лени, смирения и вялой нищеты... И страшно на минуту, и жгуче весело. Сейчас из этих низких дверей хлынет знакомая толпа, сам великий заговорщик, притаившийся в пыльной долине Кабула».

С надеждой всматривается Рейснер в эти «пролетарские дрожжи», в этот заговор против потемок жизни, который видится ей в маленьком «машин-хане».

5

В «Гамбурге на баррикадах» — следующей работе Рейснер — внимательный читатель найдет развитие этой же мысли и этих же надежд, только перенесенное в другую действительность, на другую почву. Рейснер рассказывает об одном из значительных событий в истории немецкого рабочего класса — о гамбургском восстании 1923 года, где немецкий пролетариат проявил мужество и готовность отстаивать свои социальные идеалы с оружием в руках. В центре внимания Рейснер на этот раз оказывается классический тип пролетария — она пишет о Тельмане, фамилию которого вынуждена утаить, и о его соратниках по борьбе. Именно эти странницы, где образы баррикадных бойцов воссозданы с открытой симпатией, без сусальности, но порою с влюбленностью, кладут начало новым творческим поискам Рейснер. «Гамбург» в ее творчестве — вещь этапная. Авторское «я», стоящее на первом плане во «Фронте» и «Афганистане», здесь отступает, и в центр повествования решительно выдвинут социальный характер, с которым Рейснер связывает свои надежды на будущее и на ближайшие перспективы общественного переустройства.

Мысль о поездке в Германию зародилась у Рейснер после возвращения из Афганистана в Москву. Осенью 1923 года Советская Россия внимательно следила за развитием событий в Германии, где массовые забастовки предвещали приближение социальной грозы. Из Германии пахло воздухом революции, и Рейснер потянуло туда.

Потянуло тем сильнее, что после возвращения из Афганистана она еще не в состоянии разобраться в сложностях нэпа и с трудом вживается в неизведанную и трудную новь.

В Берлине она участвует в рабочей демонстрации, которой не

смогли помешать броневики генерала Секта. В Гамбурге, куда она приезжает, получив с трудом необходимые для этого документы, ее захватывают «великие и трагические переживания» участников и героев недавнего восстания. «После всего дряблого и жирного здесь встречаешь нечто твердое, сильное и живучее», — пишет она из Гамбурга. И еще раз об этом же в своей книге: «После торжествующего буржуазного Берлина — самый воздух Гамбурга, с его волнностью и простотой, пахнет революцией». Она остается здесь, чтобы ближе познакомиться с историей и людьми восстания, живет в рабочих кварталах, где еще недавно стояли баррикады и шла борьба.

«Для рабочего в пределах буржуазного государства нет истории», — писала Рейснер, — список его героев ведет военно-полевой суд и фабричный педелъ из меньшевистского профсоюза. Побив оружием, буржуазия душит забвением ненавистную память о недавно пережитой опасности».

«Гамбург» противопоставлен этому стремлению задушить забвением память о пережитом.

«Гамбург на баррикадах» иногда называли (при появлении книги) художественными мемуарами. Едва ли это верно — книга не является воспоминанием или рассказом участника.

Задумана она была как репортаж с места событий. Но вещь получилась художественно значительной. Построенная на фактической, документальной основе, она давала, подобно «Десяти дням» Риды, и художественный образ событий. Это было важным достижением документальной литературы.

Резкими выразительными штрихами рисует Рейснер образ портового города. Сотни пароходов вечерами играют на рейде «в какой-то неслыханный карнавал», — в черную промасленную Венецию». Есть мрачноватая и все же притягивающая красота в урбанистическом пейзаже современного Вавилона с его толпами и повсюду роящейся жизнью. Рейснер чувствует новую эстетику железа и бетона.

Она внимательно следит, как железная дорога выбрасывает на мостовую тысячи докеров. Гамбургский пролетарий, грубоватый, веселый, жизнелюбивый, явно импонирует Рейснер. Ей по душе застрельщик рабочей Германии, — «непромокаемый, как лоцманский плащ, дымящийся от сырости, вонючий, как матросская трубка, согретый огнями портовых кабаков веселый Гамбург».

Особенность и новизна книги Рейснер была в авторской позиции. Автор не только наблюдатель, анализирующий события, — в его книге страсть и воля баррикадных бойцов, их мечты и надежды. У Рейснер не просто сочувствие стремлениям этих людей, а слитность с ними. Ее книга не только содержит обильную информацию, но и заряжает чувством солидарности с восставшими. Кроме того, она учит. Пылкое чувство, с каким она написана, сочетается с дельным анализом уроков восстания. Рейснер разбирает стратегию уличных боев и безукоризненно проведенного отступления. Патетический рассказ о героическом сопротивлении рабочих кварталов соседствует с аналитически строгим сопоставлением путча и революции.

В рассказе о боях в Шифбеке, центре Гамбургского восстания, почти нет многоцветных описаний, обычных для «Фронта» или «Афганистана». Стиль этих страниц говорит о стремлении автора документально точно обрисовать события. Но в итоге возникает скульптурно выразительный образ города, где восстание — неотвра-

тимое проявление революционного темперамента, скрытого до поры в глубине.

С «Гамбургом на баррикадах» связаны внутренней мыслью и другие очерки Рейснер о Германии — циклы «Берлин в октябре 1923 года» и «В стране Гинденбурга». Полюсы тогдашней Германии, какой увидела ее Рейснер, — мужество восставших и — благоденствие филистеров, пошлость денежного мешка.

Верная своему уже сложившемуся к этой поре методу, Рейснер дает крупным планом лица и обстоятельства, определяющие социальный смысл явлений, — будь то портрет отдельного лица, или, если позволено так сказать, портрет события, написанный обычно резкими точными штрихами.

Вот Босс («В стране Гинденбурга»), обломок империи, бывший фельдфебель, доживающий свои тусклые дни в рабочей казарме, презирая своих соседей за неудачливость и нищету. Но рабочая казарма не любит фанфаронства: если уж ты попал сюда, — садись на дно и не шевелись.

И вот фрау Фрицке, из тех же очерков, — ей пришлось выйти на улицу, чтобы прокормить своих детей. Когда дети подросли, государство отняло их у безразличной матери.

Нежность, ирония, сарказм и гнев соединились в этих портретах, запечатлевших гримасы жизни послевоенной Германии.

Рейснер может быть злой без грубости и доброй без сантиментов. Самодовольство политиканствующего филистера вызывает у нее тошнотное чувство, и она выражает его без обиняков. Но и омещающийся пролетарий, снабженный всеми признаками принадлежности к рабочему классу, но гнилой внутри, столь же отталкивает, и это тоже высказано прямо и с полной искренностью, свойственной ее таланту.

Многоликость и социальную опасность мещанства Лариса Рейснер с большой пронизательностью отмечает в своих немецких очерках. Не случайно возникает эта тема в очерках, посвященных стране, где уже тогда свое черное знамя поднимал фашизм.

«Афганистан» Рейснер заканчивала главой «Фашисты в Азии», где она знакомит с новейшей формацией торгаша, политика и авантюриста, уже тогда предвещавшего появление фашизма на мировой арене.

Встреча с Германией приносит новые наблюдения, заставляющие с большой тревогой всматриваться в некоторые тенденции социального и политического развития в мире.

И эта тревога подсказывает Ларисе Рейснер пророчество: «Ночное небо — вот прообраз будущей войны».

После возвращения из Германии, в начале 1924 года, Рейснер отправляется в длительную поездку по Уралу и Донбассу. Цикл очерков, появившихся вскоре в «Известиях», в журналах «Прожектор» и «Красная новь» и объединенных потом в книге «Уголь, железо и живые люди» (1924), посвящен мирным событиям текущей жизни. Нет здесь ни драматизма «Фронта» и «Гамбурга», ни поражающих красок «Афганистана». Рейснер рассказывает о соляных копях Донбасса, о старых уральских заводах. Но именно этими

страницами ей довелось положить начало одному из самых важных направлений советского очерка и оказать очевидное влияние на литературный процесс. Бурное развитие делового очерка в сравнительно недавние 50-е годы опиралось на традицию, заложенную в то время, когда только разрабатывались его принципы и эстетика и, в частности, в очерках Рейснер накапливался опыт освоения литературой новой действительности.

О трудностях тех лет Рейснер рассказала без малодушной боязни прямо посмотреть в лицо фактам и попытаться проанализировать их. Это — исходная позиция, определяющая гражданское звучание ее прозы. Чтобы понять, что движет ею в те годы, что открывает ее мысль и слово, нужно вчитаться в эти строки.

«Представить себе весь этот Урал с его вековыми промышленными гнездами, рассеянными по лесным трущобам; всю эту выдержку, дисциплину, десятки и сотни тысяч самых квалифицированных, самых искусных рабочих, бьющихся за существование и победу республики труда; сколько жизней, сгорающих в тропиках металлургических заводов, сильных, мужественных жизней, брошенных в горы, на наковальни, под молоты нищеты, в болота ядовитых цехов, под пресс трудных, по существу несправедливых тарифов, которые отпадут только с возрождением хозяйства, — сколько жизней в грязном плену туберкулеза, в тесных, скверных, черных от старых хозяев унаследованных домах...»

Этот Урал и рисует Рейснер в своих очерках.

Здесь Рейснер прежде всего стремится быть дельной, полезной, выявляя трудности и недостатки хозяйственного строительства. Этой новой установке она и подчиняет свой изобразительный дар. Она пишет в одном из писем того времени, что сухие отчеты производства волнуют ее «как не взволнует ни один роман... Это — стенографическая запись отчаянной борьбы за всякую попытку, за каждый рабочий час, за рынок, за покупательную силу мужика, за право на жизнь, за головокружительные перспективы в будущем...»

Как обычно, внимание ее прежде всего обращено на людей. В их изменяющемся духовном облике, в их новых отношениях она хочет отыскать правду о времени. «Неслыханное мужество рабочих, несмотря на все протесты и неудовольствия, на своем горбу вытаскивающих Россию из экономической трясины. И не надо забывать, что это мужество — на голодный желудок. Лебеды и крапивы 1919—1920 годов уже нет, но и мяса рабочие не видят месяцами». Вот о чем пишет она на этот раз.

Как и все, что написано ею, книга «Уголь, железо и живые люди» — страстная книга. Первая районная электростанция в тайге вызывает прилив необычайных чувств — можно «ошалеть от гордости», разглядывая ее. Не снижая голоса, Рейснер говорит о том, что называет «минусами». В очерке «Лысьва», рассказывая о маленьком металлургическом заводике, она пишет о горновом: «Его рыцарская рукавица, отдыхающая на лопате, дрожит». Рабочие, строя свою республику, идут на жертвы, живут в истлевших бараках, соглашаются на мизерную оплату и тяжелые условия труда. Но — помните — «ни одного лишнего дня этой тягости, ни одной копейки, отнятой здесь и отданной на ненужное... не забывайте, чего стоит каждый день и час неслыханных тарифов. Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, все этой стае мелких цифр, накладных расходов, лежащих непосильной ношей на всякую лысьвенскую ложку и плошку».

Рейснер пишет об энтузиазме рабочих. И о том, что нельзя энтузиазмом искупать бездарность или беспечность хозяйственников. Нельзя молчать о том, что в цехах с вредным производством тесно и мало воздуха. «Рядом уживается самая строгая дисциплина, чувство ответственности и фантастическое неряшество, все границы переходящее пренебрежение к тому, что при самых малых затратах люди могут и должны получить новый быт».

Эти и множество других, рассеянных по книге деловых соображений, замечаний скреплены одним чувством и единой мыслью.

В старом мокром забое возникает у Рейснера разговор с шахтером о денежной реформе, восьмичасовом рабочем дне и займе у англичан. Серьезность этих немногих слов, сказанных глубоко под землей, пишет Рейснер, заставила ее «почувствовать всю ответственность партии, которую она несет на себе за исполнение своей социальной программы, во имя которой люди подземелья продолжают нести свой каторжный труд».

Рейснер и на себя принимает долю общей ответственности. Стрелителям новой России отданы ее любовь, труд и талант.

Интересно проследить за трансформацией, какую претерпевает образ мужика-лапотника, перенесенный из «Фронта» на эти страницы послевоенных очерков.

Вот он во «Фронте».

«Маленький крестьянин-совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо, с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен,— но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величая улыбка, какое-то смущенное, неосознанное, почти детское отражение власти.

...Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целой Россией, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией».

А вот тот же крестьянин на уральском заводе.

«У печи крестьян не отличишь от коренных рабочих. Одинаковые на ногах лапти вместо прозобуви. Одинаковые холщовые рубахи, прожженные и замасленные, и лицо в угле, и руки в ожогах. Направляя огонь по изложницам, крестьяне, еще не ушедшие от земли, делают это медленно, и железная штанга в их руках трогает огонь, как грабли свежее сено».

В последнем наброске нет и тени патетики и риторики, без которой не обошлось при описании «мужицких лаптей» на капитанском мостике. Краски здесь приглушеннее,— и весь рисунок ближе к жизни, к реальности. Все проникнуто верным чувством действительности, и в этом прежде всего и выразилась зрелость Рейснера, гражданская и художническая. Эти два отрывка стоят в начале и в конце ее писательского пути, указывая направление и характер ее поисков и развития. «Фронт» был первым шагом на том пути, какой привел Рейснер к «Углю». От декоративно ярких и во многом поверхностных очерков «Фронта» к аналитически сухой «дельной» прозе «Угля» — таков путь, стремительно пройденный Ларисой Рейснер.

Читатель, несомненно, заметит перемены в стилистике Рейснера. Основные элементы ее стиля оставались неизменными от первых до последних ее страниц. В очерках последнего цикла та же образная сила языка, та же стремительность ритмов, что и во «Фронте». Но эта работа Рейснера уже свободна от пристрастия к изысканности

иных образов, к «красивости», какую замечал читатель во «Фронте». И здесь рельефнее выступает одна из самых сильных черт ее дарования — единство аналитической мысли и поэтического чувства.

«Я не встречала и уверена, что не встречу другой женщины, умеющей мыслить с таким мужским упором и трезвостью,— писала о Ларисе Рейснер Лидия Сейфуллина... — Стиль ее был пышен (не знаю, можно ли так выразиться, трудно подобрать слово), пышен от огромного ее богатства. Неутолимый художнический аппетит ее к жизни побуждал ее набирать полней, больше и рассказать обо всем этом многообразии праздничными словами. Но она никогда не боялась искать»,

7

К тридцати годам жизни Лариса Рейснер создала обширную галерею портретов людей, с которыми ей довелось общаться,— бойцов Волжской флотилии, красноармейцев Свияжска, афганских крестьян и феодальных восточных князьков, английских дипломатов и гамбургских пролетариев, немецких промышленников и русских рабочих.

Моряки, Волга, Гамбург — все это глубоко личное, и рассказано об этом «языком сердца». Все написанное Рейснер — лирика. Ее чувства обнажены. Ее связи с окружающим миром до конца понятны. С каждой новой главой она по-новому раскрывает себя.

Ее последняя работа, которую ей уже не довелось увидеть в печати,— портреты декабристов.

Умерла Лариса Рейснер в 1926 году от брюшного тифа. Все, что читатель найдет в этой книге, написано в основном за шесть лет вдохновенного труда — с 1918 по 1924 год.

Как человек, живущий всеми страстями и волнениями своего времени, Рейснер целиком принадлежит ему, воплощая в своей судьбе и в своем творчестве его черты. В этом и можно найти объяснение широкой и притягательной славы Ларисы Рейснер.

И. Крамов

Robert
W



ОТ АВТОРА

В Москве есть большие, грязные, обширные здания, в которых учатся тысячи солдатских, рабочих и крестьянских детенышей. Им скверно живется в переполненных общежитиях, и воздух их аудиторий гуще, зловоннее, сырее воздуха, которым дышало старое студенчество, шагавшее по бесконечному и солнечному коридору петербургского университета,— эти новые люди, которые — «левой», «левой», «левой» — в несколько курьерски-быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру, и не только одолеть, но и переплавить ее лучшие, нужнейшие элементы в новые идеологические формы,— эти новые люди рабфака — завтрашние судьи, наследники и продолжатели этого десятилетия.

Революция бешено изнашивает своих профессиональных работников... Еще немного лет, и из штурмовых колонн, провозглашавших социальную революцию в Октябре великого года, дравшихся под Петербургом и Казанью, под Ярославлем, Варшавой, на Перекопе и в Прикаспийской пустыне, в Сибири и на Урале, под Архангельском и на Дальнем Востоке, не останется почти никого. И новую пролетарскую культуру, наше пышное возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции, не ее защитники и герои, а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, переваривают науку, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича...

Это буйный, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего мирозерцания он со спокойным мужеством выкинул все закономерности и красоты, все сладости и мистические утешения буржуазной науки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и они — свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» — ломают стулья и уходят из залы. Правильно.

Но, освистывая и осмеивая буржуазный сентимент, вы, молодые, вы, пролетарские дети, не попадитесь в старую буржуазную ловушку, отлично пережившую эти годы и зашелкавшую старыми пружинами. Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любвей, порывов и вдохновений, то есть Бессмертие этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.

Это эстеты из «Аполлона», это утонченные знатоки и любители российской словесности брезгливо морщились от величавой и голой бабы Венеры. Они же зажимают нос от революции. Говорить такие пошлые, первобытные слова, как — «героизм» — «братство народов» — «самоотвержение» — «убит на посту»! Ах, да не только говорить, но и делать все эти грубо-прекрасные вещи, от которых у человека с хорошо воспитанным вкусом сосание под ложечкой начинается! Вот примеры: стайка кораблей, несколько десятков обшитых в железо барж и буксиров, 20 тысяч кронштадтской и черноморской матросни, составляющей ее команды. Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих вошных госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнейшего своего, втрое сильнейшего противника, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма... Надо было иметь порывы, — как вы думаете? Надо было изобрести слова, которые побеждают прирожденную, неизбежную трусость мяса, своей крови, своей тонкой человеческой кожи, которую легко проткнуть любым ржавым гвоздем?

Красная вода так легко вытекает, и все кончено. Надо было видеть за кровью и грязью, за томительными столами Соцобеза, который даже ноги резиновой не даст

за свою, оторванную, который по приемным и прихожим измазывает бабу, если завтра его, матроса миноносца «Карл Либкнехт», имеющего красное знамя, разольет и размажет в кашу на грохнувшей под снарядом палубе. А умнать? Без поповского бога и черта, которые все вывелись от революции, без всякой утешительной лжи. Только успеет сказать «мон сапоги — тебе» и перестает быть.

Что это, красота или нет, когда в упор из засады по кораблю бьет батарея и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы, встают и бегут к орудиям. «Приказываю вам именем Республики — кормовое, беглый огонь», — и кормовое стреляет.

И творчество тоже есть — наше, а не буржуазное. Вот: надо было подорвать несколько особенно сильных кораблей снабженного англичанами, великолепно вооруженного белого флота. И никому не ведомый инженер-коммунист Бржезинский изобретает гениальную вещь: под килем обыкновенной парусной шлюпки устраивает минный аппарат, вооружает таким образом целую серию парусников. Конечно, находятся люди, готовые взять на себя это отчаянное дело. Покушение не удастся только благодаря предательству мальчика-рыбака. Тов. Попов (очень старый коммунист) погиб. Больше не видели его длинного сюртука, светлых обмоток и белого веселого шпица — собаки, бегавшей за ним и в ЧК и в штаб флота, — погиб изумительно, под пыткой ничего не сказал. — Революционная психология или нет?

Эту книгу посвящаю рабфакам. Пусть ругаются, пусть у них поперек горла застрянет иное еретическое слово.

— «Любили».

— «Прекрасно умер».

— «Психология».

Но пусть дочтут до конца о том, как это было, от Казани — до Энзелли. Как шумели победы, как кровью истекали поражения. На Волге, Каме и Каспийском море во время Великой русской революции. — Все.

Автор

КАЗАНЬ

Город еще не взят, но поражение решено. Хлопают двери покидаемых комнат — везде на полах бумаги, брошенные, разрозненные вещи.

Нет хуже отступления. Изю всех углов появляются лица неприметных соседей, не бывшие в течение многих месяцев.

Какие-то пуговицы с потертым блеском, нечто похожее на кокарду, даже на орденскую ленточку, — но это все еще под спудом, в полумраке опустошенных бегством коридоров, не смеющих крикнуть свое трусливое и бешеное «ату его», «ату»! Перед крыльцом — смутный очерк батареи, пыльные, сжатые и злые лица, резкие окрики, — где-то по мостовой грохочут колеса, стучит конница. Готовится последнее сопротивление. Окна дребезжат от несущихся мимо грузовиков — их шумное бегство убивает последнюю надежду, от них страшно.

У дверей, на которых еще ненужно белеют вывески — «оперативное», «секретариат», — несколько женщин прощаются со своими близкими, а за ними, по красным половикам наглые лакеи выметаю революционный сор — летит пыль, царапают вызывающе щетки. Вот где горечь и грязь неудач — в лакейской метле, выкидывающей за дверь наши неостывшие следы.

Странное это чувство — идти вдоль незнакомых домов с крепко захлопнутыми дверями и окнами; знать, что там, в этой проклятой гостинице, будут драться до последней крайности.

Кто-то должен быть и будет убит, кто-то спасется, кого-то поймают. В такие минуты забываются все слова, все формулы, помогающие сохранить присутствие духа. Остается только острое, режущее горе — и под ним, едва просвечивая, смутное «во имя чего» нужно бежать или оставаться. Сморщенное, захлебываясь от слез, сердце повторяет: надо уходить спокойно, без паники, без унизительной торопливости.

Но, когда снаряд шлепается сперва мимо — в болотистый лужок у Кремля, а потом в самый штаб, — где они, где последние, которые уйдут, — когда уже невозможно будет уйти, — все сдержки летят к черту, неудержимо тянет назад.

На мне навешаны бумаги, печати, еще что-то очень секретное, что велено унести и передать в первом штабе, который удастся встретить. Не оборачиваюсь на свист снарядов, которые все чаще ударяют в белый карниз «Сибирской гостиницы». Стараюсь не думать о лакеях, взметающих клубы пыли; о броневике и ужасной, размытой дороге, которой он пройдет — или не пройдет?

Рядом бежит семейство с детьми, шубами и самоварами; несколько впереди женщина тянет за веревку перепуганную козу. На руках висит младенец. Куда ни взглянешь, вдоль золотых осенних полей — поток бедности, солдат, повозок, нагруженных домашним скарбом, все теми же шубами, одеялами и посудой. Помню, как много легче стало в этом живом потоке. Кто эти бегущие? коммунисты? вряд ли. Уж баба с козой наверное не имеет партийного билета. При каждом выстреле, при каждой вспышке панического ужаса, встряхивающего толпу, она крестится на все колокольни. Она просто — народ, масса, спасающаяся от старых врагов. Целая Россия, схватив узел на плечи, по вязкой дороге пошла прочь от чехословацких освободителей¹.

За городом русло беглецов стало мелеть. Женщины, дети, подводы продолжали идти все прямо, не озираясь, не разбирая пути, гонимые могучим социальным инстинктом. Одиночки, шагающие под проливным дождем без пальто и без шляпы, некоторые с портфелем, судорожно зажатым под мышкой, свернули на боковые

¹ Речь идет о корпусе военнопленных чехов и словаков, оставшихся в России после первой мировой войны и поднявших с помощью эсеров и Антанты контрреволюционный мятеж в мае—ноябре 1918 года (прим. ред.).

тропинки или прямо по липкой целине, спотыкаясь, падая, подымаясь опять, вышли ночью к отдаленным деревням.

Летний дождик превратился в ливень, поля почернели и стали нескончаемо тяжелыми. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой. Орудийный гром притих, и в грозовом небе бесшумно запылали зарева пожаров и далекие зарницы. Вороны скучной стаей потянулись в предместья.

Сколько мы шли и куда — не припомню. Все вспаханнами полями, по мокрой глине, задерживающей шаг, в сторону, как мы думали, Свияжска. Во время бегства, особенно в первые его часы, многое зависит от смутного чутья, заставляющего из трех деревень выбрать одну, из нескольких дорог — единственную. Все чувства заостряются — взгляд прохожего, силуэт дерева, лай собаки — все принимает окраску опасности или спокойно-го «можно».

Впереди всех шагал с обнаженной головой, в намочшем, нелепо приличном пиджаке ответственный работник товарищ Б.

Этот ничего не понимал в тайных приметах нашей общей дороги — плохо видел, плохо соображал. Ему больше всего хотелось лечь и уснуть после судорожных последних ночей в городе. Вел нас маленький матрос. Своими немного кривыми ногами он крепко обхватывал комья глины, дождь не мешал видеть его единственному, весело-синему глазу, и, вообще, с ним было спокойно. Поспорив с «Портфелем», который неся очертя голову, гонимый ветром и усталостью, он круто взял влево, поставил далеко, чуть не на десять верст обойти первое селение, за которым мы нашли светлевшее в темноте шоссе и, уже не колеблясь, пришли по нему ко второй деревне. Наш командир скомандовал «швартоваться» и постучал в темную избу. Спали на полу, с восторгом отодрав от ног промокшие тяжелые сапоги. Сено, человеческая духота, лампада в углу. И в полусне, утишившем все отравленные мысли, — еще кусок теплого черного хлеба. Утром оказалось, что вся комната полна беженцев, но в этом никто не сознавался. Начиналась травля, каждый защищался и прятался на свой риск. Наш «ответственный», или, как мы его звали, Портфель, с наивностью истого горожанина и интеллигента решил сгустить свое непроницаемое инкогнито. Его шляпа с

проломом куда-то вдруг исчезла и заменилась отчаянно-го вида кепкой, в которой Портфель сразу стал похож на каторжника.

Хозяином приюта оказался сельский учитель. Ему страшно хотелось взять тон победителя, но побежденных было так много и такого мрачного вида, что он ограничился одними нравоучениями. В общем, добрый был человек, всех накормил даром и честно показал дорогу на Свияжск. Даже до тропинки проводил, размахивая руками и горячась, — мы все-таки немного поспорили об Учредительном собрании. Эта учительская тропинка нас спасла: на большой дороге, которую выбрало большинство, уже ждали засады.

Свияжск — почему именно Свияжск? Название этой маленькой станции на берегу Волги, сыгравшей впоследствии такую крупную роль в обороне и обратном взятии Казани, ставшей горном, в котором выковалось ядро Красной Армии, возникло, было повторено, запомнилось как-то стихийно, в самый разгар отступления и паники.

Назначил ли штаб местом своего закрепления именно Свияжск, бросил ли это имя в бегущую толпу инстинкт самосохранения, — но именно туда стремилась вся волна отступающих.

Гражданская война господствует на больших дорогах. Стоит свернуть на проселок, на тропинку, бегущую по теплым межам, душистым межам, — и опять мир, осень, прозрачная тишина последних летних дней. Идем босиком, сапоги и хлеб на палке через плечо. Матрос где-то подобрал пастушеский длинный кнут и так щелкает им за спиной Портфеля, что тот приседает и готов расплакаться. Нет, надо сознаться, не из храбрых был наш товарищ Б. В деревни мы почти не заходили — и то больше в сектантские: там и чище, и хозяева сочувствуют, и молоко густое, как в царстве небесном, и бабы свежи, как сотовый мед. Ни разу нас сектанты не подвели и не отпустили голодными.

На третий день, впрочем, чуть не попались. Портфель поранил как-то ногу, устал, заныл; два моих товарища моряка до того устали шагать по сухому, глотать пыль и вообще притворяться штатскими, что их объединенное скуление действовало даже на благоразумие «Мишки» (имя нашего вожака). Он сдался, и после маленькой разведки мы залезли в первую встречную де-

ревню. Сперва все шло хорошо: прохладное крылечко, яйца вкрутую, чай, огурцы и безразличный ко всему хозяин. И вдруг, только мы разблаженствовались, — вынырнул откуда-то господин в синей суконной поддевке, красном кушаке, с бородой «а-ля рюс» — нечто вроде урядника на покое или воинствующего помещика. Наш хозяин только глянул на него боком и стал еще серее и молчаливее. А тот все бегаёт любопытными глазками от Портфеля к портфелю, от Мишки, покойно пьющего чай, к очень благопристойно и даже благожелательно настроенным морякам. И начался у нас самый невинный, самый тихий разговор.

«Вы из Казани, беженцы?»

Отвечает за всех предводитель: «Нет, дачники. Ищем домик с хорошим видом на реку и вообще с удобствами. Не порекомендуете ли?» У нашего «старшего» рожа небритая и зверская — он чистокровный южанин, черный, веселый и отчаянный.

Поддевка хихикает: «Ну, господа, не притворяйтесь! Выгнали вас из Казани, здорово выгнали? Вот товарищ даже портфель захватил второпях; да вы, верно, из наших?» — и подмигивает глазом — шариком масла.

Мишка делает вольт. Начинает расписывать подкрепления, полученные Красной Армией: «Помилуйте, 20-дюймовые орудия из Кронштадта, бомбы, начиненные лунином — через два-три дня...» — и вдруг пристально глянул на хозяина, повернул голову куда-то в сторону, к открытой степи. Очень далеко маячат тени верховых, как черные иголки их пик. Поддевка всполошился, но тут Мишка так весело опустил руку в карман, а все мы (Портфель, конечно, впереди) так быстро смылись через сад в ближнее поле, что ему не пришлось ничего сделать.

Весь остаток дня проспали в золотых душных снопах, недалеко от дороги. Несколько раз проезжали мимо казаки, и тогда тов. Иподи будил Портфеля, чтобы тот не храпел слишком громко.

Какая-то деревня — в темную, бурную ночь. Бесконечные, вполнеба, зарницы, скрип повозок, тревожное ржание лошадей.

Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода. Куда — в Свияжск. Застаем часть штаба, уцелевшую воинскую часть, работников из По-

литотдела. Нас узнают. Кто-то подошел, посмотрел на нас беглым светом фонаря...

Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте, шлепанье шагов, и опять движемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес, и при каждом пылании зарниц видно крестьянина, поддерживающего дымный, трепещущий от усталости бок своей лошади, и чье-нибудь белое сонное лицо, мокрое от грозы. И оно тухнет.

Не стоит описывать подробно утро следующего дня: оно как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена, боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат, особенно когда они острят, сидя на задке походной кухни — место отдыха, занимаемое всеми по очереди. Прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шеймана. Не видит, не слышит, ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает наверное, жив или убит, но предчувствие сильнее с каждой минутой — видно, как оно овладевает ею все крепче и жесточе. Чужим делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец — Волга, переправа, станция, сон на полу холодной, продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром — толчок, скрип колес, долгожданное, милое дергание — и через час мы в настоящем Свияжске. И в Свияжске их нет. И вдруг какой-то лихой комендант озлобленно плюет на открытую рану. «Ну ваш-то наверное цел — напрасно беспокоитесь. До Парижа успел добежать». Через минуту он стоит, обливаемый горячим чаем, красный, удивленный и злой, но это ничего не меняет. Все окрашивается в черный цвет, во всяком вопросе чудится обидный намек. Наконец приходит телеграмма, что Ф. Ф. взят в плен белогвардейцами.

В комендатуре толчея, разговоры, расспросы... Мелькает еще раз каменное бескровное лицо Шейман. Ее муж действительно убит.

Тут мы с Мишей и решаем идти обратно в Казань. Товарищ Бакинский пишет на крохотной папиросной бумаге пропуск через все наши линии. И, лукаво подмиг-

нув голубым глазом, «Пойдете, говорит, к командиру латышского полка, он вам, наверное, даст двух лошадей до передовой линии. А оттуда уж пойдете пешком». И правда, латыши помогли... Достали мне шинель, штаны, сапоги, вывели кавалеристы двух лошадей, но, боже мой, как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, — и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены громадные шпоры? Поехали шагом — ничего. Потом рысью — мученье и страх. А проехать надо все сорок верст.

В первый же день знакомства с рыжим Красавчиком началась наша с ним нежная дружба, длившаяся три года. Далеко за Волгой, у самого полотна железной дороги, на опушке, конь вдруг заволновался. Я его — хлыстом, а у него дрожат нервные уши, блестит скошенный на меня горячий глаз, — и ни с места. Сопровождающие кавалеристы тоже остановились и смеются. И вдруг перед самым нашим носом один за другим три столба, три пыльных и красных грохота, три смерти. Пришлось свернуть в лес.

Много тут было пораненных деревьев — и с каким-то ломающим, продирающимся визгом падали снаряды в этой чаще.

Деревья стоят тихо, как приговоренные, — удивительно тихо и прямо. И так же тихо лежат люди на маленькой поляне, среди рыжих пахучих сосен. Солдаты и два командира возле своей притихшей, притаившейся батареи. Они как раз обедали. В мягкой от жара траве дымилась суповые чашки, из них хлебали по два-три человека вместе. Почему-то шепотом, точно боясь выдать свою прогалину, опросили нас, проверили документы, потом предложили вместе пообедать. Смешно пахло от этого их супа: крутой, разбухшей в кипятке, одутловатой бледно-зеленой капустой и лесной земляникой, которая повсюду краснела среди тонких, сухих трав — копий. В затишье, когда где-то там, за лесом, потный, черный и оглохший артиллерист при помощи нескольких чисел и своего мудрого звериного инстинкта отыскивал наше смутно чаемое убежище, в минуту перерыва, когда прикованные к месту сосны переводили дух, где-то рядом начинала нерешительно пощелкивать лесная птица, вернее всего — синичка. Щелкнет, щелкнет, помолчит. Солдаты перестают есть и внимательно слушают. Один подобрал на ложку занятого суетливого муравья и в за-

стывшем, тяжелом внимании наблюдает его беготню. И всем нам легче, когда над головой опять провояет невидимый снаряд и в чаще затрещит и брызнет белыми, смолистыми щепами пораженная сосна. Не нашли, мимо, — и все ложки опять в щак.

Опять мы едем завороженым, мертвым лесом, пока на опушке не начинают попадаться большие пустые дачи. За дачами полотно — какое-то странное. Стоят отдельные вагоны, по двое, по одному, на больших расстояниях друг от друга. Кажется, что они играют в «колдуна». Стоит отвернуться, и они подбегут ближе; взглянешь — опять остановятся в своих застигнутых врасплох, нелепых позах. Кое-где мертвые лошади, и на все это пустое, обрыдлое место от времени до времени шлепают снаряды. Штаб совсем рядом, в ближайшей от станций даче. Что-то через час после нашего ухода и в него попала далекая, косноязычная, за несколько верст отыскивающая батарея. Был убит один из лучших наших командиров, товарищ Юдин. Но тогда он еще был жив, сам нас принял, и в последних часах его повышенно пульсирующей жизни, напряженной, как налитая и готовая лопнуть вена, мы заняли несколько быстрых, острых, громко отщелканных минут. Посмотрел документы, оставил их перед собой на столе, велел накормить и дать постель. И пока мы отдыхали и пили чай, в соседней комнате (через дачную стену все слышно) телефон вызвал Свияжск, Реввоенсовет. «Вы знаете такую-то, Лейзнер, — да, Лейзнер? Давали пропуск? Да? Хорошо. А мы думали... Ну, ну, будьте здоровы».

Человек, по какому-нибудь делу попавший в банк, всегда начинает себя чувствовать вором. Решетки, несгораемые кассы, всеведущие счетные книги, самое безупречное сияние паркета — вся эта оградительно-щелкающая замками вежливость предполагает в каждом посетителе взломщика и мошенника. И на минуту, когда телефон расспрашивал Свияжск о некоей Р., я вдруг почувствовала, что мое поведение должно казаться страшно неправдоподобным, наружность подозрительной. Черт возьми, а голос? — Я сказала громко: «Иду в Казань по секретному делу». До чего чужой, лживый голос. Ну ясно — шпионка.

Уже в сумерки товарищ Юдин зашел к нам в комнату. Его лица почти не было видно, но вся фигура — шершавые большие галифе, шпоры, руки, спокойно засуну-

тые в карманы, показались дружественными. И, расспросив еще немного, куда мы и как, посоветовал сейчас же идти дальше, раз уж решились на такую отчаянную глупость. «Ну, прощайте, надеюсь, увидимся». И крепко пожал руку, подумав про себя, что мы-то вряд ли выйдем живыми из этого леса. Смерть, стоявшая за его спиной, цинично улыбнулась в темноту.

Уныло оглядывая свои исполненные сапоги и брюки, я заметила, что и красноармеец дохол, приносивший чай, заинтересован ими не меньше меня. «Товарищ мадам, давай-ка поменяемся, ты мне мундир, а я тебе настоящую дамскую одежду — с обором и перами». И принес откуда-то с чердака шикарный парижский корсет, камергерские брюки и, на мое счастье, темный дамский костюм. Камергерское золото вскоре заблестало на поджаром заде мальчишки-рассыльного, один из красноармейцев примерил розовый корсет, а мы с Мишей вышли из маскарада настолько приличными буржуями, что первый же передовой пост нас снова арестовал, несмотря на все пароли, бумажки и пропуска. Бешеный Ипиди Миша под конвоем отправился обратно в штаб, и, пока он вернулся, окончательно стемнело. На прощанье часовой дал добрый совет — как можно дальше уйти от железнодорожного полотна и пробираться лесом. «А тут — в темноте неприятно яснили рельсы — вас мигом хлопнут».

Несколько часов тихой лесной дороги. Встретили двух разведчиков-кавалеристов. В темноте они испугались нас, а мы их.

Немного поговорили, согрелись о человеческий разговор, — и дальше.

Лес ополаскивает усталость, как большое черное озеро — измученные ходьбой ноги. Помню еще звезды, страх темноты, страх быть без дома, без постели, без завтра. Вообще неприятное чувство горожан, отвыкших от большой дороги. На какой-то тропинке, в какой-то деревне, возле какого-то дома отчаянные женские крики: в бане; на полу, молодая киргизка третьи сутки рожала и никак не могла родить.

Стук двери, новые лица, прикосновение незнакомых рук, вероятно, помогли ее нервам, ее желанию жить — страшной судорогой она выкинула ребенка. И сразу почти успокоившись, держа меня за руку, бормотала среди своих мокрых от пота волос какие-то картавые,

засыпающие слова. Так и уснула, не разжимая своих сухих и горячих, как у птицы, пальцев.

Одним словом, на крестины киргизенка ушла нижняя юбка, а в шелковом носовом платке поехал в церковь младенец и какие-то, на всякий случай прихваченные, языческие божества. От посещения церкви мы воздержались. Поп, терпимый к старому Яриле, мог учуять более опасную бесовскую силу в новоявленных крестных.

После крестин счастливый отец предложил в знак благодарности провезти нас на собственной лошади в Казань.

«Уже я вижу, вы люди хорошие, порядочные. Не первый день живу на свете, слава богу, понимаю, кто к кому относится».

«А если нас остановят, что вы скажете?»

«Скажу, что дачники, домой едут господа. Меня ведь знают, поверят».

И правда, теплым росистым утром телега киргиза повезла нас тихими проселочными дорогами. Колеи, заросшие яркой лесной травой, стук дятлов, запах смолы и земляники. И от времени до времени, спотыкаясь о чистый утренний воздух, визгливые кегельные шары над головой. Через лес бьет тяжелая артиллерия.

Русская провинция вообще ободрана, безобразна и скучна. Все ее города и городишки похожи друг на друга, как черствые калачи. Но среди них все-таки особенным уродством блещет Казань. Единственное, что в ней вообще имеет стиль и архитектурный характер,— это башня Сумбеки. Остальное, по сравнению с этим чисто татарским памятником, носит более чем монгольский характер. Арбузы, пыль, дощатые заборы, дома, в которых нет ничего, кроме вывесок и витрин. И мостовая из каменных желваков, мозолей, гранитных флюсов...

Ни один патруль не остановил нашу телегу, и в Адмиралтейскую слободу мы въехали, едва веря своей удаче, хотя непреложное уродство улиц и домов со всех сторон спешило нас уверить, что это уже не сон, а сама кривобокая, скуластая, охваченная белогвардейским бредом, Казань.

«А куда же вы нас везете, кум, у кого устроите?»

Киргиз обернул веселое, лукаво улыбающееся лицо.

«Вам ведь надо, где поспокойнее. Так уж лучше не найдете — к приставу слободскому вас отвезу. Человек

свой, то есть надежный и положительный. Мы с ним старые друзья», — и радостно щелкнул вожжами по круглой спине лошади.

Мы с Мишей только переглянулись. Угодил нам кум, нечего сказать. Пристав!

Телега въехала в пыльную широкую слободскую улицу. Деревянный тротуар, во всех его щелях простодушная трава; одноэтажные деревянные домики, ворота с петухами и скрипом, зеленые и белые, всегда сонные ставни. Словом, сплошная голубизна купеческого неба, облачки, как пар от послеобеденного самовара, городок Окуров в шелковых, ярких и жирных красках Кустодиева. Догадливый кум остановил повозку перед самым нарядным и сдобным домиком, поцеловался с нами на прощанье и отечественно сдал на руки вышедшему на крылечко куму — приставу.

Собственно, мы с Мишей сразу попали в «театр для себя». В верхних комнатах приставского дома, на чисто вымытых, натертых воском и устланных половичками полах, разыгрывалась с виду вовсе безобидная мещанская комедия в постановке художественного театра, с геранями на окнах, с иконами в углу и с фотографиями местного окружного суда над письменным столом. Среди старинных сюртуков, высоких и тугих воротничков легко было узнать выпученные глаза, скулы и плоский, засиженный мухами, лоб нашего хозяина. Как и полагается, у неторопливого, негромкого, равномерно наседающего на людей пристава была сухая, с облизанным злым черепом, скрипучая жена. Дочь их, Паша, розовая, полная, «вся в лапках и глазках, глазках и лапках», проводила время, положив на низкий подоконник свою пышную грудь и сплевывая семечки на редких прохожих. Как беззаботная наследница, она в политику не вмешивалась и, только в разгар острых, истерических, грубых скандалов, затеваемых ее матерью с жильцами нижнего этажа, недовольно морщила розовую пуговку и говорила: «Мамаша, какая вы необразованная, нельзя же так громко». Внизу, под приставом, его вощенным полом и геранями жили, снимая углы, несколько рабочих с семьями. Революция на время прервала простые и ясные отношения, существовавшие между нижним и верхними этажами. И даже Пашино приданое грозило остаться неполным. Приставские корешки, равномерно, благодушно и даже патриархально тянувшие живой сок

из подвала, вдруг остались без пищи и даже ощутили там, в углах, несколько явных укусов и повреждений. Дошло до того, что один из жильцов, рабочий, реквизировал для своих детей пушистую и белую приставскую козу.

Но затем, в июле, бог вмешался в грязные человеческие дела. Справедливость и суд, выскочив из рамки, потрясли мертвыми листьями законов, и пышная Пашенька нисколько не встревожилась и не удивилась, когда мимо нее провели по улице буйного жильца, который больше никогда уже не возвращался. Тут все вошло в норму, и по мере того как новая власть на телегах свозила к Волге голые трупы рабочих, на домик пристава слетали идиллические тени. С мирным и счастливым чавканьем все семейство принялось сосать свой притихший подвал, где боялись плакать и шуметь. В это-то время, когда суд божий, а также и чехословацкий, находился в полном разгаре, мы и поселились у пристава. Сперва он несколько стеснялся, как еж, которому неудобно кушать живую лягушку среди белого дня, да еще по старой ежовой привычке начиная это лакомое блюдо с дрыгающих задних лапок. Но затем, попивши с гостями чаю, поругав жидов и коммунистов, убедился в нашей политической благонадежности и совершенно успокоился. Растягивая удовольствие, не чаще, чем один раз в три дня, он ехал в город, причем вся улица и «подвальные» отлично знали, что «сам» опять отправился в штаб с докладом на кого-нибудь из них. Вечером полиция чинно забирала очередного жильца; наверху пили чай, мамаша чутко прислушивалась к возне внизу, папаша невинно, бесконечно долго и радостно толковал о том, что ему и самому жаль, но как христианин и офицер он не имеет права укрывать и пр. Если бы пристав мог видеть черный яд, который его рассуждения разливали по нашим нервам.

Паша, вся в розовом ситце и душой в безоблачном небе, где порхают бумажные голубки и незабудки, тихонько наливала шестую чашку чая соседу учителю, которого в подвале звали просто «жених», вкладывая в это евангельское имя невыразимую ненависть к его дрянной бороде, очкам и вообще интеллигентности. И, когда внизу начинался долго сдерживаемый вой, мамаша смеялась, как масло на сковородке, папаша величественно изумлялся поверх очков и листа «Нового времени» за

1911 год. Паша немного морщилась, и учитель нежно объяснял ей, что такое значит Учредительное собрание.

На следующее утро Миша, взяв деньги и бумаги, ушел в город на разведку. Пристав отправился в обход отыскивать и отнимать оружие у рабочих, мамаша опустилась в сладчайший ад, в подвал, снимать пену с горького и едкого горя, как с молока, свернувшегося в гнилой темноте этого дома. Паша уселась за роман с неизбежным Раулем, я за газету, в которой среди имен казенных не было упомянуто единственного имени, меня интересовавшего. Таким образом, все обитатели приставского дома занялись своими делами, довольно разнородными.

Толстые черные мухи жужжали на стекле, все потихоньку погружалось в дремоту. Однако часам к двум глухие раскаты, звучавшие накануне очень отдаленно, значительно придвинулись к городу. В купеческом сатиновом небе стали вспыхивать и рассыпаться молочными плерезами дымки шрапнелей. Безлюдная наша улица опустела окончательно, обычный ее сон сгустился до грозовой тишины. Внизу уже не плакали и не шептались: там ждали. Пристав вернулся домой взволнованный, и как раз за обедом, когда он только что пустился в подробное описание обыска, над самой его крышей треснул первый железный орех. Семейство испугалось, но затем непобедимое словоизвержение превратило разрыв снаряда в простую случайность. Все, прижатые было страхом, чертополохи опять оправились и высоко подняли свои колючие шишки. Я, как «жена офицера», должна была еще раз успокоить своих собеседников насчет полной несостоятельности Красной Армии: «Конечно, разве это войска? Банда, сброд, шайка, которая побегит от одного выстрела».

— Сударыня, совершенно верно! — Бац! В это время над нашей головой снова разорвался снаряд. У меня сердце задрожало от сумасшедшего пляса красных веселых чертей, а пристав, оставив высшие стратегические рассуждения до другого раза, надел на себя вторую пару теплых брюк и со всеми домочадцами спрятался в баню. Вот тут-то мы и познакомились с подвальными соседями.

Я их застала на верхней ступеньке лестницы. Приподняв голову над низким порогом, женщины и дети с каким-то одеревеневшим ожиданием поглядывали то

в небо на кудрявые разрывы, то на дверь бани, из-за которой тревожно блеяла запертая коза. Поняли мы друг друга с полуслова. Жена последнего, только этой ночью арестованного рабочего подвинулась ближе, шепотом спросила фамилию и, подумав: «Нет, этот убежал, в газетах писали, что убежал, зря вы пришли сюда». Поправила ребенка, который никак не мог поймать ртом широкий и коричневый сосок ее худой груди, и опять стала молча слушать артиллерийские раскаты.

«А как думаете, моего уже расстреляли? Если сегодня войдут красные — освобонят, или уже поздно?» И, не ожидая ответа (ответ уже был в ней самой, плоский, деревянный, темный, как потолок подвала), погрузилась в симфонию наступления, от которой дрожал весь дом.

Сперва громы все приближались. Они раздражались долгими залпами, уверенно покрывая более мелкие и частые волны ответного огня. Потом откуда-то с другого берега вступили новые, отрывающиеся железо, железные глотки. Сперва они били как бы наугад, потом с ужасающей правильностью. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором нельзя ошибиться. Разрывы их приходились не на Казань, значит — значит над нашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном небе — потом как будто отодвинулась. Все реже и реже рвались над городом снаряды, потом затихли совсем. И только издали, уже не уходя, но и не приближаясь, как черта бурунов, пенилась далекая стрельба. Час, два, а может быть и дольше, пролежала моя соседка, положив голову на порог, не шевелясь, не говоря ни слова. Теперь она подняла лицо. На нем были следы слез, размазанная грязь и наше поражение. Взяв со ступенек уснувшего ребенка, каменная, прямая, она спустилась обратно в подвал.

Нужно ли говорить, что два слова на ухо приставу могли спасти эти семьи от белого террора и что никто из семнадцати подвальных жителей не пожелал воспользоваться этим средством.

Ни вечером, ни утром следующего дня не вернулся мой спутник. Я осталась одна, без денег и без документов.

Пристав заволновался, но затем решил, что моего «мужа» как офицера-добровольца могли просто мобилизовать в штабе, куда он явился, — и посоветовал съездить в город, навести справки.

Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе,— словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции.

В предместье трамвай остановился, чтобы пропустить подводу, груженную все теми же голыми, торчащими, как дерево, трупами расстрелянных рабочих. Она медленно, с грохотом, тащилась вдоль забора, обклеенного плакатами: «Вся власть Учредительному собранию». Вероятно, люди, наклепавшие это конституционное вранье, не думали, что их картинки станут частью такого циничного, общепонятного революционного плаката.

Белый штаб помещался на Грузинской улице. В общем, без особого труда удалось получить пропуск в канцелярию; мимо меня пробежали штабные офицеры, всего несколько дней тому назад служившие в Реввоенсовете. У всех дверей часовые — гимназисты, мальчишки 15—16 лет. Вообще, вся провинциальная интеллигенция встрепнулась, бросилась в разливанное море суетливой деловитости, вооружилась и занялась государственными делами в масштабе любительского красного креста, любительского шпионажа и самопожертвования на алтарь отечества, декорированного лихими галифе, поручичьими шпорами и усами.

Боже, как хорош белый режим на третий день от своего сотворения! Как бойко стучат машинистки, какие милые, интеллигентные женские лица над ремингтонами. У дверей кабинета два лихача-солдата, вроде тех, что каменели в старину у царской ложи,— и из этих дверей порою выплывает в свежей рубашке, в распахнутом кителе и душистых усах, о, какой, если не генерал, то вроде него — полковник или капитан, и как нежно, одухотворенно и скромно плавают на чиновничьей и военной поверхности жирные, хотя и редкие, пятна истинного просвещения; как кокетливо выглядывают из-за обшлага наши университетские значки.

О, alma mater, гнездилище российской казенной учености, и твой тусклый луч позлащает сии эполеты, аксельбанты и шпоры. В одно из посещений штаба мне

даже довелось видеть в приемной поручика Иванова, этого Мадемуазель Фифи белогвардейской Казани, настоящего профессора, в крылатке, в скромной шляпе с мягкими полями, с теми пышными и чистыми сединами, какие после Тургенева носили все ученые-народолюбцы, кумиры «чуткой передовой молодежи», который вполголоса быстро-быстро сообщал лениво и пренебрежительно слушавшему его юнкеру всякие особые секреты по части неблагонадежных элементов, спрятавшихся в его квартале...

Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую; от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей. Пора было подумать об обратном исходе.

Пристав, тщетно прождав моего без вести пропавшего «мужа», начал проявлять признаки беспокойства; денег не было ни гроша, и мои подвальные соседи настойчиво советовали уходить, пока не поздно. Да и жизнь в постоянной лжи, в ежедневном разговоре на тему о жидках, коммунистах и грядущих победах святого православного оружия становилась невыносимой. Однажды утром я тихонько оделась, ощупала в кармане засохшую корку хлеба, в которой окаменел запрятаный в мякиш пропуск, и решила уйти из дому, чтобы уж не возвращаться в него никогда. Жена рабочего успела всунуть мне в руку трехрублевую бумажку. Но у ворот меня остановил пристав: «Вы куда, сударыня, в такое раннее время?»

— В штаб, сегодня обещали дать точную справку.

— Позвольте вас проводить, я помогу, окажу, так сказать, протекцию.

— Да не беспокойтесь, я отлично доеду сама...

— Какое тут беспокойство — нет — уж разрешите старику поухаживать за дамой.

Как я ни отговаривалась, пристав стоял на своем, и мои слова прилипали к его сладкой настойчивости, как мухи к сахарной бумаге.

В штабе точно из-под земли вынырнул расторопный секретарь, а пока мы с ним проходили через общую залу, за спинами просителей и барышень, с любопытством провожавших нас глазами, блеснул уже белесый холодок штыка.

Кабинет поручика Иванова помещался наверху, в трех маленьких комнатах. Первая из них, приемная,

была густо набита просителями, арестованными, родственниками всякого рода и часовыми. Пока мой почетный конвоир бегал докладывать Иванову, тому самому, который «за революцию» бил по пяткам казанских железнодорожных рабочих, я успела оглядеться.

И вот в двух шагах, лицом ко мне, группа знакомых матросов из нашей флотилии. Матросы, как все матросы 18-го года, придавшие Великой русской революции ее романтический блеск. Сильные голые шеи, загорелые лица, фуражки «Андрея», «Севастополя» и просто — «Красный флот». Боцман смотрит знакомыми глазами, пристально, так, что видно его голую душу, которая через двадцать минут станет к стенке, — его рослую душу, широкую в плечах, с крестиком, который болтается на сапожном шнурке, — не для бога, а так, на счастье.

Стучит, стучит пульс: секунда, две, три, не знаю сколько. И глаза, громко зовущие себе на помощь, уже не смотрят. Они, как орудия в сырую погоду, покрылись чем-то серым. Стукнули приклады — матросов уводят. В дверях боцман осторожно оборачивается. «Ну, — говорят глаза, — прощай». Комната вертится, как сумасшедшая; откуда в ней этот блеск воды, блеск моря в ветреный день, с такой короткой, сердитой, серебряной рябью.

Зеленый стол, за ним три офицера. Конечно, этот слева и есть Иванов. Бледная лысая голова, до того белая, что кажется мягкой, как яйцо, сваренное вкрутую. Светлые глаза без бровей, белый китель, белые чистенькие руки на столе. Второй — француз; его лица не помню. Так, нечто любопытно-брезгливое и бесконечно холодное. Смотрит кругом, стараясь все запомнить связно, так, чтобы потом можно было остроумно рассказать у себя дома. Третий — протокол. Перо, прямой пробор, заглавная буква сверху листа с размашистым, нафиксатуренным хвостиком.

— Ваша фамилия? — Возраст? — Общественное положение?

На мои ответы Иванов улыбается широкой, почти добродушной улыбкой...

— А Раскольников вы знаете? — На моем лице отражается невинная и беззаботная веселость прокурора.

— Рас-коль-никова? — Нет, а кто это?

— Один крупный прохвост.

— Господин поручик, нельзя же знать всех прохвостов. Их так много. — Француз смотрит на нас, как на водевиль.

— Всех не всех, а одного вам все-таки придется вспомнить.

Я молчу.

И вдруг этот человек, только что выдержавший такие художественные паузы, жеманившийся, как сытый кот с ненужной ему мышью, подмигивавший офицеру-иностранцу на белье, снятое с меня во время предварительного обыска и аккуратно сложенное перед чернильницей Иванова, — вдруг этот изящный, небрежный, остроумный прокурор треснул кулаком по столу и заорал по-русски, вскочив с места от истерического бешенства: «Я тебе покажу, так твою мать, ты у меня запоешь, мерзавка». И грубо офицеру-иностранцу, имевшему бестактность засидеться на отеческом допросе: «Идите вниз, когда можно будет, позову». Француз прошел мимо легкими шагами, полоснув меня и своего коллегу и союзника презрительными, равнодушными, почти злорадными глазами.

И опять Иванов заговорил спокойно, со всей прежней мягкой, двусмысленной, неверной улыбкой: «Одну минуту, нам не обойтись без следователя».

В комнате было три двери. Направо та, через которую вышел Иванов; посредине — зимняя, заколоченная войлоком, запертая. И третья, крайняя слева, — в приемную. Возле нее — часовая.

Бывают в жизни минуты сказочного, безумного, божественного счастья. Вот в это серое утро, которое я видела через окно, перекрещенное безнадежным крестом решетки, случилось со мною чудо. Как только Иванов вышел, часовая, очевидно доведенный до полного одурения нервной игрой поручика, его захватывающими дух переходами от вкрадчивой и насмешливой учтивости к животному крику в упор, — часовая наполовину высунулась за дверь «прикурить». В комнате оставались только растопыренные фалды его шинели и тяжелая деревянная нога винтовки. Сколько секунд он прикуривал? Я успела подбежать к заколоченной средней двери, дернуть ее несколько раз — из последних сил — она открылась, пропустила меня, бесшумно опять захлопнулась.

Я оказалась на лестнице, успела снять бинт, которым было завязано лицо, и выбежать на улицу. У окна общей канцелярии, спиной ко мне, стоял пристав и в ожидании давил мух на стекле.

Мимо штаба неслышной рысцей проезжал извозчик. Он обернулся, когда я вскочила в пролетку.

«Вам куда?»

Не могу ему ничего ответить. Хочу и никак не могу. Он посмотрел на мой полупрозрачный костюм, на лицо, на штаб, стал на облучке во весь рост и бешено хлестнул лошадь. С грохотом неслись мы по ужасной казанской мостовой, все задворками и переулками, пока сивка-бурка, вспотев до пены и задрав кверху редкий хвост, не влетела в ворота извозного двора. У моего извозчика сын служил в Красной Армии, а кроме того, он был мужем чудесной Авдотьи Марковны—белой, красной, в три объёма, теплой, как печь, доброй, как красное солнце деревенских платков и сказок. Она меня обняла, я ревела как поросенок на ее необъятной материнской груди, она тоже плакала и приговаривала особые нежные слова, теплые и утешные, как булочки только что с жару. Потом прикрыла мне голые плечи платком, и тут же на крыльце, выслушав всю историю с самого начала, таким матом прикрыла яснейшего поручика Иванова, что пышные петухи, крепкой лапой разрывавшие теплые от солнца навозные кучи, загорланили от восторга.

— Идем, мать, чаек покушаем.

Через часа два, завернутая в платок с розанами, имея при себе фунт хлеба и три рубля деньгами, я уже выходила за казанскую заставу. Занятый осмотром проезжавшего воза, дозорный пост меня легко пропустил; мимо другого я пробралась кустами.

Попутчик-крестьянин, который согласился меня подвезти до первой деревни, еще раз милостиво даровал мне жизнь в этот счастливейший день моей жизни. Протрусив рысцей верст шесть, он сказал голосом, который был голосом моей подвальной соседки, и рыжебородого извозчика, и Авдотьи Марковны, и всей российской бедноты, которая в те дни первоначальной революционной неурядицы, поражений и отходов безусловно была на нашей стороне и нашу победу спасла так же просто и крепко, как меня, как тысячи других товарищей, разбросанных по ее большим дорогам:

— Ну, слезай, девка. Полно врать,— я вижу, кто ты есть за птица, иди в село налево — там твои. А направо вон ходит облачко, будто черное; это чехи, кавалерия.

Пробежав полем версты две, я действительно встретила нашу передовую цепь. Один из красноармейцев, очевидно узнавший меня по штабу товарища Юдина, сел рядом на ком вспаханной земли и деликатно, делая вид, что не замечает моих расстроенных чувств, сказал, скручивая сигарку.

— Ну, что, нашла ты своего мужика?

КАЗАНЬ—САРАПУЛЬ

I

Ночные склянки, отбивающие часы на палубе миноносца, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости.

Но, вместо Невы, величаво отдыхающей, вместо тусклого гранита и золотых шпилей, отчетливый звон осыпает необитаемые берега, чистые прихотливые воды Камы, островки затерянных деревень.

На мостике темно. Луна едва озаряет узкие, длинные, стремительные тела боевых судов. Поблескивают искры у труб, молочный дым склоняется к воде белесоватой гривой, и сами корабли, с их гордо приподнятым носом, кажутся среди диких просторов не последним словом культуры, но воинственными и неуловимыми морскими конями.

Редкое освещение: отдельные лица видны и отчетливо видны, как днем. Бесшумны и так же отчетливы позы. Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы.

Пляшущие руки сигнальщика с его красными флажками, красноречивые и лаконические, танцующие в ночном ветре условный, обрядовый танец приказаний и ответов.

И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма,— высоко, выше мачты и мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда.

Давно пройден и остался за поворотом реки наш передовой пост, лодка под самым берегом, и командир Смоленского полка, Овчинников, спокойный, всегда неторопливый и твердый, отчетливый и немногословный — один из славной стаи Азинской 28-й дивизии, прошедшей с боем всю Россию, от холодной Камы до испепеленного желтыми ветрами Баку.

Где-то справа мелькнул и исчез лукавый огонек, — может быть, белые, а может быть, один из отрядов Кожевникова, шаривший в глубоком тылу у белых и иногда совершенно неожиданно вылезавший навстречу нашей «Межени» из непролазной чащи кустарника, запуставшего обрывистый камский берег.

При первых лучах рассвета необычайна красота этих берегов. Кама возле Сарапуля широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоятся между островами, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт — и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки.

На мелях сотни лебедей распростирают белые крылья, пронизанные поздним октябрьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел. И хотя противоположный луговой берег занят неприятелем — ни одного выстрела не слышно из мелкорослых кустарников. Очевидно, нас не ждали в этих местах — и не успели приготовиться.

Из машинного люка до пояса выставляется закопченный и бледный моторист и, стирая с лица черноту и пот, с наслаждением вдыхает острый утренний воздух, за одну ночь ставший осенним и северным.

Лощман на мостике, всклокоченный и крепкий, похожий в своих седилах и овчинном тулупе на лешего, прочит ранний мороз.

«Снегом пахнет, воздух — снегом пахнет», — и опять молча отыскивает узкую дорогу кораблей среди предательской ряби отмелей, тумана и камней. За эту ночь пройдено больше ста верст, и вот вдаль показался кружевной железнодорожный мост и белые макушки Сарапуля. Команда отдыхает, полощется возле крана, дразнит двух черных щенят, возвращенных с великой любовью среди пушечной пальбы и непрерывных походов.

Резкий крик наблюдателя:

— Люди на левом берегу,— и снова напряженное ожидание. Но те, на берегу, уже разглядели нас, и в воздухе радостно пляшут красные полотнища. И дальше, на берегу, и на мосту, и за песчаным прикрытием вспархивают и трепещут красные флажки. Малые фигуры пехотинцев в серых шинелях бегут по берегу, машут, кричат и перебрасывают на железные палубы миноносцев какие-то благословляющие приветствия.

Прошли мост, повернули левее, а за последним судном, идущим стройной кильватерной колонной, уже трещит ружейная перестрелка. Это белые обстреливают охрану моста, сбежавшуюся посмотреть на проход нашей флотилии.

В бинокль ясно видна набережная Сарапуля, занятого дивизией Азина, Сарапуля, со всех сторон обложенного белыми, и, наконец, благодаря приходу флотилии, соединенного с нижележащими армиями.

Подходим ближе. На крыше поплавка, на перилах, на дороге — красноармейцы, чуйки, платочки и бороды, и все это радостно изумленное, свое, дружеское. Оркестр на пригорке гремит марсельезу, барабан, заглядевшись на корабли, образует брешь в мелодии, труба несется далеко впереди рассерженного дирижера, радостно играя громовыми переливами и не останавливаясь ни на чем, как конь, сбросивший всадника. Уже приняты концы, борт плавно примкнулся к пристани, матросы высыпали на берег, и пошли разговоры:

- Как же вы прорвались? Побили их корабли?
- И побили, отец, и в реку Белую загнали.
- Врешь.
- Да не вру.

Через толпу пробирается молодая еще женщина, вся в слезах. «Матроска»,— говорят окружающие. И начинаются новые причитания. Плач матери и жены, пронзительный однообразный вопль: «Моего увели на барже, на барже стащили. Матросом был, как вы». Платочек мечется от одного моряка к другому, слепнет от слез, гладит шершавые рукава бушлатов, это последнее свое воспоминание. Да, жестокая штука война, гражданская,— ужасна. Сколько сознательного, интеллигентского, холодного зверства успели совершить отступающие враги.

Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапуль — все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в исто-

рию революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев и даже грудных пiskuнов не пощадили. В другом — на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи, и вокруг них великолепный румянец осенних кленов кажется следом избития.

Жены и дети этих убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве был день, — вспомните вы, бывшие на борту «Рас-торопного», «Прыткого» и «Ретивого», на батарее «Сережа», на «Ване-коммунисте», на всех наших зашитых в железо, неуклюжих черепахах, — разве был хоть один день, когда мимо вашего борта не проходила эта молчаливая спина в шинели, этот солдатский затылок с такими редкими, куцыми волосами (все после тифа) и танцующей по воде рукой, то всплывающей, то опущенной ко дну. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы не выли от боли в час вашего прихода, где бы на берегу, среди счастливых и обезумевших, которые так неумело (рабочие ведь, не моряки) принимали ваши «чалки», не было десятка осиротелых баб и грязных, слабых и голодных детей рабочих. Помните этот вой, которого не могло заглушить даже лязгание якорной цепи, даже яростный стук сердца, даже красный от натуги голос предисполкома, который еще издали, за полверсты кричал вам, что Самара взята Красной...

Между тем к первой женщине подошла вторая, совсем маленькая и старая. На ее лице те же шрамы горя. «Не плачь, Расскажи толком».

И мать рассказывает, но слова ее теряются в причитаниях, ничего нельзя понять.

А дело вот в чем: отступая, белые погрузили на баржу 600 человек наших и увезли — никто не знает куда, кажется в Уфу, а может быть и к Воткинскому заводу.

Через час пронзительная сирена собирает на пристань разошедшихся матросов, и командующий отдает новое приказание: флотилия идет вверх по реке на поиски баржи с заключенными. И, подгоняя команды, как-то особенно отчетливо повторяет: «600 человек, товарищи».

Они нас не ждали: окопы, проволочные заграждения, пикеты, все это оказалось неприкрытым со стороны реки и видно как на блюдечке. Медленно скользя вдоль берега, миноносцы выбрали удобное место, и комендоры отыскивают цель. В кают-компанин полуоткрыт люк в пороховой погреб, и оттуда быстро передают наверх снаряды. Раздается команда:

— Залп.

Из дула выплескивается огненная струя, с легким металлическим звоном падает пустая гильза, и через 10—15 секунд в бегущей цепи неприятеля подымается пепельно-серый и черный дымовой фонтан. Управляющий огнем изменяет прицел:

— Два больше, один лево. Залп.

Вот и на «Ретивом» открыли огонь, и «Прочный» из кормового орудия зажег церковь.

Пользуясь всеобщим смятением, мы засветло будем в Гальянах (35 верст выше Сарапуля).

Еще один переход в 10 верст, и мы у цели. Красные флаги спущены, решено всех взять врасплох, выдавая флотилию за белогвардейскую — адмирала Старка, которую с таким нетерпением до сих пор поджидали себе на помощь ижевцы. Из-за островка и поворота Камы суда полным ходом появляются перед пристанями Гальян, проходят село, расположенное на горе, и выше его делают поворот, разворачиваются — маневр очень трудный на таком узком и мелком месте.

— Без приказаний не открывать огня,— передает сигнальщик с одного миноносца на другой.

Обстановка следующая: в 20—30 саженях на берегу, возле церкви, ясно видно тяжелое 6-дюймовое орудие. Дальше на пригорке много любопытных крестьян и среди них кучки вооруженных солдат. На колокольне второе орудие, быть может пулемет. Под левым берегом баржа с десантом белогвардейцев. В кустах мелькают белые палатки лагеря, расстилается дымок походных кухонь, и, отдыхая, солдаты лежат на берегу, с любопытством следя за маневрами миноносцев. Посредине же реки, охраняемая караулом, целая плавучая могила, безмолвная и недвижимая.

Рупор с «Прыткого» вполголоса передает порядок действий на другие суда. «Ретивый» подходит к барже, и, не выдавая себя, удостоверяется в присутствии драгоценного живого груза. «Прыткий» наводит орудия на 6-дюймовую пушку, с тем чтобы разбить ее в упор при первом движении неприятеля, но одновременно наблюдает за пехотой.

Но как же снять с якоря баржу, как вытащить ее из узкой ловушки, образуемой мелями, островом и перекастом? К счастью, тут же у пристани дымит неприятельский буксир «Рассвет». Наш офицер в блестящей морской фуражке передает его капитану безапелляционное приказание.

— Именем командующего флотилией адмирала Старка приказываю вам подойти к барже с заключенными, взять ее на буксир и следовать за нами через реку Белую на Уфу.

Приученный белыми к беспрекословному повиновению, капитан «Рассвета» немедленно исполняет приказание: подходит к барже и берет ее на буксир. Бесконечно медленно тянутся эти минуты, пока неповоротливый пароход, шумно шлепая колесами-жабрами, подходит к барже, укрепляет тросы, дымит и разводит пары. Команда наша замерла, люди страшно бледны и верят и не смеют поверить этой сказке наяву, этой обреченной барже, такой близкой и еще бесконечно далекой. Шепотом спрашивают друг у друга:

— Ну что, двигается или нет? Да она не двигается.

Но «Рассвет», напуганный строгим окриком капитана, чудесно исполняет свою роль. На барже заметно движение. Сам караульный начальник и его команда, сложив винтовки, помогают выбирать якорь. И понемногу тяжелая громада выходит из равновесия, трудно разворачивается ее нос, натянутые канаты слабеют и снова тянут свою упрямую спутницу. «Прыткий» окончательно успокаивает смущенных тюремщиков.

— Именем командующего приказываю вам сохранять полное спокойствие, мы пойдем впереди и будем вас конвоировать.

— У нас мало дров,— пробуют возражать с «Рассвета».

— Ничего, по дороге погрузите,— отвечает комфлот, и миноносцы, не торопясь, чтобы не вызвать подозрения

у наблюдающих с берега белогвардейцев, начинают отходить к Сарапулю.

А там, в трюме баржи, уже началась тревога: «Зачем везут, куда и кто». По отвратительному, грязному полу пробирается на корму один из заключенных, матрос. Там в толстой доске перочинным ножом проверчена дырка, единственный просвет, в который видно кусок неба и реки. Долго и внимательно наблюдает он за таинственными судами и их молчаливой командой. Читая луч надежды на его лице или новое опасение, искаженные лица окружающих кажутся одним общим лицом, неживым и неподвижным.

— Да ведь они все одинаковые, серые, длинные. Белогвардейские или нет? Смотри внимательно, смотри скорее.

— Да нет.

— Что нет, черт тебя дер!

Наблюдатель сваливается с табуретки.

— У них нет таких железных, это наши, это балтийские, на них матросы.

Но несчастные, три недели пробывшие в гнойном подвале, спавшие и евшие на собственных экскрементах, голые и завернутые в одни рогожи, не смеют поверить.

Уже в Сарапуле, когда на пристанях кричал и плакал приветствовавший их народ, когда матросы арестовали белогвардейский караул и, не смея спуститься в отвратительный трюм, вызывали из этой могилы заключенных, еще тогда отвечали проклятиями и стонами. Никто из 430 не верил в возможность спасения. Ведь вчера еще караульные выменивали корку хлеба и чайник на последнюю рубашку. Вчера на рассвете из общей камеры на семи штыках выволокли изорванные тела трех братьев Красноперовых и еще 27 человек. Уже целые сутки в отверстие на потолке никто не бросал кусков хлеба (по $\frac{1}{4}$ на человека), единственной пищи, утолявшей голод в течение трех недель.

Перестали кормить, значит, уже не стоит тратить даже объедков на обреченное стадо, значит, ночью или в серый, бескровный, утренний час придет конец для всех, — конец еще неведомый, но бесконечно гяжий. И вдруг привезли, открыли голубую и серебряную дыру в ночное небо и зовут всех наверх странными, страшно взволнованными голосами, и зовут каким именем — за-

прещенным, изгнанным — «товарищ». Не измена ли, не ловушка ли, новое ухищрение?

И все-таки в слезах, ползком, один за другим, они воскресли из мертвых. Что тут творилось на палубе! Несколько китайцев, у которых никого нет в этой холодной стране, припали к ногам матроса и мычанием и какими-то возгласами на чуждом нам языке воздали почести и безмерную преданность братству людей, умирающих друг за друга.

Утром город и войска встречали заключенных. Тюрьму подвезли к берегу, опустили сходни на «Разина» — огромную железную баржу, вооруженную дальнобойными орудиями, и через живую стену моряков 432 шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавали какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света. И в толпе, еще потрясенной этим зрелищем, уже просыпается чудесный юмор.

— Это кто же вас так нарядил, товарищи?

— Смотрите, смотрите, это форма Учредительного собрания, — каждому по рогоже и по веревке на шею.

— Не наступай мне на сапог, видишь — пальцы торчат. — И выставляет вперед ногу, обернутую грязным тряпьем.

Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь марсельезу. И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольников на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай. Неопишуемые лица, слова, слезы, когда целая семья, нашедшая отца, брата или сына, сидит возле него, пока он обедает и рассказывает о плене, и потом, прощаясь, идет к товарищам-морякам благодарить за спасение.

В толпе матросов и солдат мелькают шитые золотые фуражки тех немногих офицеров, которые проделали весь трехмесячный поход от Казани до Сарапуля. Давно, я думаю, их не встречали с таким безграничным уважением, с такой братской любовью, как в этот день. И если есть между интеллигенцией и массами чудесное единство в духе, в подвиге и жертве, оно родилось, когда матери рабочих, их жены и дети благословляли матросов и офицеров за избавление от казни и мук их детей.

МАРКИН

Каждое утро боцман флагманского судна «Межень», довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме.

Сегодня термометр остановился на $1/2$ градуса, в воздухе — ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды судов, совершивших всю трудную кампанию от Казани до Сарапуля, готовятся к зимовке, команды веселятся, предвкушая отдых. Еще день-два, и флотилия уйдет из Камы до следующей весны.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дороги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами.

Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов, — не за себя, конечно, но за великий 18-й год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь, на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерченные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов.

Кто знает, против кого и в каких водах придется начать борьбу через год, какие товарищи взойдут на бронированные мостики судов, таких знакомых и дорогих каждому из нас.

Тяжело стуча колесами и высоко в темноте покачивая сигнальный фонарь на мачте, уходит в Нижний кто-то из «транспортов».

Оставшиеся суда провожают удаляющегося товарища прерывистым ревом сирен, который долго не умолкает: каждый из них знаком, как голос друга. Вот резкий крик «Рошалья», вот пронзительный и короткий свисток «Володарского», вот «Товарищ Маркин» со своей грудной, оглушительной трубой.

Самые тяжелые воспоминания связаны для нас с этим прощальным приветом моряков. К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасности.

Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-коммунист», зажженный неприятельским снарядом, пылающий среди ледяных вод реки, окруженный всплесками, со сломанным рулем и оборванным телеграфом. Как долго, как непрерывно кричала его сирена.

Все чаще подымались вокруг фонтаны воды, уже на поверхности реки замелькали черные точки — люди, бросившиеся вплавь к берегу, и течением понесло вниз обгорелые щепы, какие-то ведра и табуретки, а она все не умолкала — окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти. Странно и неожиданно подошло это несчастье.

Еще накануне военная флотилия одержала значительную победу над белогвардейской флотилией: после двухдневного боя у села Битки последняя должна была бежать выше, и наши суда прорвались в тыл белым, расположенным на обоих берегах. Преследование продолжалось еще целые сутки, и только на утро третьего дня флотилия стала на якорь в чудесном плесе Камы, голубом, бирюзовом и янтарном под ясным солнцем ноября.

Решено было на время остановиться, подождать прихода десанта, так как разведчики принесли тревожные известия о сильных береговых укреплениях в селе Пьяный Бор, которые нельзя было взять с реки без поддержки нашей пехоты; к тому же запас снарядов совершенно истощился, на кораблях и барже оставалось по 18—50 выстрелов. В ожидании пехоты, которая всегда сильно опаздывала, моторные катера пошли на разведку, и матросы с удовольствием издали наблюдали неуловимо быстрые, стремительные тела, едва заметные в

облаке пены, по которым белые открыли совершенно бесполезный ураганный огонь.

В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.

И Маркин не выдержал. Маркин, командовавший лучшим пароходом «Ваня-коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.

Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.

Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предрешена.

На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх,—этой гнусной болезни никто не был подвержен,—но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».

Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:

- Маркин, в кого вы стреляете?
- Мы стреляем по батарее.
- По какой батарее?
- Вон за дровами, видите, блестит дуло.
- Немедленно дайте полный ход назад.

Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним,— белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед носом,— кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катясь и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу, со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.

Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью, при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.

Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-коммуниста» первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.

«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти.

Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.

Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица: и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.

Он отплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и один под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал малейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.

Маркина ждали всю ночь,— Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол,

которые вдруг казались мутно водянистыми от непролитых слез.

Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.

Погиб «Ваня-коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.

Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.

Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усаые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.

Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но едва поравнявшись с «Зеленым островом», горжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.

Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.

Покидая Каму, быть может навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые готовят и делают возможной победу.

Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.

Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров, и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит, Россия выздоравливает и собирается.

И их немало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

Вот спокойный, немногословный Елисеев, чудесный наводчик, подбивавший лодчонку на 12-верстной дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.

Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который поцарски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.

Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».

Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и напер¹ флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образованных моряков, служивших безукоризненно советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем его, вместе с несколькими младшими офицерами, насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпио-

¹ На опер — сокращенное: «начальник оперативного управления». (Все примечания, кроме помеченных особо, принадлежат автору.)

нами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса — стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и колесом штурвала, вращающемуся в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте — гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облачают в минуту опасности.

После 10 дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепкожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального Интернационала.

И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь — ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, — а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь

себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов — его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, одев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

— Во-первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

Раз — передышка, как после залпа. Где-то вдаль, где морской корпус, обеда на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, — взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

— Второе, с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье, вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели — лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи... но...

Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны северных и южных штатов».

АСТРАХАНЬ

I

Первые дни.

Ночи темные, голубые, и бесконечная степь.

У насыпи нахохленные, как хищные птицы, смуглые даже при свете узкой и отдаленной половецкой луны, отдыхают татары.

Таковыми же они были при князе Игоре, в своих теплых мерлушковых шапках, прикорнувшие к земле, похожие на природный камень. И, как сотни лет тому назад, мимо них идет Русь воевать на Юге.

В сумерках на пути скрипят и лязгают воинские поезда, но люди на одиноких степных полустанках спокойнее, крепче, увереннее, чем на страшных столичных вокзалах, где бивуак и больница, ночлежный дом и лагерь отвратительно смешаны. Чистый ветер разносит по безграничным просторам последние остатки привезенной нами городской пыли, самый дым паровоза отдает пылью.

Здесь уже вступает в свои права война. С первым раненым, которого подсаживают на высокую подножку вагона, она входит в нашу жизнь, чтобы не уходить из нее до конца.

Это человек лет сорока, с узловатой, коротко остриженной головой и маленькими глазами, в которых все время видно ровное золотистое дно его души. Большой загорелый лоб, покрытый следами изнурительного юж-

ного солнца, но где ни одно сомнение не оставило своей язвительной борозды. Рука у него в локте перерублена казацкой шашкой, и до сих пор на сером полотне рубашки затертый кровавой след. При отце — тринадцатилетний сын, совсем уже большой, красивый и ничего не знающий о своей красоте, полуребенок, полувоин, в профиль напоминающий воинственных ангелов Византии.

Как долго и ясно запоминается лицо этого мальчика: оно все целиком обращено в одну сторону, как бы навстречу сильному ветру, и на нем рдеет отблеск революции, которая прошла так близко и коснулась его детства горящим крылом.

Вероятно, он не узнает зрелых лет, никогда не возмужает, не прочтет книги, не коснется женщины. Это быстро идущее время унесет его где-нибудь среди зеленой степи, неожиданно окруженного конницей калмыков. Он будет долго защищаться, плечом к плечу со своими братьями и отцами, будет, вероятно, сломлен, и в безгранично голубом небе над его головой хищная птица опишет медленный стелющийся круг. Страх смерти, который на слабых лицах застывает, как жир на остывшей тарелке, на этом милом и мужественном лице зарисует свои лучшие морозные узоры, сказочные, бесконечные, неподвижно улыбающиеся.

Так гибнут дети революции.

II

Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.

Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.

Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непрсыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание.

Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве в единственном парке, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. Посередине, в тени

кленов, светится освещенный изнутри большой стеклянный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкои сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.

III

В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.

Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.

Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно-длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.

В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума падают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы,— под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.

Высоко в небе, над млеющими садами слышно отдаленное гудение. Оно крепнет,— но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.

Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.

И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебных птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.

Навстречу трем низколетащим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в

тончайших сосудах, дает перебой и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.

Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегаёт на вершину незримой воздушной горы.

Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямоту его полету?

Там, внизу, лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побеги жизни.

И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов, и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.

Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блещут их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно, сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта закончена и огромна, а глаза пристальны и блестящи, глаза давно исчезнувших воинственных птиц.

IV

Где вышиты золотом осы,
цветы и драконы...

Розовым пожаром заходит солнце.

Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может, о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувстви-

ная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество.

Его лицо того же темно-зеленого цвета, и на нем, цветущей ветвью среди листвы, улыбается густой, острым полукругом очерченный рот. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой — песочные часы, но не одинокие часы Дюреровой Меланхолии, по крупинкам меряющие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни. Над головой дружелюбно стоят рядом, разделяя изумрудное небо, — справа солнце, слева луна. Оба светила окружены клубящимися облаками, несколько мягче окрашенными, чем алый нимб, с которым они сливаются. За ними — бесконечность.

Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Это глаза самых загадочных портретов Возрождения, но без их двусмысленной слабости и художественной лжи. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. На руках, совершенно женских, — красные браслеты. Но грудь зелено-пурпурной Эос не обозначена ни единой чертой. Таким образом, она, прекраснейшая среди богов и древних людей, непорочная, с торсом юноши, смеющаяся заря, в очах которой вся радость и печаль еще не наступившего дня. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине.

V

Виделись с Беренсом, командующим всеми морскими силами Республики. Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля.

Его европейский ум нашел неопровержимую логику в буре и, убежденный ею почти против воли, добровольно сделал все выводы из огромной варварской истины, озарившей все извилистые галереи, парадные залы, сады и капеллы его полупридворной, полуфилософской души. И хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами

ходуном заходил лошадь пол Адмиралтейства, его светлая голова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады.

Наконец к его опустошенному дому пришла новая власть, заставила себя принять и потребовала присяги в верности. Он принял ее взволнованный, со всей вежливостью куртуазного XVIII века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне дней еще раз побежденного страстью: последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа и пришедшему наконец судить мир. Революция заставила Беренса — теоретика и сибарита — засучить кружевные манжеты и собственными руками рыть могилу своему мертвому прошлому и своему побежденному классу. Беренс вооружает корабли против реставрации и верит, вопреки всем догмам, что его маленькие флотилии, нагруженные до краев мужеством и жаждой жертвы, могут и должны победить.

После падения нашего Царицына Беренс сидит у себя в каюте, и глаза его становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына.

VI

10 июля 1919 года.

— Товарищ командующий, исполкомцы на ту сторону просятся, разрешите их переправить.

— Нельзя, они с нами пойдут в поход и будут показывать деревни, занятые казаками.

Вперед выступает коренастый, загорелый, с веселыми живыми глазами председатель какого-то сельского комитета, бежавший из своей степной резиденции с приходом кадетов и сообщивший очень интересные сведения. Оказывается, в двадцати пяти верстах выше по течению прибрежная деревенька уже занята двумя казацкими полками и на площади за церковью спрятаны четыре орудия. На заре вся эта сила должна двинуться на наш штаб в Р. А где же они теперь?

Кто? Казаки? Купаются. Сегодня до ночи у них отдых. И люди и кони все в реке. Очень жарко.

И действительно, день огненный. Река неподвижно разметалась среди золотых песчаных берегов. Парит. Изредка из воды блеснет тяжелая рыба. Если бы не береговые батареи, как хорошо подойти сейчас по сонной и разгоряченной реке к этому берегу, где дикая орда полощется в реке, где среди брызг блестят на солнце широкие спины наездников, совсем как у Леонардо в его «Купающихся воинах». Ночью назначен поход.

Чудесная ночь. Опять эта низкая розовая луна, железная и жемчужная, жестокая, как запах полыни, и нежная, как цветение виноградников. Миноносцы тихо идут против течения, время исчезает, рей, как сеть, трепещут в небе, и в них полный улов звезд.

Проходим деревни, где спят, отдыхают и думают о завтрашнем набеге сотни врагов. Корабль в темноте выбирает место, наводит орудия, и по тихой команде из огромных тел выплескивается огонь.

Там, на берегу, уже умирают.

Маленький крестьянин-совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен,—но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величавая улыбка, какое-то смущенное, неосознанное, почти детское отражение власти. Вот он стоит в лаптях, русский мужик в лаптях, на бронированной палубе военного корабля, и весь этот быстроходный, бесшумный гигант, со своим послушным механизмом, с кругами радиотелеграфа на мачтах, с знаменитым моряком-артиллеристом у дальномера, принадлежит ему и служит верховной его воле, его, Ивана Ивановича из села Солодники. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целой Россией, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией.

Вынимая вату из уха, светило Морской академии Векман наклоняется к безмолвному, сжавшемуся в комочек и торжествующему Ивану Ивановичу и спрашивает его в темноте:

— Товарищ совдепец, выше или ниже колокольни, правильно ли мы бьем?

Иван Иванович ничего не отвечает, но по его блестя-

щим глазам и сморщенному лбу видно, что стреляют верно.

Светает.

Вот совсем у берега грохнул снаряд...

— Это не иначе как в дом Микиты! Богатый мужик — десять коров имел, не меньше, у него и приезжие офицеры останавливаются.

Белые не отвечают, но в темноте чувствуется их отчаянное бегство. Едва одетые, на своих необъезженных лошадях они всю эту горячую и долгую ночь проскачут степью, и за ними внезапно воскресший призрак монгольского первобытного страха. Дом Микиты горит, пушки давно замолчали.

Миноносец выбирает якорь и спускается по течению.

VII

Прекрасны старики революции. Прекрасны эти люди, давно пережившие обычную человеческую жизнь, и вдруг на том месте, где обыкновенно опускается занавес и наступает темнота и сон, завязавшие нить беззаконной молодости духа.

Вот Сабуров, Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне, жена незаметно свернулась в клубочек легких, мягких, пепельно-серых стареющих мыслей и чувств. Сам он прошел всю гамму — от лейтенантских эполет до эмиграции в Париж еще во время Шмидта, в деле которого косвенно был замешан.

В эмиграции Сабуров жил, как тысяча политических изгнанников: из простых слесарей на фабрике дослужился до ее управляющего. Большие чертовы часы показывали Сабурову 58 лет, когда случилась революция, и он, все бросив, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера.

Наверное, еще переплывая седую Балтику, он сидел где-нибудь один на спардеке, слушая, как тяжелые волны бьются о борта, как торопливо пробегают матросы по палубе, как дышит и курится море; считал свои потерянные годы и видел перед собой свое новое, безумно молодое призвание.

Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему под Казанью дали тяжелую, медленную, защитную в железо баржу, на которой по очереди

грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия.

Как он чудесно управлял огнем! Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазками и французскими приговорками, Александр Васильевич присядет у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню Сумбеки, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.

С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пытая и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов.

О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно, точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты и мимо которого каждый день проходит смерть, слепая, с распростертыми крыльями, влажными от фонтанов отравленной, кипящей и рвущейся воды.

Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости.

VIII

*Le jour de gloire est arrive
Formes vos bataillons...*¹

Черный и красный цвет окрашивает наши знамена. Черный — в дни медленных похорон.

Через раскаленный город идет отряд моряков-музыкантов.

Трубы блещут, по мертвой мостовой гремят шаги, и флаги кажутся изваянными из черного камня, — так они тяжелы и суровы. Складки шевелятся, как в забытии, и видят сон о глубоком, прохладном небе, о ранней северной весне, о первых чайках над Кронштадтом, о первых снежных каплях, текущих в апреле.

¹ День нашей славы наступит,
Стройте свои батальоны...

(Из Марсельезы.)

Астрахань вокруг задыхается. Только легким мачтам рыбацких лодок легче дышать на воде. Город лежит, закрыв глаза, влажный от пота и пыли, не находя отдыха у каналов, где жар курится еще сильнее, пропитанный малярией.

Ровно и ритмично идут через город матросы. Над пустырями, среди развалин и над всей скучной пустыней из камня и безобразных крыш,— парит, трепещет и зовет марсельеза. Она коснулась высоких, неспешных нот, уже прошедших всю гамму горя об убитом. Она на вершине. Там, прямо под небом, песня-орлица озирает и видит всю жизнь, которая стелется дорогой далеко внизу без конца и начала.

И видит: вот широкая голубая река, текущая среди соленых песков к морю. Марсельеза крепнет и подымается выше. Гроб тихо качается, прохожие оглядываются на небольшую процессию, на лица моряков, которые и видят и не видят вокруг себя, окутанные горящим вуалем музыки.

А она между тем, опираясь на медь трубы и широкую грудь барабана, приветствует продолговатое судно, идущее против течения по безлюдной, знойной реке. На крыльях памяти траурный мотив следует за ним.

Знамя проснулось и задрожало. Его как бы коснулся свежий ветер с моря, налитанный угольной пылью трех широких серых труб. Моряки не поднимают глаз, и, сворачивая к пригородам, один из них вспоминает: это было на «Расторопном».

На минуту в мощном горле труб раздается хрипение слез, но они оправляются, и снова революционный гимн царит и плавает в чистом небе мужества и гордости.

Это было на «Расторопном». Он был в разведке, далеко от своих, и обнаружил засаду на берегу реки. Миноносец открыл огонь из двух орудий, сам расстреливаемый в упор.

И в напряженной суете защиты, когда комендоры, обжигаемые дуновением своих орудий, ищут и меняют цель, звенят пустые гильзы, лоцман боязливо склоняет голову при свисте близких снарядов; когда маленький командир, став на пустой ящик, видит свое судно, от носа до кормы окруженное всплесками и зависящее от малейшей вибрации его голоса и его воли, — в это время был ранен и молча умер матрос Ериков. Вот и все.

Марсельеза окончила свой рассказ. Плавно покачивается гроб на братских плечах. Быть может, тот, лежащий внутри, хочет спросить — в последний раз — о своей пустой койке или о том, кто теперь по утрам, стоя высоко на мостике, передает с корабля на корабль изысканную азбуку сигнальных флажков? Но смерть не снимает руки с синевато-белых губ, и никто не слышит несказанных слов. Гроб покоряется, и за ним бегут, расходясь бесконечно, как за кормой корабля, две дружных волны печали. На случайные лица в чужом и враждебном городе они роняют свою чистую и соленую пену.

IX

Ночью телеграмма от Н.

Комфлота идет вниз, чтобы завтра вечером попасть на совещание.

Жаль уходить из В. в разгаре белого наступления, которое продолжается два дня и ночь. На реке редкий артиллерийский гром, армия тревожно спит, не раздеваясь, положив под голову оружие и хлеб. Все огни потушены. При свечах секретарь принимает и передает последние распоряжения, по бумаге бегают нетвердое перо, ветром задувает свет, на который летят тихие темные бабочки. В воде колеблются звезды, и с голосами ночи сливается непрерывное, однообразное стрекотание радио. Вероятно, в перерыве между двух сухих земных телеграмм тоненькая заостренная мачта посылает нежный и неслышный привет небу. Из тускло-голубой тучи ей отвечают зарницы.

X

Полозенко — это огромного роста матрос, тяжелый, медленный, с темным лицом и темными волосами.

За столом невольно замечаются его большие мозолистые руки, быстрые и гибкие, всегда берущие вещи в том месте, где у них скрыта точка тайного равновесия. Все, чего касаются титанические пальцы Полозенко, невольно распадается на равные и пропорциональные части, и эти части в его руке уже живут и поддерживают друг друга в пространстве.

От локтя до кисти на его загорелой руке синеет выжженный японской иглой изящный и грозный дракон. Полозенко — летчик, и, когда он подымается на своей разбитой, никуда не годной машине, возле которой бегают клубки шрапнели, — его рукава засучены и, обвеваемый бурей, облитый солнцем, гонимый безумством храбрых, он видит на руке непреклонное маленькое азиатское чудовище, ожившее, с клубящейся разверстой пастью, и занесенным, как кинжал, острием хвоста.

Тогда Полозенко смеется, ветер срывает с его губ этот смех, и далеко внизу рвется брошенный им чугун.

На днях умер в душевной Астрахани шестимесячный сын Полозенки. Он подымается после этого по три-четыре раза в день, вопреки всем предупреждениям. Теперь на его большом лице появилась еще черта — прямая и резкая, как он сам, значение которой неизбежно и непреклонно и перед которой опускаются человеческие глаза, не смея ее узнать.

Этой чертой бессильной силы отмечен Геркулес Фарнезе.

XI

В Астрахани в Морской госпиталь помещена семья, вернее остатки семьи, Крючкова.

Они сидели за нищим обедом, когда случаю было угодно сбросить на их дырявую крышу бомбу с английского аэроплана. Все погибло, разорванное, распыленное, похороненное под обломками дерева и комями земли. Уцелела мать, мальчик восьми и второй двух лет, которому пришлось до колена отнять ногу.

Мать после операции двенадцатые сутки сидит на больничной койке и держит на руках бессонного ребенка, который не может лежать. У нее рыжие волосы, широкое скуластое лицо финского типа и ничего не видящие, испуганные животные глаза.

Ребенок на ее руках совсем голый, завернут в белое одеяло, маленький, с огромным пучком марли и бинтов на худенькой загорелой ножке. Руки беспокойно шевелятся, но голова этого двухлетнего спокойна, бледна и осмысленна, как у умирающего бога. Он в изнеможении закрывает глаза, но у него тогда лоб светится такой тайной и мыслью, что мать испуганно перестает причитать и развязный доктор отдергивает от неподвижной

щечки свои привыкшие ко всему и неделикатные пальцы. Когда умирают дети, им, вероятно, является вся их не бывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом. За час мучений, за одну ночь бреда они переживают целую жизнь и отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями.

Веки полуприкрыты и дрожат. На голом тельце жалко заметны пятна грязи, и на повязке все проступает и проступает розовая сырость. Мать смотрит на него неподвижно, оцепенелая. И, сидя на соседней койке, матрос с завязанной грудью вполголоса утешает: не всем нужны ноги. Мальчик умненький, его можно учить и сделать, например, телеграфистом. Почему телеграфистом? Раненый сам чувствует, что сказал неудачно. Но нужно чем-нибудь утешить, остановить слезы, заговорить кровь.

Маленький Федя совсем спокойно смотрит на бинты, которые сматывают с его тела. У него огромная душа.

XII

Бывают дни, когда события растут и сгущаются до крайних пределов. Даже мелочи кажутся многозначительными, восход пророчит долгий и неизвестный день, вечер рдеет и длится, как воспоминание. Становится понятен суеверный страх древних перед криком птицы, падением камня, скрипом и перешептыванием мертвых вещей. Откуда спускается на людей, спускается редко, горным туманом на долины, этот страх, это предчувствие неизвестного, это неизбежное томление духа?

Нет, не бои, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины сильные и молодые, не борьба иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто.

Это делает тайная болезнь души; назовите ее как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок, — вот неизлечимый и таинственный недуг войны.

Самая здоровая часть может проснуться больной, зараженной, охваченной всеобщим головокружением ужаса. И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, кото-

рые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих.

День испытания настал, наконец, и для нас. Как началось, почему и откуда — никто никогда не узнает. По степи промчался всадник, окруженный облаком пыли.

Вот и все. Конь и седок летят между нашими и неприятельскими окопами без смысла, без цели, гонимые фуриями. Движение лошади, наклон ее головы, хлопья пены на груди и губах, трепетание и хрип, — все это слилось в один неудержимый, последний порыв: бежать, бежать, бежать.

Ничто, по-видимому, не изменилось. По-прежнему на синем зеркале реки солнце плавит отображения кораблей, тряская фура, запряженная унылой лошадей, везет раненого, обернутого охапкой свежего сена, — а на вышке, где притаился наблюдательный пункт, уже господствует тревога.

В безлюдном поле десятки глаз ищут враждебного движения. Побледневший солдат со всей силой прижал к уху телефонную трубку. И уже они что-то видят — далеко на горизонте, правее, левее, ближе. Целое фантастическое облако неуловимых врагов — везде разбросанных, отовсюду приближающихся.

По десяти проводам растекается ожидание с вышки в окопы. Где-то выстрел, где-то беспорядочный пулемет. Наблюдатель стоит у перил, не решаясь поднять к глазам бинокль. Его руки дрожат и похожи на концы испуганных крыльев. Подобно электрической волне, страх разливается до незримых пределов. Два любопытных аэроплана чертят небо: они, как хищники, почуявшие падаль за много верст. В течение пяти дней этот же наблюдатель, не смущаясь, высматривал со своей шаткой каланчи наступление озлобленных и быстрых кочевников.

С этой же вышки, не думая ни о чем, кроме дистанции и целика, он управлял бурным и разрушительным огнем наших кораблей, хотя волна всадников уже заливала пригород и из-за углов жужжали первые шальные пули уличной борьбы.

Лицо наблюдателя в часы борьбы — отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе.

Пять дней маленький гарнизон спал не раздеваясь, спокойно убирал убитых и, отражая атаку за атакой, просто не замечал ни закатившихся, полуприщуренных

глаз смерти, ни ее землистой бледности, выступающей среди обрывков платья. С павших снимали оружие и о них не говорили.

Даже страшное для пехоты слово «обход», даже оно было забыто. И хотя Черный Яр действительно был обойден со всех сторон и только спиной прислонился к Волге и флотилии, обхода никто не признавал. И вдруг — эта слабость.

Вызванный трепещущими красными флажками сигнальщика с корабля, на вышку приехал старший артиллерист товарищ Кузьминский. Пока он своими морскими глазами шупал сады, овраги, отдельные села, остальные напряженно смотрели на его лицо, наполовину скрытое биноклем, лицо, которое знали и любили: сперва губы сильно сжаты, потом, после первого напряжения, он переводит дыхание, вытирает хрустали. Глаза прозрачные, как бы отсутствуют. Как дорогие оптические стекла, они поставлены сейчас на большое расстояние и не могли бы ни читать, ни улыбаться. Опять молчаливое наблюдение. Потом щеки, редкая черная борода, хищный нос — вся маска воинственного фавна приходит в движение. В улыбке блеснули золотые зубы. Бинокль отложен, глаза уже вернулись в себя — они человеческие и лукавые.

— Товарищи, да ведь это же не конница, а коровы.

На вышке сразу успокоились. Но через час напряжение опять возобновилось, и все росло, и стало мучительным.

Степь по-прежнему спокойна, из песчаной и дымчато-серой голубеет и розовеет к закату. И постепенно, не сговариваясь, наблюдатели отвернулись от далеких очертаний монастыря, откуда все утро ждали зла, и не могли уже оторваться от широкого степного моря, открытого и освещенного на сотни верст, где не видно ничего, кроме медленных огромных орлиных полетов.

И спокойный, почти мечтательный, похожий на человека, которому слышна отдаленная подземная музыка, опять вернулся на берег артиллерист и, не колеблясь, назначил сложную и совершенно неожиданную дистанцию своим дальнобойным морским орудиям.

Одинокий выстрел как-то неслыханно громко прокатился в степь — и снова все умолкло.

Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой серебряны и поклонились до земли.

На вышке, в окопах, на мачтах, куда забрались марсовые,— везде напряженное ожидание.

Неужели тонкий математик Кузьминский ошибся, ошибся со всем своим инстинктом ученого и солдата, и брошенный им в неизвестность снаряд мирно разорвется в поле, никого не задев, к ужасу полевых цветов, уничтоженных огнем и отравами.

Еще два раза с большими перерывами ударили по тому же направлению и с тем же результатом. И вдруг команда — «беглый огонь».

Они появились как бы из земли, густыми, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было 3 тысячи, калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в 15 верстах от Черного Яра для ночного набега.

Они уходили, теряя людей на каждом шагу, неутомимо-озлобленные против этих северян, шесть дней простоявших на месте и чудом избежавших резни.

По извилинам карты, по слабому намеку моряк предугадал целую повесть: бурный летний дождь, крохотную балку, размытую ливнем в целую яму, и тихую ночь, когда, скользя копытом по глинистому скату, фыркая в темноте и под мохнатой мокрой буркой зажигая спичку, спустилась на ее дно кавалерия.

О, как спали следующую ночь в Черном Яре. Как весело чистили лошадей и оружие и как легко перешли на заре в наступление.

ЛЕТО 1919 ГОДА

I

Началось наступление.

После боев отряды флотилии настолько сблизились, что могут непрерывно сообщаться по радио.

Корабли живут напряженной тайной жизнью: ведь они пробиваются к морю. Ежедневные походы, самая осада Царицына, которая будет жестокой, совершаются сами собой, как во сне. Главное — морская карта Каспийского моря, над которой по вечерам текут молчаливые часы размышления.

Эта карта не похожа на обычные речные — воды испещрены на ней плавными линиями течений, звездами маяков и бесчисленными знаками предостережений. Она очень глубока в своем строгом черном и белом цвете. Эти извилистые черты берегов, хитрые мели, стремительные потоки, несущиеся от края до края, наконец ямы, уходящие в неизмеримую глубину и на поверхности тихие, как озера: сколько раз фантазия шествует через них, не замочив крылатых ног.

Слабый свет лампы лежит на лицах, склоненных к столу — шахматной доске. Они играют с партнером, находящимся за сотни верст, по ту сторону лукавой, трудной карты, в Баку, Порт-Петровске и Эмбе.

Иногда глаза наоперов застилаются туманом в предвидении отдаленных ходов, иногда краска приливает к вискам теоретиков: среди тысячи возможностей им

блестит победа, потом опять грызущие сомнения перед двумя равноценными ходами, перед соблазнительным, легко доступным входом в безопасную, голубую персидскую бухту.

Есть теоретически неразрешимые узлы...

Тогда по волнам летит корабль Летучего Голландца, невозможное становится возможным, падают преграды, тает туман и дерзкая ладья готовит шах белому королю.

В ожидании похода старые матросы много курят и много молчат, улыбаются неизвестности и пишут длинные письма домой. А молодые испытывают какую-то особенную радость и полноту жизни.

Будут долгие дни без берега, без женщины, а потому особенно великолепным кажется лето, которое шествует по пояс в виноградниках и до кудрей погруженное в спелые ржи. Никогда ночи не были полнее звездного свечения, степь не цвела белее и пьянее под ризой мелких сухих цветов, никогда кровь не пела веселее в такт бегущему коню.

Поле кажется морем, солнце печет, золотисто-рыжий жеребец легко дышит и легко бежит, ветер отодвинул с диких глаз бронзовую гриву, и лебединый, широкий шаг укачивает.

О море, о синее море!

II

О море написано бесконечно много. Оно шире гексаметра, громче славы, и нет человека, чья усталость и печаль не исчезли бы в его даях. Все остается позади, когда беспорядочный плеск реки вдруг тонет в победоносном голосе Каспия.

Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах, и луна окружена невыразимо белыми молодыми облаками. Волга идет навстречу Каспию, все шире раскрывая объятия, идет тысячами рукавов, и ее плечи теряются в тумане. Иногда парусник снежно пройдет мимо на своих ласточкиных крыльях, озирая взморье, где не должна проскользнуть ни одна лодка лазутчиков.

Иногда винт запутается в рыбацких сетях и долго тянет их за собой, как водоросли,— если лоцман не заметит спящей лодки, которая стережет свой улов.

Никто не спит. Лунный свет скользит по давно зна-

комым фигурам. Черноусый рослый пулеметчик, и коротко остриженный затылок «флажка»¹, и обычно вялое, а сейчас охваченное тоской о море, широкое лицо боцмана. Красивый юнга присел на корточки и грезит: тоже морем.

Только узкая полоска Каспия принадлежит нам. Но и этой полосе, где весь поток Волги не может заглушить соленой горечи прилива,—ее уже достаточно, чтобы опьянить навсегда.

Очень медленно, издалека начинается день.

Корабли в море становятся видны за много верст, вырастают фантомами, кажутся неподвижно далекими островами. Черная, как скала, плавучая батарея; возле нее семейство крылатых шхун, и на горизонте дымки остальных.

После отчаянной качки на катере, необычайное спокойствие огромной железной палубы, середина которой едва заметно дышит.

Чай дымится в жестяных кружках, которые медленно и застенчиво расставляют серьезные матросские руки. Почти два часа незаметного похода — вся ночная усталость тает в равномерном скольжении, в трепете воды со всех сторон. Дремота сглаживает последнюю резкость очертаний, и, кажется, у самого изголовья движется рейд.

И нервами, всей способностью осязать, всем существом люди предчувствуют и знают цель похода по утреннему морю; знают и еще два часа могут спокойно отдыхать, развешивать выстиранное белье на припеке, и курить, и дремать. Только лица — спокойно напряженные, как улыбка сквозь дурной сон.

У старинных кораблей на носу, лицом к ветру и высоко над водой, там, где только в бурю курится и плещет пена, прикреплялись точеные из дерева фигуры: наяды, и орлицы, и святые девы, руками и складками плаща хранившие свое судно от несчастья,— так вот у них в очах, неподвижно вперенных в даль, это же выражение воли, застывшей как бы навек.

Наконец и боевая тревога, и силуэты врагов вдальеке, и остов их потонувшего на mine парохода «Араг».

Становится страшно легко и празднично. Нет лукавых извилин реки, ее засад и вечной тесноты. Белые со

¹ Флаг-офицера.

всех сторон и открыто совершают свои маневры. Две подвижных тени кружатся около тяжелой, неповоротливой, похожей на наш плавучий форт, упорно не открывая огня и соблазняя приблизиться.

Гораздо правее на горизонте еще четыре дыма, всего семь белых против четырех красных. Мы останавливаемся — начинается артиллерийская дуэль. Белые обеспокоены — первый залп дымится у них за кормой. Они не знают, что сегодня огнем управляет скромный невзрачный человек, с русой близорукой головой мыслителя, для которого вся жизнь сосредоточилась на корабле и который всю нежность и творчество своей молодости, поглощенной нищетой и наукой, сосредоточил на боевом огне, на дальности его и точности, на тончайших оттенках и особенностях орудий.

Белые хорошо отвечают. Большой незнакомец оказывается обладателем 6 пушек, и у нашего борта дымится рядом три могучих всплеска. На воде крупными рыбами блестят и трепещут осколки, и потом доносится запоздалый вой и свист разрываемого воздуха.

Спустя неделю, когда на батарее не было холодного Соболева, ее командир, старый матрос одиннадцатого года, Елисеев, сошелся с «Хаджи-Хаджи» вплотную, сам получил 39 пробоин и сбил у белых одно орудие. Комиссар, с железом в боку, не ушел с мостика. Капитана унесли умирающим.

С моря мы шли туманом, и только утром из него вышла теплая, веселая земля.

III

Эдгару По ворон явился в худшие часы его жизни. Черный ворон влетел в окно и, одинокий, сел на мраморном челе Афины-Паллады. Ворон — страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынный и судья.

Но с тех пор как высшая и лучшая жизнь ушла из траурного кабинета идей сперва на улицу, и дальше, за пределы города, — не слышно больше возвышенного и высокого клича. Осиротелый ворон распростер свои ночные крылья, украшенные оттенком седины, и между складок вечно трепещущих занавесей улетел и скрылся в утренних сумерках. На вспаханном поле, среди влажных комьев земли, над которыми уже прячут пепельные

нити ранней осени и дымится туман,— ворон совершил долгую прогулку, одинокую и молчаливую.

Важно переставляя свои сильные ноги, наклоня голову то направо, то налево, он шагает по пашне «походкой лордов» и не прикасается к низкой земной пище.

Иногда из его пурпурного горла вырывается хриплый возглас, от которого утренний ветер становится холоднее и которому не смеют отвечать невежественные сельские птицы. «Никогда,— восклицает ворон,— никогда!» Это крик монаха в черной рясе, который не верит великим переменам и освобождению пленника, одиночество которого он злорадно наблюдал в течение долгих ночей. И, взмахнув суровыми крыльями, с карканьем, похожим на захлебнувшийся смех и странное клопочущее воркованье, он улетает на юг.

Ворон достиг печального города, расположенного там, где голубая река впадает в мертвое море, безвыходно замкнутое сушею со всех сторон. Тепло и запах лета коснулись его утомленного тела, и, черный, он приблизился к зелено-желтой воде.

Здесь, в легком царстве приливов и отливов, рыбачьих сетей и тростника, господствуют чайки. Весь день с жалобным криком они рассекают молочный воздух крыльями, узкими и выгнутыми, похожими на новорожденный месяц. Их глаза блестят черным жемчугом в белых и розовых раковинах. Сухими кисточками пальцев они касаются воды и улетают, роняя вырвавшуюся рыбешку или разорванные четки брызг.

И черный король в изгнании, уголь среди летучих хлопьев снега, обрывок пиратского знамени, принесенный северным ветром, тяжело и нерешительно помахивая сизыми крыльями, ворон смешивается с беззаботной стаей птиц-буревестниц. Опускаясь к воде хищным движением, которым прежде он опускался на плечи могильного креста или перекладину эшафота, расправив острые когти, попиравшие в древности мудрейшие книги магов,— ворон бьет грудью зеркало вод, но, видя под собой подвижную, прозрачную, неуязвимо-живую влагу, спешит отпрянуть в смущении и злобе.

Чайки плачут и смеются, опьяненные своим неустанным полетом, как на воздушных качелях, с безумной скоростью падают и поднимаются их ангельские крылья. А он тяжело бьется среди них и налитыми очами ищет неба, высоты и дали.

— Никогда,— кричит ворон,— никогда,— и удаляется, отягченный, как совесть.

Там, где над горячими песками болезненно рдеет закат, где редкие ядовитые бабочки означают близость ночи, где на растрескавшихся берегах весь день в пыли и зное продолжалось сражение и лошади без седоков, разрывая удила, бросались вплавь к противоположному берегу,— там новая отчизна ворона. Его крылья благословляют низкий страх беглецов, бросивших оружие; и когда они, униженные и голодные, зажигают костры на болотистых островах и надеются на спасенье,— он, злорадный, кричит им с высоты: «Никогда!»

С мертвых полей к нему летят сытые стаи, почуявшие в голосе ворона самую смерть. Сотни, тысячи птиц скопляются в безобразное облако: они летят низко, отыскивая добычу, то вытягиваясь над кустарником в форме извивающегося червя, плотоядной гусеницы, растилаясь, как черная шаль, продетая сквозь кольцо, и в воздухе, насыщенном тлением, преследуя незримую тропинку пуль.

От берегов, где началось бегство, по течению плывут продырявленные челны, полные воды, через борт которых склонились головы убитых. Ночь поглощает их, вода слизывает текущую кровь, а река, добрый лодочник Вечности, переправляет их через черный Стикс и покидает на далеких отмелях.

И когда их утром находят, и слушают сердце, и подымают веки, — гневный ворон летит прочь и кричит в лицо солнцу: «Никогда!»

IV

— Я — жена Желиховского.

Какой-то кусок льда быстро-быстро тает и, наконец, приходят легкие, облегчающие слезы.

Жена. На ее лице, на красных, воспаленных веках, на волосах, сбившихся под белым платком, на всем ее существе еще теплится отпечаток и дыхание большого друга, которого не стало, который убит в бою. В ее расширенных глазах, впавших под широкий лоб, на неизъяснимо тонком хрусталике еще не изгладился его облик, когда он уходил рано утром, перед рассветом, полный

тоскливых предчувствий, почему-то оставив на столе нетронутым свой бедный матросский завтрак.

И даже голос, даже голос ее похож на резкий и прямой выговор, на высокий грудной тон, которому невольно училась подражать ее любовь.

Сейчас жена Желиховского — почти он сам; это его руки, из воды протянутые за помощью, это его глаза, ослепленные огнем, его голова, беспомощно охваченная руками, милая разбитая голова, готовая пойти ко дну.

Не говорить с ней, не трогать ее. Она жена героя, одного из лучших, погибавших за РСФСР. Ее великому горю нельзя помочь, она имеет мужество жить и не боится увидеть страшное его тело, медленно плывущее где-нибудь по течению, мимо самого колеса парохода.

Жена спокойна и знает: все-таки его вынесет к морю, которое он любил. Из тесной реки в бесконечность: это ее высокий бред.

И хочется просить взбалмошный, неумолимый случай: пошли тем, кто дороже всех, любимым, пошли им смерть гордую и чистую, спаси их от плена, от предательства, от тюрьмы. Пусть в открытом бою, среди своих, с оружием в руках. Дай умереть так, как умер Желиховский, как умирают сотни и тысячи за эту республику каждый день.

V

Накануне. Ночью штурм Царицына, а сейчас все еще живые, радостно возбужденные. Что будет завтра — неизвестно, но сегодня хорошо.

В тесном и чистом штабном дворике цветут олеандры, и весь белый старомодный дом, где живет Азин, против воли пропитался его неистовой радостью. Сердитая богатая вдова, улыбаясь, разносит чай в пузатых чашечках, от малейшего движения дрожат высокие горки золоченого стекла; изразцовые листы комнатных растений простодушно и торжественно зеленеют на фоне белоснежных широких печей.

Чистота, олеографии с пухлой четой Адама и Евы в раю, и занавески на окнах, и ситцевые пологи у постелей. И нужно же, чтобы под этой крышей, облитой с мирного неба серебряной осенней луной, собрались накануне штурма самые решительные головы: сморщенное,

как уже увядший воздушный шар, личико Миши Калинина, окруженное, как колючками, взъерошенными волосами. И помолодевшая голова Азина, на которой лежит невероятная тяжесть ответственности, и комфлот. Через час домик на лунном берегу, быстрые лошади азиатской тройки, дорога к реке и последние рукопожатия — все унесено временем. Долше всего звучит в памяти хрупкий голосок музыкального ящика, да, музыкального ящика старых годов, который целый час мешал заседанию из соседней, сердито запертой комнаты.

И сейчас, когда вокруг уже ночь и за кормой истребителя кипит пена, — он все еще стоит на столе в опустевшей столовой и, прерываясь, лепечет свои колокольчиковые музыкальные фразы. Валик заржавел, ключ потерян, а он поет и смеется, и под хрустальной крышкой, улыбаясь, таится целый мир устаревшей грации и жалобной любви.

Всю ночь на реке безумствует грозная музыка войны. Первый начинает «Маркс», мимо него в туман и темноту, как призраки, проходят корабли. Один, второй, и еще, вдоль противоположного берега, где уже падают снаряды. Лесной яр сперва тоже полон золотых вспышек. Со дна реки встают густые столбы всплесков. Моряки тревожно замечают восход звезды, огромной, ровной и белой, белой, похожей на фонарь. Она так велика и бестрепетна, что сначала кажется сигнальным огнем, и посылают особую шлюпку его потушить.

Впереди разрывы краснеют во мгле, кажется, что без конца открывается и захлопывается дверца раскаленной печи. Стрельба перешла уже в тот единодушный, опьяняющий гул, который означает начало штурма. Каждый корабль окутан пороховой завесой, движется и борется самостоятельно, один на один, с тем незримым противником, которого он нашел и вызвал в ночи.

За мыс выходит стайка истребителей, за ними черные тральщики, эти рыцари ночи и сумерек, идущие на свой пост со спущенным забралом — печальные ловцы мертвого груза.

К рассвету огонь стихает. Армии пора перейти в наступление, и катер, посланный за известиями, встречает на голой глиняной вершине первую нашу цепь, идущую к Царицыну.

Трудно об этом писать. Надо видеть эти черные фигуры, часто-часто перебирающие ногами, такие беско-

нечно слабые издали, идущие в первой, самой выдвинутой цепи, заранее обреченной, каким бы ни был исход наступления. Матросы с кораблей их тоже видят. Вдруг кто-нибудь вскрикивает — что? Ничего, задохнулся. И старшина кричит не своим голосом: «Не распускаться, сволочь!» А у самого губы прыгают: первая цепь, еще бы.

С рассветом начались налеты аэропланов. С шести утра до самой ночи непрерывное сбрасывание бомб, притом специально на реку. Обыкновенно эти налеты действуют удручающе. Но после бессонной ночи, после отчаянной борьбы, когда голова сладко и болезненно кружится и все друг другу говорят «ты», — нет! не страшно. Два гудка означают: «Вижу аэроплан неприятеля».

Один за другим корабли повторяют пронзительный свисток и снимаются с якоря. Начинается лотерея неудач.

На одно судно приходится в среднем 4 — 8 бомб. Видно, как они падают, сопровождаемые отвратительным визгом и глухими взрывами. То одна, то другая палуба покрывается осколками. «Бесстрашному» повредило нос, командир и еще трое ранены, команда спешит подвести пластырь под поврежденное место и отчаянно отбивается от бомбовоза, опять возобновившего нападение.

Один за другим — легкие катера, батареи, широко бедрые суда первого дивизиона исчезают в облаке пара и осколков — и счастливо из него vyplывают. Истребители — с сердитым фырканием моторов, в седых усах пены, батареи медленно и спокойно, сознавая невозможность укрыться, остальные — горячечно защищаясь и вышивая небо белыми клубами заградительного огня.

К вечеру на высоком берегу четко чернеет несколько одиноких фигур. Через час их уже сотня, и вся дорога покрыта беглецами. Наши отступают.

Но идут хорошо, с винтовками, за повод ведут усталых лошадей; верблюды, с обычной покорностью и грацией полных и немолодых женщин, влекут за собой орудия, повозки и людей. Штурм не удался.

На диване в канцелярии положили упавшую на берегу сестру милосердия — в трудные минуты из моря чужих людей всегда неожиданно и просто являются такие лица. При одном взгляде на них чувствуешь глу-

бокое успокоение, и память о них не гаснет, как бы коротка ни была встреча. Они и не исчезают, а просто отодвигаются жизнью.

У этой девушки до смешного тонкий голос, из-под одежды видны оборванные сапоги. Один глаз, щека и подбородок скрыты повязкой, кругловатый нос в веснушках и иссечен шрамами. Самое зрелое и печальное в ней — ее отрывистый, нехороший кашель.

Шла она в свой полк откуда-то из глухого угла Украины, едва оправившись от ран. Мучительный и долгий путь. Чистилище больших дорог, ад поездов и эта жгучая боязнь оторваться от своих навсегда, потерять имена и лица, с которыми ее связала революция.

На Волгу, где дымятся сейчас милые ей кубанские костры, довела непреклонная воля и простодушная, ситцевая чистота души, перед которой невольно расступилось грязное человеческое море. С удостоверением вместе лежат письма из роты, которые начинаются с бесчисленных поклонов и по лестнице беспомощных прыгающих букв взбираются на какую-то огромную высоту. Она смотрит на эти письма боком, одним своим глазом, серо-синим, с темными крапинками, какие осенью выступают на дрожащих листьях осины.

Такая она, навсегда обезображенная и милая.

Белогвардейские врачи, к которым она когда-то приползла после боя, не зная, кто они, отказались ее перевязать и в виде милости прогнали на улицу, под дождь, ночью. Тогда она сама, сидя на их крыльце, не в силах двинуться с места, сорвала со своего лица что-то холодное и мешавшее видеть — это была щека. К счастью, утром «лазарет» бежал, и скрюченное существо у двери подобрало свои.

У революции, лицо которой никто еще не удостоился видеть, должен быть этот же сквозисто-синий глаз, и, может быть, повязка, и на выпуклых деревенских губах (такие губы целуют просто и прохладно) — розовая пена.

Ночью кают-компанию убирают букетами из красной осенней рябины, стол залит светом, и собеседники, смыв с высоких сапог грязь окопов или масло машин, спокойно совещаются о завтрашнем дне.

Случай расположил их так: слева быстрые глаза, бас и жестокая воля Шорина. Рядом с ним его штаб-офицер, мягкий и подробный человек, никого не способ-

ный стеснить, как походная карта, старательно сложенная и повешенная через плечо.

Дальше профиль, неправильный и бледный, выгнутый, как сабля, с чуть косыми глазами и смутно улыбающимся ртом, словом, один из тех, которые могут позировать художнику для тонкого и выносливого бога мести в казачьей папахе. Бесшумная походка, легкий запах духов, которые он любит, как девушка, и на черной рубашке красный орден — это и есть Кажанов, ставший почти легендой начальник десантных отрядов Волжской флотилии.

Голландцы, достигшие совершенства в групповом портрете, любили изобразить в центре картины, среди всех этих господ в черном платье и крахмальных белых воротничках, одну сосредоточенную и тонкую физиономию какого-нибудь славного молодого врача, вооруженного скальпелем, скептика и атеиста, стоящего к зрителю вполоборота со своим высоким белым лбом и насмешливой улыбкой.

В кожаной куртке и с кончиком «Известий», торчащим из кармана, эта фигура в наше время называется — «член Реввоенсовета Михайлов».

Осколок разбитого чертом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате революции немного скучно желание обмануть себя и других — изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным человеческим пятном. Но бурный 19-й год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувства.

Дальше, — но как рассказать Азина? Во-первых, он дикий город Огрыз, почти отрезанный от Камы; он — часовые, притаившиеся вдоль полотна; он — душный, жаркий вагон третьего класса, залитый светом бальных свечей с высоты двух гудоновских канделябр, взятых в разоренной усадьбе; он — в непролазном дыму папирос, в тревожной бессоннице дивизионного штаба, где ко-

миссар какой-то отбившейся части, пришедшей для свя-зи за 25 верст через заставы белых,— теперь свалился и спит на полу обморочным, блаженным сном. Он — изорванные карты на липких, чаем и чернилами зали-тых столах. Он — черный шнур полевого телефона, ви-сящий на мокрых от росы ночных кустах, охраняемый одеревенелыми от холода, сна и боязни уснуть часо-выми.

Азинскими шпорами изрезаны клопინные бархаты ва-гонов; им собственноручно высечены пойманные дезер-тиры; им потерян и взят с бою город Сарапуль и деся-тки еще несуразных городов; им ведена безумная, в лоб, кавалерийская атака против Царицына; им изрублены десятки пленных офицеров и отпущены на волю или мо-билизированы тысячи белых солдат. Азин ездит верхом на горячих спесивых лошадях, не пьет ни капли, пока не кончено дело, страшно ругается со своими комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежовых держит свои невероятные, из ушкуйников и махновцев набранные части, дерется и никогда не бегаёт; плачет от злости, как женщина, если из-за раненой руки ему приходится лежать в са-мый разгар наступления.

Это Азин сам себе устраивает парадную встречу и, видя, что на берегу оркестр еще не готов, заворачивает с пароходом назад, чтобы через 10 минут, обливаясь по-том в своей великолепной бурке (это в июле-то месяце), все-таки принять почести, Интернационал и натянутые рапорты товарищей, успевших по поводу победы при-шить пуговицы к единственным штанам и побрить три недели немытые рожи. Так надо: без праздника, без му-зыки и встречи армия не почувствует роздыха, своих 24-часовых боевых именин, и на утро ее не сдвинешь с места на новые боевые недели.

Это Азин избивает нагайкой наглых своих и люби-мых денщиков за отобранного у крестьян поросенка — и Азин же гуляет, как зверь, целые ночи, ночи чернее сажи, с музыкой, с водкой и женщинами,— но не иначе, как поставив все заслоны и пикеты, послав разведку, убедившись, что город крепко взят, и заслонив его со всех сторон. Азин просто, едва ли не каждый день вво-дит в бой свои части, забывая, что он начдив и не име-ет права рисковать своей жизнью.

Но над картой Азин стынет, как вода в полынье, слышится, как мертвый, длинных шоринских юзолент,

вылезавших из аппарата с молоточной стукотней, с холодными и точными приказами, с отчетливо отпечатанным матом и той спокойной, превосходной грубостью, с которой старик Шорин умел говорить с теми, кого любил, кого гнал вперед или осаживал назад железной оперативной уздой.

Разве такого, как Азин, расскажешь? Любил, страстно любил свои части, любил и понимал всякого новобранца, извлеченного из-под родительских юбок,—юнца с оттопыренными ушами под непомерной фуражкой, в шинели до пят, и с одной мыслью: где бы бросить налитое тяжестью ружье? С такими умел воевать, с такими делал победы, голодал, валялся в тифу и всю Россию прошел из конца в конец, чтобы после Камы и Волги, после Царицына и Саратова нелепо погибнуть под Перекопом чуть ли не накануне его взятия, бесславно погибнуть в плену, да еще оклеветанным белыми, распутившими слух о его измене Красной Армии.

Это Азин — герой, солдат, пистолет, так воевал, так голыми руками в подкову согнул свою дивизию, таких чудес наделал и солдат и комиссаров себе воспитал, что и после его смерти 28-я дивизия оставалась Азинской, и на пыльные площади Баку, и к грузинской, и к персидской границе подошла своим старым походным шагом, пыльная, пестрая, оборванная, в лохмотьях и генеральских лампасах, боком, просто и железно сидя на своих низкорослых неизменных лошаденках, набранных от Перми и до Астрахани.

В этот вечер за чаем собеседники начали спор о героизме. Тема странная среди людей, давно привыкших к войне и в большинстве награжденных всеми возможными знаками отличия.

Скептик в кожаной куртке, помешивая ложечкой в своем стакане, спокойно отрицал все признаки романтики в деле революции, ставшей для него ремеслом. Отличительная черта интеллигента: излечившись на фронте от фразеологии, он понемногу выздоравливает и мужает, счастливый, что может, наконец, без оглядки и сомнения подчиниться могучим и простым двигателям жизни. Чувство долга, братской солидарности, повиновения и жертвы становятся здоровой привычкой. И, боясь потерять это еще хрупкое внутреннее равновесие, интеллигент, ставший солдатом революции, крепко цеп-

ляется ногами за землю и без конца повторяет себе успокоительное «дважды два — четыре».

Слушая умного комиссара, солдат в генеральских эполетах потупил лукавые глаза и положил себе в стакан лишний кусок сахара. За последнее время вокруг его размеченных карт и твердых приказов все чаще жужжали вот такие же теоретические долгие беседы за полночь, суть которых он плохо понимал, но с бессознательной мудростью старого военного человека ежедневно опровергал всей своей работой.

Красным орденом на груди гордился и, читая сводки с фронта, между строк угадывал такую же, как у себя, ревнивую тоску о победе. Ни с какой стороны ко всему этому нельзя было применить того идейного середнячества, уравнивания в сером цвете и торжества будней, которое сейчас, сидя пред Шориным, ровным голосом разрушало какой-то белый, высокий и праздничный строй его мысли. Азин, у которого на лице еще не потух гордый румянец стыда за какое-то незначительное поражение на фронте, рассказанное при стольких чужих людях; Калинин, слишком утомленный своей действительно бесплодной храбростью, которую он считал обязанностью коммуниста и комиссара, — оба они не решались говорить, наслаждаясь папиросой и тем, что кто-то спорит и можно молчать.

Но царапающая речь все больше и больше разрушала атмосферу тыла, света и покоя, вообще редких в этих местах.

Казалось странным, что милая жизнь, каждый раз после опасности еще более любимая и желанная, кажется такой голой и серой этому спорщику, готовому свои собственные мозги распластать и облить кислотой в припадке холодного любопытства.

Особенно Азин: ноги у него еще болят от седла, во всем теле разлилась сладкая усталость от осени, от красных и золотых деревьев, от зелени лугов, цветущих последней яркостью, от добрых глаз и плавной походки верблюдов, влекущих через степь тростниковые повозки. Утром его чуть не убили в разведке, а вечером столько невозмутимой земли, воздуха, горьких, возбуждающих запахов осени.

И еще такая нежность, — он не мог вспомнить, к кому она относилась: к матросам ли, встреченным на берегу, пришедшим из царицынского плена с шрамами на

горле, или к письму, полученному так поздно и издалека. И вдруг кто-то тут сидит, отрицает сущность жизни, ее чудеса и дивный произвол. Отрицает героизм.

«Ах ты...» Азин заметил чьи-то предупреждающие глаза — и из-за них не выругался. Хотелось взять карту, найти на ней красный венок республики, в течение двух лет одиноко цветущий среди всего мира и героически обороняемый истощенным народом. Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать?

АСТРАХАНЬ—БАКУ

I

Дни шагают нестерпимо быстро, жизнь превращается в мелькающий сон, в котором смешались лица, города, новые земли.

Вот оно, наше близкое вчера: Астрахань, едва согретая ранней весной, с мягкой пепельной пылью, с нежнейшими бледными травами на бесплодных полях, с покинутыми старыми монастырями, вокруг которых блаженно цветут яблони и персики, белые и святые под небом, которое к ним нисходит для любви. Невозможно представить себе более торопливого, напряженного, молчаливо-светящегося цветения, целого бело-розового пожара среди совершенно голых и неподвижных холмов Каспийского побережья.

Вот самый город — полуразрушенный и сожженный, голодный и оборванный, как бывают голы только нищие Востока; город, лишенный света и тепла, боязливо отогревающий под солнцем апреля свои отмороженные крыши, стены, насквозь пропитанные стужей и сыростью, свои давно потухшие, незрячие окна и трубы без дыхания. Но как дорог революции каждый камень астраханской мостовой, каждый поворот ее улиц, неровных и искривленных, как отмороженные пальцы. Каких неимоверных трудов, каких жертв стоила Советской России Астрахань, эта ржавая и обезображенная дверь Востока.

Если защищался Петербург, защищался пламенно и единодушно,— то он этого стоил, со своими площадями, освященными революцией, со своей надменной красотой великодержавной столицы.

Красный Кронштадт и петровское адмиралтейство, Зимний дворец, в котором живут только картины и статуи, унылые заводы, в холоде и голоде продолжающие ковать оружие для Красной Армии,— они могут вдохновить на сопротивление. Каждый шаг пролетарских войск, идущих умирать за Петербург, будит металлический отклик по всей России, он не забываем, не преходящ. Но сколько нужно мужества, чтобы защищать Астрахань. Ни любовь к этому городу, ни революционная традиция,— ничто, кроме чувства долга, не поддерживало ее бойцов. А много ли найдется людей, способных во имя голого отвлеченного долга нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах.

И даже не долг, даже не долг спас Астрахань, а общее и бессознательное понимание того, что уйти нельзя, что нельзя пустить англичан на Волгу и потерять последний выход к морю.

Вся Астрахань с ее голодом и героизмом запечатлелась в одной прощальной картине: ночью на заводе Нобеля рабочие, прожившие всю зиму без хлеба, без тепла и одежды, оканчивали при ослепительном электрическом свете спешный ремонт. В док подняли целого гиганта: железную баржу-батарею, поврежденную английской миной. На реке холодно и темно, но далеко сияет электрический маяк кузнецов, и среди бесчисленных подпорок на развороченное, пробитое тело корабля с лязгом и грохотом падают целительные удары молота. И так всю ночь. Железо размягчается и припадает к железу: бешеные швы пересекают пробоины, и молодая сталь покрывает их несокрушимой гладью.

Это Астрахань и ее оборона.

Вот, наконец, и рейд, бледный, бурный, и остров кораблей, стоящих на якоре в открытом море. Ночью вдали является зарево—на скудных астраханских берегах горит камыш. На палубе судов отдыхают перелетные птицы, скрипят якорные канаты, и мачты, равномерно покачиваясь, описывают в воздухе ровные дуги.

II

От Астрахани до Петровска морем. Суда в кильватер проходят минные поля, минуют брандвахты и, наконец, играя, идут совершенно свободными, бесконечными, навсегда открытыми глубинами. После трех лет речной войны море бросается в голову, как вино.

Матросы часами не уходят с палубы, дышат, смотрят и, сами похожие на перелетных птиц, вспоминают пути далеких странствий, написанные на водах белыми лентами пены. Как чудо, выходят из воды горы. Как чудо, проходит мимо первая баржа, с мазутом для Астрахани, а корабли все еще наслаждаются: то ускоряют, то останавливают свой согласованный ход, и мачты пляшут, как пьяные, и люди не могут ни есть, ни спать.

III

От Петровска до Баку железная дорога лежит у подножья гор. И вдоль этих гор, вдоль дороги — непрерывный живой поток. В облаке легкой пыли идут люди, кони, повозки, артиллерия. И как ни величавы предгорья Кавказа, их фиолетовая тень меркнет в этом неустанном, жадном, быстром беге наступающих войск.

Дымясь, точно струя кипятку, двигается конница. Удивительная посадка, удивительный шаг у этих всадников и людей, прошедших Россию от Архангельска до Астрахани, от Урала до Каспия.

В Баку перед тысячами и десятками тысяч зрителей, затопивших собой тротуары, плоские крыши, балконы и фонарные столбы, 1 Мая был дан торжественный парад.

Сперва продефилировали местные полки, добровольно перешедшие на нашу сторону, — великолепно одетые англичанами, ими же обутые, накормленные и вооруженные. Всё в облике этих национальных гвардейцев европейское. Идут очень в ногу, держатся прямо, ряды выведены, как по линейке. И даже лошади не по-нашему круглы, сыты и крупны — не чета нашим горбоносым, маленьким, лохматым конькам, прошедшим тысячи верст своей легонькой бережливой рысцой. Нет, тут что ни всадник, то монумент от Николаевского вокзала. Пыль, грохот, музыка — и промчались, как дым. Бала-

ханка блестит голубыми глазами и смеется: «Платком махнуть, и вся их войска разбежится. Одна прыть и видимость. Где же это наши?» И наши действительно идут. Запыленные, оборванные, почерневшие от солнца и усталости, но идут ровно и просто, без особенной муштры, настоящим походным шагом, которым прошли всю республику и предгорья Кавказа. Не торопятся, ни перед кем особенно не тянутся, никого не хотят удивить,— а земля гулом отвечает этому вольному и железному течению полков. Откуда он у них, этот классический шаг, любимый Цезарем и тщетно искомый в тюремных казармах Европы? Каждый буржуа Баку и каждый рабочий из Балахан чувствует, поддаваясь неотразимому ритму упругих, вольно текущих масс, что их путь здесь, в Азербайджане, не остановится, что людская волна, в пыли и пене докатившаяся до Баку, не спадет, но пройдет дальше, далеко за его пределы.

Со своим вином, блеском и богатством Баку не проглотило ни армии, ни ее духа. Солдаты и матросы гуляли по нарядным улицам с независимым видом, и их спокойное любопытство пугало буржуазию больше, чем пугали бы большевистские грабежи и насилия. Армия прошла дальше, на ближайший меньшевистский фронт. Ни разложения, ни распушенности. Богатый город, ожидавший победителя с психологией продажной женщины, остался как-то в стороне. Его не тронули, почти не заметили.

Зато Черный Город и Балаханы ожили. На чистеньких улицах Баку все чаще видно выходцев из нефтяного квартала. Их бледные лица и промасленные лохмотья странно отражаются в нарядных витринах, за которыми навалены горы иностранных товаров. Правда, настоящей революции еще не было. Разница между нищетой и богатством, от которой мы успели за 3 года отвыкнуть, здесь выступает на каждом шагу. Нищета по-прежнему сочится из всех скважин, течет, как нефть, по всем сточным трубам, ею насквозь пропитаны улицы. Но Октябрь уже вошел в город, потерялся в темных закоулках предместий, и муссаватисты со злобой ждут близкой социальной бури.

Уже три ночи город не спит. Возможно восстание, резня, попытка буржуазного переворота. Три дня прожектор с моря обливает ближайшие горы безжалостно-белым светом, ползает по трещинам и скатам, озаряет

целые селения без жизни и движения — память последней армянской или турецкой резни. О, пусть бы началась, пусть бы скорее началась славная наша игра. В тишине бескровной, как бы февральской революции, так душно дышать рабочим кварталам. Они не находят покоя, им снятся тревожные сны.

Только земля не знает тревоги. Ей стало легко — и блаженно спокойно. От закрытых нефтяных источников отвалили, наконец, камни, и из черных недр хлынули набухшие потоки. Как мать с переполненной грудью, ждала она Россию, и теперь, когда к ее черным сосцам припали тысячи жадных губ, она дает бесконечно много, счастливая, раскрепощенная, вечно молодая земля. По толстым жилам-нефтепроводам живая влага хлещет в резервуары, — и корабли не успевают вывезти миллионы и миллионы пудов.

БАКУ—ЭНЗЕЛИ

I

В Баку флот чинился и пил нефть, пополняя свои скудные запасы, вообще нежился в роскошных верфях и обширных мастерских, как раненый, наконец попавший в богатый тыловой госпиталь.

У кораблей заныли все старые, едва залеченные пробоины, залепленные бедными временными заплатами; их содрали и отремонтировали, наконец, по-настоящему, не считая каждой гайки и проволоочки, не дрожа над каждой лишней каплей нефти.

Привыкший работать в скудных условиях Астрахани, флот за две недели бакинского отдыха совершенно приготовился к походу на Энзели.

И утром 17-го мая любопытная толпа не нашла в заливе узких, неторопливых стрел-миноносцев, еще накануне так беспечно и царственно резавших стеклянное море.

Они ушли ночью, один за другим, с потушенными огнями, чтобы, встретившись за голым островом Наргин, выстроиться и призрачной вереницей уйти на юг.

Через два дня стало известно о пленении всего белого флота, интернированного в персидской гавани Энзели, о капитуляции английских войск, занимавших этот порт, одним словом, об окончательном освобождении Каспийского моря,— отныне вольного советского озера, огражденного кольцом дружественных республик.

Так окончился трехлетний поход, начатый под Казанью и Свияжском, растянувшийся на тысячу верст — от обрывов и хмурых елей Камы до знойных прикаспийских солончаков, от глубоких волжских плесов — до мелкого, беспокойного, изменчивого Астраханского рейда, где корабли среди бесконечной морской шири выбивались к настоящей воде по мелям и минным полям, искусственным морским каналом.

Год тому назад волжско-камская флотилия стала сильным каспийским флотом и теперь, взяв Энзели, закончив свою последнюю военную задачу, демобилизовала свои старые боевые корабли. Пушки стали исчезать с палуб, обшитых железом; трюмы, хранившие снаряды и оружие, открыли свои недра для нефти и риса. Один за другим старые бойцы сбросили тяжелый панцирь и ушли обратно в Астрахань уже не грозными «дредноутами», а сильными рабочими судами, могучими буксирами, жожаками ленивых, до горла нагруженных барж, медленными караванами ползущих против течения к изжаждавшемуся фабричному сердцу России. Но прежде чем старые морские тяжеловозы, столько лет таскавшие пушки на своих мирных палубах, нажившие порок сердца благодаря артиллерийскому огню, потрясавшему их крепкие машины, покинули Бакинский рейд, так странно выделяясь своей темно-стальной окраской среди жаркой суеты залива, — они сделали еще одно, большое и важное дело: кулаком, зашитым в броню, ударили по глухозапертой двери Востока.

В Энзели английская колониальная политика столкнулась с реальными силами рабочего государства и потерпела поражение. 18-го мая 20-го года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были побиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись из позорного плена. Не где-нибудь, а в Персии, скрученной всякими вымогательскими договорами, разоренной и ослабленной вынужденным союзом с Англией. И, покидая берега Каспийского моря, англичане не смогли скрыть от злорадных глаз населения смешные и жалкие стороны своего скандального поражения. Уходя, они в хвосте обоза вытаскивали какие-то ванны (частное имущество майора), рояли и вообще культурные принадлежности. Весь город, бросив свои обычные дела, сидел на пристани, бросал в воду апельсиновые корки и наблюдал, как вчерашние высокомерные гос-

пода сегодня, по первому требованию русского командования, смиренно грузились на катер и ехали на борт «Карла Либкнехта», чтобы как-нибудь выклянчить почетную капитуляцию.

Всем известно на веселом солнечном базаре, как сильно укачало англичан на русском миноносце, как они во время переговоров перегибались за борт и на вопрос, «как могут страдать морской болезнью офицеры сильнейшей в мире морской державы» — принуждены были отвечать невнятными и неблагопристойными звуками и телодвижениями.

Ах, восточные люди наблюдательны, и раз заметив черты страха и слабости в своем вчерашнем владыке, — никогда их не забудут.

В дыму душистых папирос уже текут нескончаемые насмешки и пересуды. Еще вчера согнутые в бараний рог — персы сегодня смотрят прямо в лицо иностранцам и не уступают им дороги.

И еще одно обстоятельство озадачило, а затем крепко привязало к Советской России персидских бедняков: русские, занявшие Энзели, пощадили индусов и тюркочов, людей «низшей расы», сражавшихся в рядах британского оккупационного отряда. Ни один европейский парламент, ни одно министерство иностранных дел не осквернили бы себя нотой по поводу исчезновения с лица земли нескольких сот «цветных». Надо было видеть ужас этих солдат, когда они оказались во власти страшных большевиков. Рослые, стройные, с бронзовым профилем богов — и с бедной, запуганной лесной душой — они плакали, как дети, не надеясь на пощаду. И вдруг не только освобождение и жизнь, но такое спокойное-братское отношение, какого никогда не знала презренная англичанами Индия.

Многие из этих людей, участвовавших в штыковой атаке против десанта матросов, ушли нашими друзьями и до своей рубиновой родины донесут отклик новой, преобразующей мир, братской солидарности.

Лукавый и тучный губернатор Энзели, вежливый до приторности и осторожный, как грех, очень быстро и правильно оценил создавшееся положение: нанес официальный визит the bolsheviks, честно отдал дань морской качке и при помощи юркого переводчика попытался: скоро ли дорогие гости покинут персидские воды,

или они думают осчастливить страну более длительным пребыванием...

Переводчик кланяется, губернатор облизывает лимон и, удерживая приступ слабости, тоже кланяется засахаренной улыбкой, кланяется блестящий командир флагманского миноносца Синицын, три года безукоризненно водивший свои миноносцы, кланяется Чириков в своем промасленном кителе, со своей спокойной физиономией старого морского волка, никогда и ничему не удивляющегося, кланяются дула орудий на палубе и насмешливые кончики мачт.

— Нет,— отвечает командующий,— нет, не беспокойтесь, господин губернатор. Восторженная встреча, оказанная морякам персидским народом, не позволяет мне думать о скором уходе. Мы не хотим вас обидеть— и остаемся.

Опять поклоны, ласковый губернатор, зеленея от качки и прилива гостеприимных чувств, исчезает за бортом.

— И кроме того,— раздается ему вслед с высокого серого борта,— я ожидаю к себе на корабль вашего национального героя — Кучек-хана.

На берегу уже слушают первого оратора-перса. Внимание отливает толпу, как из бронзы. В живых и непринужденных позах первые ряды ложатся прямо на мягкую пыль у ног говорящего. Бронзовые, тонкие, исхудалые руки, сухие плечи, проступающие из лохмотьев, пыльные волосы нищих, повязанные старинной бисерной повязкой, даже великолепные бороды, окрашенные хной в огненный цвет (как у давно умерших царей),— все это в каменной неподвижности, в ненарушимом напряжении. Они не проронят ни слова, ни слова не забудут и с ясной простотой своего полудетского языка передадут их от соседа к соседу, от одного низкорослого кудрявого сада в другой, от водопоя к водопою, через пустынные нагорья и сыпучие пески до границ Индии и Месопотамии. Без радио и телеграфа здесь знают уже о таинственных и многолюдных сборищах на границах Афганистана, которым не могла помешать вся власть колониальной Англии; о бесплодной кровопролитной войне, которую приходится вести Великобритании в Египте,— и под тесной рабской одеждой Иран начинает понемногу оживать: дышит и думает.

Самое трудное сделано: распалась великая вера

Востока в непобедимость Англии, потеряно навсегда очарование ее золота, оружия и неслыханного высокомерия.

Революция на Востоке приходит, как женщина — с открытым лицом и вся, с головы до ног, завернутая пестрой тканью предрассудков и стеснительных узаконений. Восточный город долго и бесшумно тлеет, его гнев выстаивается, как вино, и, как вино, крепнет и хмелеет в тишине и прохладе.

Бедняк Персии лениво и насмешливо наблюдает пестрый поток жизни. Нужно совершиться чему-нибудь особенному, чтобы вывести его из мертвящей, томительной апатии. Первым из чудес, разбудившим северный Иран, было поражение англичан, вторым — появление в Энзели Кучек-хана и посещение им русского корабля. Еще задолго до его прибытия весь город был полон этим именем. И когда все и вся вдруг сорвались с мест: торговцы бросили лавки; фанатики — свои молитвенные коврики; когда толпа бедняков облепила кого-то высокого, далеко видного над тысячью голов; когда сам чистильщик сапог босыми смуглыми ногами влез на свой красный ящик, чтобы лучше видеть; когда из всех щелей и углов хлынула темная и жалкая нищета, — пришел Кучек-хан. Старики падали в пыль, чтобы поцеловать его неподкупные, справедливые руки.

Последние три года Кучек прятался со своими верными в горах, и англичане напрасно сулили мешок золота за его голову. Вот она, эта оцененная голова.

На фоне ослепительного неба она кажется очень темной. Волосы, окружающие ее черным ореолом, сами собой ложатся отдельными, круто завитыми прядями, как на старинных персидских монетах. Глаза серьезные и простые — со всеми живыми оттенками металла и воды. Движения медленны и торжественны: Кучек три часа молился и спрашивал своего бога, прежде чем явиться в Энзели и навсегда связать свое имя с национальной революцией Персии. Но голос у этого лесовика, окруженного верными курдами в волчьих шапках, неожиданно тихий, мягкий и гибкий. Когда, выслушав переводчика, он наклоняет над европейским столом свое бронзовое чело, чуть улыбаясь некоторой условной торжественности этой встречи, по звуку его женственного голоса никак нельзя догадаться, что речь идет о передаче оружия, о славе Персии и ее возрождении.

Так близко от нас эта чудная страна, этот необычайный родственный народ.

Стоит отвернуться от моря, оставить слева его совершенно эмалевый проблеск, лежащий голубым челом между двух песчаных холмов на ковре из пены, стоит оставить за собой бухту Энзели с ее японскими крытыми лодочками и ядовитой водой,— и в полях, полных сырости и роскоши, уже дышит, уже открывается Персия. Какие тайные и глубокие ароматы от первых же зарослей граната, от первых акаций, обрамляющих пастбища. Автомобиль отгоняет от дороги стадо чудесных черных волов, горбатых, блестящих, с коричневой меткой между небольших и, как брови, разогнутых рогов.

Мутный источник, как бы из жидкой глины, то подходит к самому шоссе, то отклоняется, чтобы омыть сухие и жадные корни плодового дерева, изгородь из тростника и, наконец, дать пищу рисовым полям.

Изумрудными шахматами лежат в низинах эти поля. Вечером они кажутся чем-то опасным. В стоячих болотцах гаснет жгучая тропическая заря, и согнутые вдвое, вросшие в липкую грязь фигуры женщин, работающих по колено в топи, выступают уродливые, как тени неизвестной звериной породы. Днем другое.

Вода почти спадает, и из нее, как сквозь стекло, выступают зеленые иглы риса. Так беспомощны худые ножки персидских девочек, осторожно переступающих от стебля к стеблю, не смеющих поднять от болота своих отуманенных глаз и запачканных рук. А солнце печет ровно, легко, как бы с улыбкой; величавые вершины едва шелестят, пьют и вдыхают благоухания, и к ним примешивается едва заметная, отливающая холодом, дрожь маярии.

На поворотах дороги первые персидские постройки; глиняные с высочайшей тростниковой крышей, на воздушных подпорках.

Идя гуськом по краю дороги, возвращаются крестьяне. На гибких перекладах несут вязанки сена, на плечах глиняные продолговатые кувшины, весла, сети и влажные паруса. Лица, как из золота, с темными глазами, вдоль которых свешиваются ровно подстриженные надо лбом и на висках, одинаково спадающие до плеч, темные волосы. Чуждый язык, смуглая кожа, не по-на-

шему легкая, босая поступь, но лица знакомые. Не переставая идти, цветковые, бесплотно сухие, золотистые головки долго оборачиваются вслед автомобилю. Это крестьяне, они похожи на свой любимый рис: стройны от вечного труда, бедности и зноя, гибки, как бронзовые стебли, и ничем не напоминают жирный, белый и черный тип лавочника-перса, в полдень дремлющего на своих товарах в тени полосатого навеса.

Еще верблюды, целый их караван, с маленькой головой, увешанной от подбородка цветными кистями, с длиннейшими голыми шеями и козовыми седлами. Мулы, едва-едва переступающие крепкими, как железные стаканчики, копытцами под тяжестью симметричных тюков. Розовые сады, рисовые болота, розовый ветер, таможня и, наконец, Решт.

III

В окно протянуты ветви платана. Слышен крик птиц, пестрый и яркий, каким он никогда не бывает у нас на севере. Тысячи роз от солнца дымятся и горят сладким, душистым огнем. Дом бывшего губернатора в них утопает. Окна, открытые на север, вдыхают утреннюю тень.

Несколько ковров по стенам, письменный стол, пол из лакированного светлого дерева, — вот кабинет наместника Решта, покойный, просторный. За столом сидит Кучек-хан. Сегодня он с нами прощается и, обернувшись лицом к свету, даже не старается скрыть своих необычайных глаз, как обыкновенно делает, следуя инстинктивной осторожности восточного князя.

Утро сильное, свежее, несмотря на зной, хранящее в своем влажном венке росу и аромат, — и Кучек спокоен и силен, как близящийся полдень. На нем скромная коричневая одежда, на рукавах и воротнике белое полотно, от которого еще темнее прекрасная голова. Как он сегодня печален, как его жаль почему-то, этого единственного революционера Персии, обреченного погибнуть в борьбе с англичанами или продажными ханами, на оружие которых он временно опирается.

Переводчик передает последние приветствия, и вдруг среди трагических масок, обращенных друг к другу на фоне кровавого ковра, — совсем детское, смешное и са-

модовольное: над городом поднялась старая приятельница каспийского флота—надутая, любопытная и зоркая «воздушная колбаса». Сколько раз ее пузатое тело бабочки с ошипанными крыльями поднималось над берегами Волги, над Царицыном и Астраханью, высматривало и предупреждало, направляя огонь судов. Матросы к колбасе привыкли: под ней не страшно, она все видит.

И вот милый урод поднялся в эмалевом небе Персии и со своей высоты озирает тропические заросли, изумрудные поля и дороги белее молока. Базар в панике: бегут мальчишки и муллы; верблюды, покинутые своими жожаками, испуганной толпой загромаждают мост. Колбаса производит ошеломляющее впечатление: весь авторитет революции, держась за землю тонким стальным шнуром, ходит под облаками, важно покачивается на ветру, занимает собой все небо — и кажется мне, веселая ее рожа показывает язык милым союзникам.

Кучек счастлив. Из окна ему виден и взбудораженный базар, где среди чалм и волчьих шапок развеваются матросские ленточки, и небо с белым аэро посредине.

На Востоке самая сильная вера — это вера в машину, в техническое превосходство Запада,— ею англичане сотни лет душили свои колонии. И вот, наконец, техника в руках персидского революционера и обращена против англичан, постыдно бежавших от Каспийского побережья.

Дребезжит телефон. В 15 верстах от Решта завязалась перестрелка. Кучек прощается. За ним уходят его сподвижники: маленький, толстенький и умный командарм, самый левый и самый смелый человек в лагере, и комиссар финансов — в очках, с винтовкой за плечами, озабоченный жалованием для войск и гомомом нищих, провожающих Кучека прожорливой толпой.

Через полчаса машина летит обратно в Энзели — навсегда исчез тихий твердо-кованный голос Кучека, его лицо древнеперсидского героя. Когда мы встретимся опять и где?

У шлагбаума последний матрос-доброволец, загорелый, полуголый, в своем просторном синем воротнике, кричит нам вслед веселое, дерзкое, неотразимое:

— Даешь Тавриз!

На полпути два всадника проносятся навстречу: индусы, бежавшие к нам от англичан. Бесконечно обрадованные лица и сияющее, как их зубы в улыбке, привет-

стве — «За Советский власть», — и мимо на бешеных лошадях.

На самом толстом буке, там, где дорога от болот поворачивает к рощам и холмам, обмакнув кисть в ведерко с клеем, какой-то человек, весь в поту, сдвинув шапку на затылок, мажет кору столетнего гиганта, — и первый советский плакат разворачивает свое красное полотнище в тропической чаще.

Тишина, густой душистый воздух, стрекотание насекомых, безлюдная дорога, по которой лениво ползут сытые волы и верблюды, — и на стволе старейшины лесов этот огненный знак мировой революции.

ПЕТЕРБУРГ

Вернуться в Петербург после трех лет революционной войны почти страшно: что с ним случилось, с этим городом революции и единственной в России духовной культуры?

На военные окраины республики доходили печальные слухи: холод, голод, Питер вымер, Питер обнищал, это мертвый город, оживающий только для отпора белым, ползушим к нему то от форта Красная Горка, то от Нарвы и Ревеля, то со стороны Польши. И что же? Он не только не умер, Петербург, но к строгости своих проспектов, к роскоши соразмерных пространств, охваченных гранитом, зеленью садов и поясами каналов, прибавил еще спартанскую скромность, пустынную, простоту,—тысячи неуловимых примет, свидетельствующих об отдыхе и перерождении города.

Отдыхают камни мостовой, опущенные робкою зеленью, освобожденные от гнета снующих толп, отдыхают когда-то смрадные кварталы, забывшие теперь о копоти и чаде, о гнусном запахе прелых торцов и облаках душной автомобильной гари.

Сады, не стесненные людьми, безумно и счастливо зарастают, глохнут, роскошно и праздно наверстывая свои бывшие искаленные весны. Синее Невы. Острова превратились в зеленый рай, где вместе отдыхают деревья, травы, старинные, наконец растворенные решетки оград, и тысячи больных детей, и тысячи измученных илотов труда.

Что же это в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий русский Брюгге, город XVIII века, очаровательный и бездыханный? Неужели смерть? Нет.

Есть последняя слабость, есть головокружительное изнеможение выздоравливающего, есть молчаливый отдых огромной гранитной сцены, с которой только что, рушась и громяхая, ушла целая эпоха, и куда еще робко и неуверенно вступает новая мировая сила.

Тишина Петербурга — это тишина больничной палаты в первые теплые дни, тишина Марсового поля после тяжелых боев, вместе с трудной победой узнавшего безмолвие братских могил.

Петербург не мертвый — в нем сохранилось то невыразимое, то лучшее, верно и крепко хранящее от гибели некоторые гениальные человеческие порывы, некоторые эпохи и памятники.

Последний красноармеец, дерущийся на одном из наших десяти фронтов, отлично это понимает: вот почему всякая попытка взять Петербург так невыносимо, так дико-больно сказывалась там, где-то на берегах Каспийского моря, в малярийных болотах и мертвых, золотых песках Астрахани. Вот почему за Петербург молились, молились в пустоту, в отчаяние, в лицо смерти, как за самое дорогое и единственное.

Перерезанная по суставам Волга, парализованная Сибирь, охваченная гангренозным огнем Украина, отпадавшая от России гнилыми кусками, никогда не вызывали такого гнева и бешеного энтузиазма, как угрожаемый Петербург, — да, этот безлюдный и дичающий, но осененный знаком вечности пролетарский Петербург.

1918—1921

Арганистан





Глава первая
**НАША АЗИЯ И АЗИЯ
ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ**

I. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

На протяжении нескольких сот верст одно и то же: мир. Бледный дол едва отогревается, и от поля к полю, справа и слева до края неба ходят медленные пахари.

За их плугом дымится легкое облако теплой земляной пыли. Вернувшийся домой кавалерист сидит на худой крестьянской лошади, и за ним, подпрыгивая, ползет борона, касаясь земли своей жесткой лаской. Как безумно далеко ушла война! Весенние реки заливают старые окопы,—невозможно себе представить падение снаряда среди робкой зелени озимей, на опушках болотистых рощ.

Бесконечный покой.

II. СТАНЦИЯ

Все торгуют: азиаты, и крестьяне, и проезжающие красноармейцы. Ничто не сравнится с лицами, составляющими «толчок». Это не люди, а лес. Около крестьянки, предлагающей полотенце, столпились рыжие дубы,

несколько пней, сожженных грозой, ветки без листьев, покрытые отсырелой корой, гиблые, изогнутые ивы. И там, где кора лесных лиц нежна и красновата, живет их голос, и этот голос шелестит, поскрипывает или рочет.

— Сколько? Десять? Даю пять косых.

И, смеясь, как у себя в чаще, великаны качают мохнатыми шапками. В пальцах, разгибающихся, как прутья, приготовленные для плетения корзин, у них зажаты бумажные деньги. Белки глаз из снега, не успевшего растаять на колючих хребтах этой страны. Зрачок — таинственно текущие внешние воды, невидимые, пока молодая луна в них не бросит кусок серебра.

Чистильщик сапог, азиат, сидит на голой коричневой земле и сжимает между колен свою подставку, точно ящик с драгоценностями. Это пушкинский Черномор: это — его огненные глаза и мшистая волна волос на бороде. Равнодушный к судьбе волшебник сидит со своими глянцевыми ваксами и красной бархатной тряпочкой, вырванной из плаща Людмилы, и бесстрастно наблюдает босые ноги прохожих, до колена выпачканные в грязи. Его лицо темно, а ремесло эфемерно.

III. ТУРКЕСТАН

Между совершенно плоским небом и плоской землей — дым, уходящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы нетающего снега и замурованная тишина на протяжении сотен верст. Дороги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей; пустыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.

Читать невозможно; жгучие слезы Гейне всасываются черной рыхлой землей. Даже дебелая пышность Елизаветы Петровны, ленивые и грязные анекдоты ее царствования, даже холод Бестужева, мужицкая широта Разумовского, даже шуваловские кружева и ломоносовские оды блекнут в этой степи, где камни из лунного света и облака, окаменевшие в пустоте.

Здесь не может быть истории, этого искусства мертвых. Все относительно на куске земли, где песок смешан с солью и солнечным светом.

IV. ПОЛУСТАНОК

Киргизка, поставив под овцу неопрятный глиняный сосуд, лениво выпрастывает ее продолговатые сосцы. Возле матери шелковистый ягненок на больших и слабых ногах. Его мордочка, которой он тыкается в подол дикарки и в пустое вымя матери, имеет чистый античный рисунок, — тот беспомощный и порочный профиль, который так любил ампир. Пахнет азиатским жильем, горькими травами и мехом. В степи нежнейший звон ветра в сухих прошлогодних травах. Поют песчаные холмы, где согретые солнцем пески пересыпаются, как жемчуг, восходят волной, падают в мгновенные долины и опять ссыпаются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой музыкой.

Воздух полон степных жаворонков. Тысячи влюбленных крылий трепещут в синем и золотом и с легким стоном тают в ослепительном блеске неба, и небо ими полно, как ангелами.

Холмы золотого песку, с которого верблюды неторопливо снимают зеленоватый пушок.

Долины, точно янтарные чаши, поставленные рядом, полные запаха трав и, как пену, источающие червонный свет. Холм у холма — это сот возле сота: они медленно наполняются огненным медом дня.

V. ПРОШЛОЕ

...Как далеко мы уже уехали. Не на сотни и тысячи верст, а на много сот лет, на целую вечность в прошлое. Здесь ведь скалы, пески и ущелья — как вчерашний, едва истекший день — помнят Тамерлана; и скрип его диких повозок, иноходь его конницы еще живет там, где теперь лежит железная дорога.

Сколько солнца, меда и целебных запахов источает пустыня, каким темным изумрудом пылает Ташкент, и, наконец, эта средневековая Бухара!

Здесь есть крытые базары, которые тянутся на двести версты. Они прохладны, под крышей воркуют голуби, в щели льется золотой полуденный дождь, а справа и слева, у порога крохотных лавок, сидят пестрые халаты, чалмы белее снега, и старики с бородами про-

роков, высчитывая барыши и плутни, покоятся с видом богов и нюхают влажные розы.

Везде бегут крохотные ослики с вьюками свежего клевера и тростника, с женами в чадрах, бог знает с чем. Иногда среди этой толчеи проезжает наш кавалерист в высоком шлеме, и со спины он выглядит как победитель Иерусалима, паладин Красной Звезды.

И все-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упоительную красоту этой жизни, меня обуревают ненависть к мертвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи верст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого...

Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорослых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, палаток, граната, голубизны, пчелиного гудения и старинных построек, да и аромата, конечно. Такого крепкого и густого, что хочется закрыть глаза, лечь на раскаленные плиты маленького раскаленного двора и быть легче ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят в густом воздухе старинные балюстрады. Под деревьями расстилают ковры, подают чай с пряными слястями. И тишина такая, что ручьи немеют и деревья перестают цвести.

А вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит много дверей. За каждой дверью — белая комната, расписанная павлиньими хвостами, убранная сотнями маленьких чайников, которые стоят в нишах парочками, один большой и один маленький, совсем как голубь с голубкой. И в каждой комнате живет женщина-ребенок, лет тринадцати-четырнадцати, низкорослая, как куст винограда.

Все они опускают глаза и улыбку прикрывают рукой. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они бегают по коврам босиком, и миниатюрные ногти их ног выкрашены в красный цвет. Лукавые и молчаливые, эти бесенята в желтых и розовых шальварах уселись вокруг меня, потом придвинулись, потрогали своими прохладными ручками, засмеялись и заболтали, как птицы. Кажется, мы очень друг другу понравились. В общем, они — очаровательнейшее вырождение из всех, какие мне пришлось видеть.

Кушка — пограничный пункт между Россией и Афганистаном. Вокруг его старинной крепости громоздятся пыльные песчаные горы. Ветер подымает на их склоне тучи желтого праха и разносит его, как пепел целого мира, сожженного неизвестным завоевателем.

Но улицы городка тенисты, вдоль тротуаров шумят ручьи, ленивые тутовые деревья, разомлев от жары, роняют переспелые ягоды на чистые дворы казарм, на крыши и пороги выбеленных домов, в которых расквартирован гарнизон. Словом, настоящий пограничный городок, белый, зеленый и крепкий, со своим военным населением и тревожной бдительностью, преодолевающий и жару, и лень, и лихорадку. Лихие, деловитые коменданты, седые трубачи и племена, угоняющие друг у друга ежедневно стада жирных баранов; эти угоны и есть преткновение нашей восточной политики, знаменитый джемшидский вопрос.

От столба, вбитого в лысый затылок какой-то старой горы, начинается настоящая Азия, огороженная синеватыми линиями гор и золотым поясом пустыни. До самого Чильдухтерана, первого привала в Афганистане, нас провожает эскадрон кавалерии. До вечера звучит нам русская речь, и среди белых чалм мелькают красноармейские шлемы. Вечером они уходят; при свете фонаря над разгоряченной головой лошади наклоняется милое и взволнованное лицо кушкинского коменданта, и затем его руки, пожимавшие наши, и вся его славная фигура времен «Капитанской дочки», и глаза, в которых влажный блеск, — все исчезло, и мы остались одни.

VII. ИЗ КУШКИ ДО ГЕРАТА

Ночь — надо начать с нее.

После целого дня, проведенного в седле, после солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому полдню и, как река, разливающегося к вечеру, ночь — такое огромное счастье, награда за всю усталость, слабость и жажду.

Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в другую, от песчаных гор к плоскогорьям, ровным, твердым, похожим на плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла надписи.

Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг от друга, отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное небо.

И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригнулась лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в пыли, в увядшей листве — везде живое. Пепельные ящерицы оставляют на пути извилистые следы; упрямые скарабеи среди золота и янтаря раскаленной дороги скатывают свои навозные шарики. В колючих кустах шелестит саранча, кузнечики дождем сыплются из-под конских копыт, и воздух полон их сухой скрипичной музыкой.

Проходит час, другой, третий — время превращается в длинную, красную ленту, дорога — в содрогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так близко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его длинными и вместе мгновенными вспышками.

И тогда мне предстает Белая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.

VIII. БАШНИ ТИМУРА

Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и животные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудренной поверхности.

После короткого отдыха трубит гортанный рожок, дикая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые медленно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони, цепью скованные друг с другом, продолжают свой путь, и только изредка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием старается сбросить со спины гнетущие ящики. Постепенно долина сменяется холмами, и первые всадники вступают на горный перевал. Дикая и прелестная картина: горы как-то неожиданно, почти внезапно сменяют плоскогорье.

Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями тенистых пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому не ведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творче-

ского акта, который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденным жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на их несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, вот башни, поднятые к солнцу и не знающие головокружения на своей орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. По лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные ручьи.

Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спускаются, наконец, на дно новой долины, где по каменистому ложу бежит горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чистую и холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились готовить современники, высится конусообразная башня—сторожевой пост Тамерлана.

Дальше, уже на краю пустыни, лежит его дворец, преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной—груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчатая палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи и удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых сводов, похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропускающие солнечный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и пряный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными корками,—может быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бряцание кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоватой, с ногтями, окрашенными хенной, спешили десятки слуг, белея чалмами, постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфель. Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных игр, горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую лошадь под белым чепраком, с ожерельем бирюзы на молочной шее. И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый хазарец и бледнел, если за нею раздавался смех.

Издали трубит горганный рожок, и наши лошади несколькими скачками выбираются из развалин на паля-

щий простор. Высокая, пошатнувшаяся арка провожает нас молчаливым благословением: ее мягкие очертания—две сомкнутых руки, усталых, готовых опуститься.

Опять дорога по плоскогорью, ровному, безмолвному, горячему. Одинокaя деревня без построек, даже без устоев из дерева. Глина, скомканная человеческими руками и высушенная солнцем. Шатры из черной прокопченной и промасленной ткани, низкие и широко разостланные по земле. Под их сенью, в грязи и полумраке, целые семьи: дети поразительной красоты, пастухи и их стройные жены, которых нищета и труд освободили от чадры. В широких тазах они подносят воду и кислый кумыс утомленным всадникам так же просто и величаво, как это делали библейские женщины.

Изредка — колодезь, прячущий свои влажные ладони, полные утомления и прохлады, под остроконечной каменной шапкой. Полдень, потом за полдень; весь мир охвачен торжествующим солнцем, погружен в голубые и белые бездны огня. Вся земля в сладостном, смертельном головокружении сползает в золотую пустоту.

Уже не помня себя, ничего не чувствуя от усталости, приближается караван к подножию гор, к расселине, где источник дает жизнь нескольким деревьям и пастбищам. И тут на голом месте возникает целое чудо: уже ждут палатки, устланные коврами, с накрытым столом посредине.

С ржанием и шелканьем бичей останавливаются грузовые лошади. Конвоиры, сбросив винтовки и нелепый кавалерийский мундир, превращаются в толпу слуг, быстрых, бесшумных, как духи «Тысячи и одной ночи». Они несут кувшины с водой, ковры и веера и накрывают ужин прямо на траве; зажигаются ночные лампы: это — хрустальные тюльпаны на длинной серебряной ножке, и в матовом их пламени архаические персидские львы заносят над мягко тлеющим фитилем свою державную лапу. Лагерь кострами, лампами и палатками, как сновидение, белеет и блестит среди пустыни.

Падают крупные звезды, иные нисходят до темных ночных деревьев и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!

Нигде мертвое так близко не прикасается к живому.

Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Герируд. Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву, сосет прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь над рожью вечная свежесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов — вино и вода в стакане солнечного цвета.

Среди безмятежных полей частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и умирений хазарейцев.

Красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близкие небу, в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга, и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит, как свистящий, стремительный, пенный меч.

Тропинка бежит под нависшими валунами: они, как исполинские каменные жабы, прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг — кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или, утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить и идти и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немym покоем. Но все кругом, — обрывы, скалы, пыль и щебень, — все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов — из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.

Из такой глины был вылеплен человек.

Вершины. Их покатые плечи в цветах, едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором. Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они — неопишуты. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу поднимаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы; громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого, — когда они вместе.

Может быть, большой поэт, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил весь свет, пролитый на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и солнце поднимаются в вечность, как неслыханные цветы, — и легче, чем медузы: Или ди-карь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том, что ею нельзя владеть вечно.

XI. ЖИВОЕ

Среди пологих холмов встретили большие стада овец — маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой, и много птиц, почти синих. Встретили и семейство гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.

Был еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо, как всегда на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней, в дуновение мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.

Последние девять верст вдоль реки, имеющей зелено-ватый-мыльный цвет, летим как безумные по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни ост-

рее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные края ослепительными потоками, не имеющими окраски.

ХII. БАРАН

На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого гератский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру. Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка, два шара, сросшихся над его желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы с шлемом. Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознывая нелепость своего положения, баран не ест и худеет, и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой, разговорчивой козой: может быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полусмерти, если с ним что-нибудь случится. Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне гоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу.

И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости.

ХIII. РАБАТ

Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати — пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид: расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей, — все это, как тысячу лет назад.

Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую

сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого, тоже крепко огороженного двора, выведена сводчатая галерейка, и тут под арабскими нишами пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего огня, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром — золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.

Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло синее, на нем розовое, на грязно-розовом — грязно-фисташковое, а сверху «хануми сафир-саиб»¹, снедаемая отвратительными «верблюжьими» клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники-слуги с чаем, и сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.

Странные люди — эти афганские слуги.

Сами они лишены всяких потребностей, — им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, понавших на большие дороги Афганистана, — и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед — великан и красавец — подает к столу солонки, только солонки, не больше и не меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение, — эти дешевые базарные штучки со своим никелем и мелкими дырочками.

Худодад — вообще не Худодад: он — тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые зашлепали всю его жизнь, то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, но недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами, Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды, — он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного, и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвои-

¹ Жена посла.

ров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, повинаясь инстинкту, бессмысленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия.

И точно так же, как Худодад относительно своих солонков и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Герируда. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устьев и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды, дающей ему хлеб и виноград, но, как правоверный свою молитву, лениво и механически исполняет великий обряд орошения.

И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук, и песок не засыплет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища.

Худодад, у которого разбита тарелка или недостает солонки, перестает быть человеком.

Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубят вечернюю зорю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.

Вечер — время чая, походных дневников и писем.

Так как мы — «сафир-саиб» (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унижительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах.

Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя: пыль, смешанная с водяными брызгами. Это водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи, и на него спускаются концы длинных, грустных усов. Водолей получает 4 рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под выюка черные уши на белой подкладке. Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных — с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снесаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы, — так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, оставшие от длинного, бесконечно изнуренного каравана.

Водолей — самое низкое лицо на работе, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.

XV. ВЫСОКО

Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они — корона цепи 14 000 футов вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи со слабым, как бы выветрившимся дыханием — единственные цветы мертвых гор.

У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга северной Греции.

Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.

Все тот же возвышенный холод.

Горы обрызганы темной росой редких трав, они логи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни, и на них страшно смотреть,— так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И, обглоданные, источенные веками, они сами еще больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немymi усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней, нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор, и розовый и серый с черными венами,— все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.

И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были,— и облачные и ясные; все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек, и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорили земле: «Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах».

Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острие в мягкую пыль, вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном воздухе, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку. В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее и вдруг это уже пляшущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец. Он

движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано. Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, в безветренной буре развеивает свои ветви, согнутые в дымные хлещущие луки.

ХVIII. НОЧЛЕГ

Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.

Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо. Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безыменное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро-режущие, прозрачные и сладостные края.

ХІХ. ВНИЗ

Взяв приступом последние перевалы — скалистые, цветущие самыми яркими разнообразными породами камней, — дорога, наконец, спустилась на дно Кабульской долины. Это — самый цветущий и оживленный край Афганистана, по крайней мере его юго-восточной части. Шоссе покрыто тенью богатых садов, и скалы, ее обрамляющие, только своим багряным цветом напоминают дикие застенки горных перевалов.

Несчастные лошади, привыкшие переходить под палящим зноем тысячефутовые кручи, исхудалые, как скелеты, с опущенной головой и огромными натертыми ранами у передних ног, теперь оправились, пошли веселее, бодро покачивая пятипудовые яхтаны. Все чаще навстречу нам идут караваны верблюдов, груженных хлопком. За гладкими, как бы голыми матерями, у которых при каждом шаге мягко раздается широкая сильная ступня, похожая на исполинскую руку, бегут тонконогие верблюжата, мигая темно-голубыми влажными глазами новорожденных. Среди зелени высоких, узеньких тополей мелькают пестрые одежды купцов, свесив

ноги, медленно едущих на сильных мулах или неторопливых лошадях под тенью старого, грозно растопыренного черного зонтика. Обгоняем несколько женщин, идущих с открытым лицом,—это крестьянки со смуглым, низким лбом, глазами и профилем античного еврейского типа. Круглые, костлявые головы горцев и узкие глаза цвета янтаря и заржавленного железа здесь, в Кабульской равнине, уступили место мягким овалам и бледности породистых хищников. Люди красивого, крупного сложения. Особенно хороши дети. Они, как темные птенцы, унижают глиняные стены домов, блестя агатовыми глазами из-за их зубцов и башенок.

Возле горы, покрытой белыми обломками античной крепости и кубическими постройками афганской деревни, в роще из странных деревьев, покрытых узкими, тусклыми, как бы шелковыми, листьями, расположены священные пруды. Бассейны не особенно глубоки и наполнены холодной, прозрачной водой горного ручья, сохранившего голубоватый цвет снега.

К их поверхности ниспадают бегви пепельно-зеленой ивы, где покачивается клетка добродушной и крикливой перепелки,—любимицы всех афганских садов и базаров. Она пронзительно и все же музыкально покрикивает, общищая о прутья свой коралловый клюв. Изредка какое-нибудь зерно падает в воду, и тогда вся ее светлая поверхность вдруг оживает, темнеет и бросается к одному месту, отбрасывая на дно тысячи темных теней, свинцово-синих стрел. Это — форели священных прудов. За каждой крошкой хлеба их неуловимые стада летят так стремительно, что вода кажется собранной и завязанной в кишачий переливчатый узел.

Свесив одну ногу к источнику и положив руку с серпом на согнутое колено другой, жнец, отдыхающий от работы, сидит совсем неподвижно. Он дремлет с открытыми глазами или погружен в напряженную мечтательность, для которой быстрые хищные рыбы в холодном зеркале чертят серебряные лезвия.

Женщина, оставив на верхней ступеньке свои туфли и отстранив от лица покрывало из синего полотна, моет круглый кувшин, потом наполняет его и, не спеша, удаляется. Все вместе — спокойствие, шелест, плеск и тепло, смягченные трепещущей тенью.

Жатва между тем уже достигла в долине того напряжения, которое делает ее похожей на старый языче-

ский праздник. По межам, которых еще не коснулся серп, движутся все те же, собранные на затылке в тысячу плавных складок, покрывала женщин. Занятые совершением неведомого нам обряда, они не опускают чадры, и в синеве одежды и золоте хлеба видны их сосредоточенные, темные и правильно архаические лица. Они идут, изредка нагибаясь, и каждая из этих матерей, освящающих поле, собирает в своей руке пучок самых крупных и червонных колосьев. Со снятых полей ветер доносит щекочущую пыль соломы и зерна. Здесь хлеб сложен огромным костром, на котором пылает весь огонь плодородного лета. Черные волы, заменяя собою цепи и подгоняемые всей семьей, медленно переступают круг за кругом и топчут снопы, из которых течет зернистый дождь. Жницы, отделяя солому, встряхивают ее высоко над головой, и сквозь янтарную и сияющую дымку сухой пыли и солнца просвечивают их синие холщаные покрывала и красные шаровары. Жар в зените. Утомленные стада прячутся в тени частых, но еще юных и пронизанных светом тополей, которые образуют аллею не вдоль дороги, а вдоль ручья, влагу которого они и пьют и охраняют. На самом солнцепеке, среди местности совершенно пустынной, сереют прижатые к земле постройки. Ветер издали доносит их запах, запах нагретой глины и абрикосов. Старик, безразличный ко всему, разложил в пыли свои огненно-желтые товары.

Вот, наконец, и последний рабат. Лошади ускоряют шаг в виду его квадратных стен и равномерных, земляных башен, какие воздвигают термиты. В последний раз — рожок у ворот, ведущих отлого вниз, точно в глубину. Два солдата, приложившие руку к запыленным вискам. Пронзительный крик барана, которого режут на ужин, облако пыли, поднятое ветром из-под стреноженных, непрерывно жующих грузовых лошадей, — все, что составляет в пустыне покой, отдых, почти счастье.

XX. В КАБУЛЕ

Еще очень рано, очень тихо. Садовники поливают свои клумбы — тысячи пестрых, незатейливых, но очень душистых цветов, посеянных прямо среди дикой травы. Возле прудов моются усталые солдаты, караулившие нас ночью, и без меховых шапок и мундиров видна вся

их старость, похожая на пепельное и голое разрушение камней: их служба обязательна и пожизненна. Еще молчит в своей клетке, подвешенной к яблоне, красно-клевая перепелка. Ночью ей не дает покоя электрический фонарь, на который она смотрит бессонными, кровавыми глазками, и, вероятно, проклинает цивилизацию своей дикой родины. Среди зелени — крыши ближней деревни, но туда не стоит смотреть. Там начинается глиняная нора, полная первобытной нищеты и грязи, которой все равно нельзя коснуться. А вот тополь. Он здесь совсем близко, с белым стволом, почему-то раздвоившимся к верхушке, зеленый, полный движения и говора, — по ночам он притворяется белой худенькой березкой и тревожит и мучит знакомым трепетом листьев, — течением лунного света вдоль узких ветвей. Но о России я не хочу, не смею думать. Голод! — радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабского услужения оно бьет нас по щекам. И каждый из нас берет свой кусок сладкой баранины, которую подает любимый камердинер эмира — старая, дрессированная обезьяна в белых перчатках...

Мы приехали...

Глава вторая

ОБ АФГАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ, О СБОРЕ ВИНОГРАДА И О ПЛЯСКАХ ПЛЕМЕН

Не зная местного языка и не принадлежа к исламу, в такой замкнутой стране, как Афганистан, совершенно невозможно приблизиться к народным массам и тем более проникнуть в средневековую семью кабульца.

Здесь женщина больше, чем в других восточных странах, отделена от жизни складками своей чадры, едва просвечивающей на глазах, собранной в тысячу складок на затылке, ниспадающей до кончиков загнутых туфель без задка, еще больше связывающих ее слепую походку.

В пестрой толпе, следующей верхом на осле за длинным караваном кочевников, несущих за верблюдами колья палаток, оружие и загорелых детей, — везде видно и не видно женскую тень. Ее лица не знают даже

грудные дети, которых матери держат перед собой на седле из пестрых лохмотьев. Кажется, что этих здоровых ребят с обведенными сурьмой глазами, с медными кольчиками на ногах и руках, с яркими бумажными цветами на шапочке держат не матери, а призраки с замуравленным лицом, неживые, немые, недоступные. Вы поравняетесь с одной или несколькими женщинами,—они уступят вам дорогу и проводят долгим, скрытым взглядом. Что они думают? Завидуют; осуждают, смутно надеются? Всадники спешат мимо, обдавая пылью или брызгами грязи темно-синие покрывала, которые даже не защищаются. Пролетит автомобиль, пугая верблюдов, сгоняя в канавы ослов, груженных серебристыми кусками срубленных на дрова тополей, где-нибудь на повороте колесо зацепит чадру простолюдники, подомнет ее под себя и выкинет помятой и стонущей из-под крыла. К упавшей подойдет прохожий, отнесет ее, не поднимая чадры, на край ближнего поля и оставит там в обмороке,—пораненной или просто оглушенной,—не все ли равно? Это только женщина.

К счастью, тяжелый труд и нищета давно освободили жену пастуха и крестьянку от почетного стеснения чадры. На горных перевалах, в замкнутых долинах, запряганных на альпийской высоте, афганка работает с непокрытой головой, с голыми руками и шеей, сожженной солнцем.

Ее пшеничное поле, устроенное у подножия скал, тщательно очищено от осколков лавы, мрамора и гранита. К нему с гор проведены серебристые нити ручьев, которые постоянно нужно поправлять, загораживать плотинами, сливать в более сильный поток или разделять на тончайшие оросительные канавки. Вода в песчаных горах — это жизнь; она нужнее огня и хлеба. Мужчины и женщины в одинаковой мере несут тяжелый труд по очистке и углублению арыков. В густом остро пахнущем камыше, которым влага защищена от июльского зноя, под тенью тутовых деревьев, разомлелых от жары, где камни и листва прикрывают оплодотворяющий источник, рядом с мужем отдыхает и работает жена, стройная, черноволосая, вылепленная из старой танагрской глины, со своим греческим лицом, красными полотняными шароварами и сильными золотистыми руками.

Это она спокойно, с открытым лицом, обходит вече-

ром зубчатые стены своего дома — глиняной крепости, одиноко стоящей в горах, на краю дороги, некогда проложенной Тимуром и Александром. Она переворачивает связки клевера, вялого и душистого, уже подсушенного за день солнцем. Гонит домой баранов или вращает привычным быстрым движением первобытную прялку, висящую на бесконечной нитке верблюжьей шерсти. Это — зажиточная крестьянка горной области Хазарей. Чем беднее племя или семья, тем свободнее и красивее ее женщины. Нищие кочевницы, у которых нет ни дома, ни глиняных стен, ни абрикосового сада, уже совершенно свободны от законов, навязанных прекрасной Айше ревнивым Магометом. Они живут в просаленных, черных шатрах, раскинутых прямо на жгу-чем песке. Рожают и растят детей в грязи, в дыму очага, на овчине, острый запах которой так ненавистен насекомым. Прекрасные, как боги, свободные, как все парии, они идут, куда их семью ведет голод. Осенью — к границам Индии, весной — на прохладные горные пастбища Афганистана.

Население афганских городов, в том числе и Кабула, почтительно расступается при проходе кочующих племен. Их боятся, ими дорожат, как серьезной военной силой и... угрозой англичанам. Эти горцы, установившие для себя исключительное бытовое положение, едва ли не единственное на всем мусульманском Востоке, ревниво оберегают свои независимые границы, не только у себя дома, на Гималаях, но и в городах, на базарах, через которые они проходят, играя красивым оружием, похожие скорее на варваров-победителей, чем на бедняков. Их женщины и здесь не одевают чадры, — сильные, надменные матери, бронзовые жены, на которых не смеет взглянуть ни один законник Большого базара, ни один святой — с плотоядным взором и желтой кожей, испорченной пороком, на виду всего народа совершающий свои молитвенные обряды, — без того, чтобы не наткнуться на горячие глаза и серебряные дула горцев.

«Племенам», как их принято называть здесь, принадлежит первое место не только в истории раскрепощения мусульманки, но и в борьбе Востока за его политическую независимость. В истории Индии, усмирения которой славятся своей исключительной жестокостью, усмирения пограничных племен были самыми беспо-

щадными, но зато и восстания, поднятые горцами в этих труднодоступных областях, нанесли английскому владычеству первые и самые серьезные удары. Там, где маленький народец без поддержки извне и без надежды на решительную победу в течение ста лет с лишком защищал свою независимость против сильнейшего в мире завоевателя — Великобритании, не могло не сложиться наравне с оригинальным бытовым укладом и эпическое национальное искусство. И так как племена все это время были отрезаны от остальной Индии военным кордоном и линией неутихавших пограничных столкновений, а на севере опирались на Афганистан, который сам немногим превосходил культурный уровень племен, то этот порыв национального творчества, вдохновленного столетней борьбой за независимость, вылился в первобытные и могучие формы боевой песни, воинственный танец и музыку, его сопровождающую. На фоне общего всему Востоку художественного упадка, который захватил, конечно, и Афганистан, эта струя творчества производит особенно сильное впечатление.

В горах осыпаются сторожевые башни, в Герате падают и растаскиваются дивные минареты, вместе с которыми человечество теряет тайну приготовления чистой лазури; фрески смыты дождями, мрамор уцелел только на знаменитых гробницах, хотя и там его крошат корни вековых деревьев, выросших из могил. Стих окаменел, из поколения в поколение перепеваемый с старых персидских образцов. Это — в духовных училищах. При дворе он выродился в двусмысленные куплеты, распеваемые на мужских вечеринках. И только удивительный народный вкус уцелел и проявляется в умение разложить пестрый товар, зажечь над ним светильник с тремя горящими кистями и перебросить грозди винограда или завернуться в свой рваный плащ.

Любовью к краскам каждый погонщик ослов на большой дороге, каждый нищий, изъеденный пендинкой, одарен в тысячу раз больше любого театрального режиссера, иступившего свои глаза на нашей мерзкой европейской одежде.

Из всех видов искусства и художественного ремесла, пробивающегося через толщу схоластического невежества и вековой пыли, дикie пляски и песни племен — самое живое и значительное.

Совсем недавно, осенью этого года, племена устроили в Кабуле настоящую художественную демонстрацию. Это было во время праздника независимости, совпавшего, между прочим, с годовщиной Октябрьской революции. Бедная событиями, прозябающая общественная жизнь оживляется в эти дни «тамашой». Город наводнен пестрой толпой, в которой можно видеть представителей всех сословий: индийских менял с их желтыми тюрбанами, купцов в шелковых халатах, горцев с блестящим оружием и темными шерстяными плащами, бухарских эмигрантов с плоскими бесцветными лицами, опухших от лени сатрапов с примесью беспокойства и озлобления, естественного в их новом положении приживальщиков при иностранном дворе. Стая шпионов объезжает всю эту праздничную толпу на велосипедах, по которым их и узнает всякий уличный мальчишка. Солдаты в европейских мундирах шпалерами охраняют общественное спокойствие, разгоняют прикладами прохожих перед каким-нибудь знатным лицом и воздают конвульсивные почести автомобилям и каретам, проносящимся мимо. Лошади бросаются в сторону от неистового барабанного боя, южный ветер полощет бесчисленные флаги (в том числе и красный РСФСР), — словом, праздник в полном ходу. Эмир держит пари на слонов, на воспитанников военной школы, на двух генералов, объезжающих фронт, из коих один придворный шут, на велосипедистов, на русского и английского посла, — кто из них первый поклонится своему ненавистному собрату.

Но к смиренному ротозейству толпы, принимающей, как должное, тумакі скороходов и удары плеткой именитых всадников, к усердию солдат и толстой спеси торговцев, к бледной и злой немочи казиев, шествующих под солнцем в черных узких сюртуках и во всей лютой славе шариата, — племена сумели прибавить так много своего, героического и дикого, что этот казенный праздник действительно стал народным и оставил в толпах предчувствие общественных отношений, пронизанных, как этот день, горячим и прямым светом.

Их позвали плясать перед трибуной эмира — человек сто мужчин и юношей, — самых сильных и красивых людей границы, среди которых голод, английские разгромы и кочевая жизнь произвели тщательный подбор. Из всех танцоров только один казался физически

слабым, — но зато это был музыкант, и какой музыкант!

В каждой клеточке его худого и нервного тела таится бог музыки — неистовый, мистический, жестокий. Дело не в барабане, который своей возбужденной дрожью зажигает воинственных кочевников в пляске, а в полузакрытых глазах, в нетрезвой, страшной бледности лица, в напряжении всего тела, которое прикасается то к одному, то к другому ряду танцующих, как раскаленный смычок к струнам древнейшей скрипки.

Самый танец — душа племени.

Он несется высокими скачками, как охотник за добычей. Он раскачивается из стороны в сторону, встряхивая головой в длинных черных волосах, колдует и опьяняется. Пляска бьется, как воин в поле, умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, которым в Пенджабе и Малабаре бьют крупного зверя и — повстанцев. Наконец танец побеждает и любит с протянутыми вверх руками, радостно, на лету, как орлы в горах, как люди на старых греческих вазах. Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Племя садится в круг, прямо на земле. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает, точно гортанным смехом, тихой щекочущей дробью.

«Англичане отняли у нас землю, — поет певец, — но мы прогоним их и вернем свои поля и дома».

Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.

«Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву, — вы нас никогда не победите».

Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей.

«К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги, — есть большевики, которые идут заодно с мусульманами».

И толпа смеется, рокошет, теснится к трибунам.

«Большевик» — это они понимают. О большевиках поют песни на окраине мира, на границах Индии. «Большевик» — это звучит так гордо и сурово у певца, поднявшего над головой винтовку, — английскую винтовку, снятую после боя с побежденного врага. И барабанщик скалит хищные белые зубы, перебирая веселыми, тонкими, хитрыми палочками.

Глава третья

МАШИН-ХАНЕ

(Дом машины)

Когда-то старинные крепостные стены сходились над узким выходом из Кабульской долины, как сросшиеся брови. Затем время, великие завоеватели и торговля пробили брешь в стенах и ею воспользовались оросительные каналы и шоссе. Наконец, в этом месте, где справа и слева от дороги по рваным, ломаным и голым скалам висит разорванная пополам змея стены, показывая в курящийся зной и на бледном, отдыхающем небе заката щетинистый, зубчатый хребет,—возникла первая в Афганистане фабрика.

В ее фундамент вошло немало камней из старой крепости,—каменей, которые рабскими руками волокли вверх по отвесной стене и живым соком прилепляли к ребрам скал, к жестким и жгучим горным плечам там, на высоте, под самым небом. И хотя завод строили англичане, хотя по вечерам ряд его блистающих окон вызывает во мраке мираж иной цивилизации,—блуждающие огни старых кладбищ, свечи, тлеющие в тихих нишах в горах, тайно подмигивают электрическим созвездиям, и прерванная стена крепости связана этим новым звеном «машин-хане» так же прочно, как прежде стуком патрулей, криками строителей и тех, кто лез на старые зубцы с ножом в зубах и срывался вниз с окровавленными коленями, с разбитым кожаным щитом. В основании завода — камни, скрепленные рабским потом, старые, седые, ядовитые от времени уроды.

Днем вся долина машин-хане седеет от зноя. Мимо тащатся солдаты, пешеходы, ремесленники и кочующие племена. Ослы и верблюды поднимают густую пыль, и ветер ущелья, сквозняк, неистово влетающий в тесные кабульские ворота, делает из нее серые паруса. Напрасно огородники, по колено в арыках, бросают воду под ноги прохожих деревянными лопатами; запах мокрой пыли, как и свежий запах лука с их грядок, делает еще гуще и терпче горячее дыхание дороги. Огороды и хлебные поля доходят до самых стен завода, охраняемых часовыми. Средневековое земледелие смешивает свое дыхание с запахом машин; вода, обежав ячмень и клевер, кукурузу и абрикосовые сады, еще холодная, чис-

тая и душистая, льется в фабричные желоба, котлы и турбины.

В первых шерстяных отделениях густой запах курдючных баранов, конюшен, парного молока, шерсти, прелого стойла. У машины, небрежно и устало опираясь на пастушеский посох, стоит древний Иаков, библейский пастух с открытой грудью и белым тюрбаном; возле своей динамо он так же гол, прост и покорен, как у стада своего ветхозаветного патриарха.

В общем, Восток ведь немой. И суета базара, и движение больших дорог, и кладбища с плоскими острыми камнями на могилах, похожими на зазубренные ножи доисторического человека,— не что иное, как тишина, в которой роятся краски, сгустки света и теплой энергии, совершенно как пыль в солнечном луче.

Все в зрении мимолетно, изменчиво и неподвижно в движении,— ну да, неподвижно, как смерть. И вдруг в сердце самой горячей долины, в средоточии восточной немоты, на дворике, мощенном столетними камнями, из которых каждый имеет свою длинную и забытую миром историю, в стенах голых и горячих, как скалы или кладбища, где ни одна живая тень не осеняет каторжного труда, где нет ни влаги, ни ленивой зелени, где одна только пленная перепелка, повешенная в ивовой клетке на пороге мастерской, отчаянно и нежно кричит, разинув от жары свой клюв,— навстречу вам из корпусов, похожих на овечьи стойла, из низких дверей, выдыхающих запах скота и рабочего пота, с клеткотом, с судорожной торопливостью, с бешеной настойчивостью стучат молоты и молотки, скрежещут железные челюсти машин, и электричество, наклонив шею под деревянное ярмо первобытного земледельца, задыхаясь и дрожа от бешенства, волочит тягчайший плуг.

Этот шум, этот живой трепет машин после полуденной лени полей производит впечатление потрясающее: это заговор против старых гор, мечетей, магометанского неба, лени, смирения и вялой нищеты.

Вся кровь бросается в голову,— ведь год не видели этой копоты, не трогали машины, согретой, живой. Серый кирпичный фасад, почерневшая рама дверей, лязг металла — может быть, чудо? Не Путиловский ли, не кронштадтские ли мастерские?

И страшно на минуту и жгуче-весело. Сейчас из этих

низких дверей хлынет знакомая толпа, сам великий заговорщик, притаившийся в пыльной долине Кабула.

После тучных афганских взяточников, после слащавых иностранцев, после выдержанных англичан, у которых для нас есть такие корректнейшие улыбки, пересекающие лицо, точно поперечный надрез на кончике пули, хочется пить, пить душный фабричный воздух, пить напряжение, пить чистую пролетарскую злобу, выдержанную, как в сухом погребе вино. Как в лихорадке, не могу понять широкой мягкой туши, которая уже стоит перед нами, кланяется, прижимая руку к тому месту, где под жиром, фланелью и кончиком пестрейшего платочка должно быть ее, тушино, сердце.

Директор завода. Взаимно киваем, приседаем, заботливо спрашиваем о здоровье: «Джур — ести, хуб — ести, — как вы поживаете, не тяготит ли вас куча мяса и жира, которую вам приходится носить на себе?» — «Нет, нет, слава богу». И надзиратель тростью отгоняет от нас кучку собравшихся рабочих.

В первых сортировочных мастерских еще деревня, скотный двор. Подростки, сидя на глиняном полу, щиплют и раскладывают горками черную, рыжую, белую шерсть. И не рабочие, а подростки-поденщики, которым сегодня — фабрика, завтра — косьба в поле, поливка дорог, — все равно. Дети безземельных крестьян, которых фабрика пососет неделю-другую, а потом выкинет как шлак, не наложив никакого профессионального отпечатка, кроме разве желтой бледности и чесотки.

В доме машины (точный перевод афганского термина «машин-хане») они не пойдут дальше прихожей и выгребных ям. Надзиратель хлещет по их голым спинам, как по осликам, флегматично перебирающим крепкими тонкими копытами под балдахином навьюченной зелени.

Прикосновение первой же машины уничтожает патриархальный вид помещичьего двора. Зубцы машины расчесывают всклокоченную шерсть и заодно — нервы, мускулы и уклад крестьянской жизни. Горячим дыханием пара со стальных дербенок сдуваются белые мягкие хлопья шерсти. На стропилах и стенах они висят инеем, зимним легким кружевом. Ласточки несут себе в гнезда под потолком это добро, потерявшее уже полевой запах.

В воздухе легкая дымка коротких белых волосков, шерстяная пыль, вьюга, наносящая сугробы на легкие рабочих. Лица бескровные, в крупных каплях пота, бессмысленно заверченные кружением ремней. Люди, проглоченные и переваренные первой машиной. И дальше, чем сложнее аппараты, чешущие шерсть, свивающие ее в нить, потом в широкую мягкую и теплую ленту, тем больше испуга на лицах крестьян и пастухов, обслуживающих непонятные для них бердовые колеса, винты и зубья.

Точно с язвительной карикатуры эта сцена: голый до пояса, высушенный тропическим жаром и искусственным летом машин, седой работник своим старым крестьянским серпом счищает с двухаршинной шпульки остаток прилипших ниток. Над ним толстый директор, — толстый неимоверно, неприлично, до того складчатый и мягкий, что в сборках его живота однажды во время купанья задохлась лягушка, о присутствии которой узнали через несколько дней по неприятному запаху. Сколько еще поколений рабочих заживо сгниет в складках восточного жира, пока это тучное тело, в свою очередь, не пойдет на удобрение!

Другая картина. На стене — аппарат, измеряющий крепость пряжи. Он ее рвет постоянно, все увеличивая нагрузку. На циферблате крупными, деловитыми английскими буквами — «Манчестер», в уровень с ним голова старика в белом тюрбане, с глазами темными и глубокими, похожими на те дыры, которые роют какие-то зверушки в сухой и голой земле могил. Он следит за нитками, которые тянутся, дрожат и рвутся, его научили различию цифр, движению бегающей по кругу стрелки. Но когда же эти красные от пыли глаза поймут магическое слово, название великого промышленного города, поймут таинственный привет, который эта машина передает в пустыню оттуда, из столицы машинного царства и эксплуатации, где уже грудь с грудью схватились труд и капитал!

«Манчестер» — это значит: мы победим. «Манчестер» — не отчаивайся: мы твои братья, идем тебе на помощь, через 50, 100, пусть даже 200 лет, но наши руки встретятся. И машина яростно шелестит: «Ну, да, ну, да», хотя никто еще не слышит и не умеет понять ее голоса.

Машина — жестокая учительница. На сто крестьян,

обслуживающих ее, она вырабатывает одного рабочего. Съест, исковеркает, выпьет целые деревни, чтобы расплавить первый промышленный пригород. На крепостной кабульской фабрике, где бьют палками по голым плечам, где в закрошной какие-то живые трупы, старики и дети, или то и другое вместе, огромными ножницами дьяволов Гойи как бы отрезают себе ткань на саваны, где хозяин фабрики — вотчинный помещик, главнокомандующий, шеф полиции и абсолютный монарх в одном лице, — на этой фабрике все же успели образоваться пролетарские дрожжи, нечто, носящее в себе будущую историю страны.

Это — ткачи, высококвалифицированные рабочие, собранные со всей страны для поощрения местной промышленности.

На них тяжелее всего ложится полукустарное и крепостническое, полуюропейское хозяйство. Их станки представляют из себя своеобразную смесь IX и XX веков, электричество только помогает мастеру, — его искусные руки остаются главным орудием производства. Челнок приводится в движение веревкой, обмотанной вокруг левой кисти, в то же время ногой ткач меняет цвет пряжи, вводит в нее новые оттенки сообразно узору. Труд, требующий личного вкуса, ритма, напряженного внимания. Фабричный темп сказывается только в безжалостной механизации этого чисто ремесленного искусства, в установлении нескончаемого рабочего дня, — одним словом, в превращении живого мастера с его навыками, умением, индивидуальными способностями в двуногую машину.

В этом отделении наглая тросточка надзирателя как-то ни разу не проявлялась, и даже величественный живот директора не снискал привычных почестей. Никто не поднял глаз от работы, никто не улыбнулся. Только челноки с каким-то отчаянным нетерпением, с грохотом продолжали бросаться из стороны в сторону. Если бы вещи могли приносить счастье или несчастье, я бы не позавидовала тем, кого оденут эти плащи и одеяла, насквозь пропитанные здоровой классовой ненавистью. Еще несколько лет, и эти тонкие, вымирающие на фабрике художники-мастера, которые видят все крушение своей неторопливой, пестрой жизни, пригретой солнцем сквозь щель базара, в фабрике и электричестве, поймут, что машина — их единственный союзник, из

рабов станут господами этой небывалой на Востоке техники.

Вот, наконец, сердце машин-хане. Черная пещера, такая жаркая, что платье сразу прилипает к телу, чувствуется головокружение, и так странно запах смазочных масел перемешан с ароматом ванили. Где-то близко за стеной цветет молодое миндальное дерево.

Котлы до потолка, топки, открывающие на минуту красный рот, обведенный полосой побелевшего железа, и бесконечные ремни, и прерывистое спертое дыхание, точно все это громадное, пылающее отделение бредит о море холодной воды, о синей ледяной глубине, чтобы потушить в ней свое сгорание. И вот хозяин всего этого, святая-святых, повелитель огня, света и энергии. Тонкое лицо, мягкие черты индуса, тюрбан, связанный ровно, как на статуях Будды. И как только увидел, как только обернулся, у него на лице тонкими белыми языками бледности, такой, какая окружает металлы молочным нимбом в минуту их высшего сгорания, написалось странное, страшно нежное, прозрачное, братское выражение. За шумом все равно в этом аду слов не слышно. Но было так, как будто мастер успел сказать нам несколько особенных человеческих слов, которых мы никогда не должны забыть. Так, точно он, уже увидевший в подземном огне своих котлов весну мира — предсказанное горение, — из года в год, из часа в час, задышавшись в своей горячей тюрьме, ждал этой минуты, чтобы сказать, как его испепеленная жизнь ясно уходит в огонь.

Какое одиночество должен испытывать этот погибающий между тростью, директорским животом и раболопными, битыми, перепуганными массами, все классовое сознание которых не шагнуло еще дальше мальчишеского озорства и ненависти разоренных ремесленников к их мучителю — машине.

Директор заметил странную улыбку и волнение своего высококвалифицированного, дорогого и опасного раба, подвинулся ближе, насторожился. И, не находя слов, немой от грохота машин, стесненный присутствием рабовладельца, мастер только крепко пожал руку и быстро отвернулся, — кто знает, отвернулся на всю жизнь, которая пройдет в одиноком, почти мистическом предчувствии революции.

ПЛАЦ-ПАРАД

Горячее, плоское, выметенное ветрами поле, вокруг которого пыльные и голые горы лежат рыхло насыпанными кучами, как труха и солома вокруг гумна.

В глиняную чашу, образуемую долиной, льется поток немилосердного света. Все внизу должно умереть, растрескаться, изойти жаждой, развеяться покорной пылью,—или солнце в этой печи выплавляет золотые металлы, которые когда-нибудь блеснут на костре сожженной земли прохладно и радостно, как отдыхающие после смертельного жара скрещенные руки на груди больного.

На этой жгучей площади ежедневно производится военное учение. Медные трубы, отливая на тропическом солнце, стоят поодаль и кричат на проходящие войска однообразно и самовлюбленно, как все военные марши всего мира. Полки маршируют в полной форме, то есть в теплых мундирах, в тяжелых зимних сапогах. Маршируют часами на этой пыльной сковороде, на которую солнце, как масло, подливает 60-градусный зной.

В большинстве солдаты поражают своим маленьким ростом, щедушием и молодостью. Подростки, которых особенно много, отбывают воинскую повинность за богатых купеческих сыновей, за аристократию базара. По местным законам, всякий новобранец имеет право нанять вместо себя заместителя — мера, благодаря которой большинство армии состоит из безземельных крестьян и Lumpen-Proletariat'a, особенно этого последнего. Наоборот, высшее офицерство подбирается и выращивается с оранжерейной тщательностью, в непосредственной близости к трону и эмирской семье. Детьми, то есть игрушечными кадетиками 6—10 лет, они бывают приглашены даже на женскую половину двора в дни коронации и праздников независимости.

Здесь, среди шуршанья женских юбок, под аккомпанемент балованной возни сердарских детей, в толпе служанок, исполняющих роль «народа» для честолюбивых затворниц, то аплодирующих гаремным речам на тему о «прогессе и просвещении», то через минуту ожесточенно дерущихся за уцелевшие после обеда сладкие

блюда,— в этой атмосфере маленькие солдатики представляют мужскую половину рода человеческого и с достоинством несут свои депутатские обязанности. Они козыряют и шаркают ножкой голубым шальварам ее величества и, придерживая игрушечный палаш игрушечной рукой, с миной мужского превосходства пробираются через женскую толпу поближе к засахаренным фруктам.

С летами дверь эндеруна так же плотно захлопывается для этих пажей, как и для всякого мужчины, не связанного с эмирской семьей тесными узами крови. Но в казарму и на плац-парад они уносят с собой детские воспоминания о том, как в сумерки сияют драгоценные камни, как женщины умеют подыматься по длинным белым лестницам и как они кричат на качелях. Эта память о близости к гарему, идеализированная, как все детские воспоминания, постепенно превращаются в фанатическую преданность династии и эмиру. Патриархальная простота, с которой при этих мальчиках открывается вся интимная сторона семьи, должна производить особенно сильное впечатление в такой стране, как Афганистан, где личная жизнь каждого огорожена высокой глухой стеной и черными чехлами, где нет женской дружбы, где самое их лицо прячется как нечто непристойное. В фанатичной стране память о детских днях, прожитых среди париц, остается на всю жизнь, вспоминается взрослыми, как немыслимый сон, как самое счастливое и радостное в жизни.

Конечно, при таких условиях между солдатами, нанятыми на службу богатыми новобранцами, и квалифицированным офицерством, в детстве причастившимся близости ко двору, его интриг, его красоты и сытости,— между офицером камер-пажем и солдатом из босяков — очень мало общего.

Армия воспитывается в жесточайшем религиозном фанатизме. За нарушение поста, за глоток воды и корку хлеба, проглоченную солдатом после томительного учения под тропическим солнцем, его подвергают позорному публичному наказанию. Виновный должен проехать через весь город верхом на осле, лицом к хвосту, причем народ и конвоиры подвергают его побоям, плюют в лицо, поносят самыми отборными ругательствами. Во время 30-дневного поста солдаты и вообще трудовое население пьяно от голода, жажды и жары.

Под ревнивым взором мулл, принужденные работать, как всегда, от зари до зари, голодные толпы аскеров, фабричных рабочих и ремесленников доходят до полного истощения, до нервной горячки, до злобного воодушевления. Конечно, гвардейское офицерство (махи) только внешним образом разделяет всенародный пост. На время байрама высшие чиновники, двор и вообще люди богатые удаляются в свои загородные дома, где ничей ревнивый взор не проследит их маленьких вольностей. Аристократия, к которой прежде всего принадлежит верхушка армии, уже тронута легким скептицизмом эмира, разделяет его ожесточенную борьбу с имамами за светскую власть.

Просвещенный абсолютизм, приступив в Афганистане к своим первым реформам, не мог не столкнуться с поповской реакцией и на оппозицию седобородых законников и клерикалов ответил легким ядом неверия, скептической усмешкой, самодержавным вольтерьянством, прикрытым, впрочем, маской внешнего соблюдения обрядов.

Но эта лицемерная набожность, потихоньку закусывающая у себя дома и через щелку наблюдающая добросовестное изнурение базарной бедноты и казармы, в конечном итоге еще увеличивает пропасть между кастой командиров и солдатским сырьем.

В лице офицерства, прошедшего школу «мактаб-и-харбие», — спесь галунов и шпор соединяется со спесью первобытной интеллигенции.

В военном училище, кроме верховой езды, стрельбы и маршировки, проходится еще география, история, химия, иностранные языки. Все это, конечно, с точки зрения панисламизма и шариата, по нелепым учебникам или изустному преданию, которое заставило бы покраснеть ученого-араба XVI столетия, — но все-таки проходится. И хотя во главе училища стоит придворный шут, потеха всех публичных сборищ, жестокий скоморох с пьяной, красной и опухшей мордой, — он свое дело знает и палкой вколачивает в головы своих питомцев грамоту, оскопленные, усеченные, вывернутые наизнанку науки, а также всякие заграничные хитрости с дробями, селитрой и патриотическим красноречием. Из стен «мактаб-и-харбие» молодые люди выходят, таким образом, не только с затянутой талией, железными ногами и резиновым позвоночником, но и с великолепной гор-

достью Робинзонов, разбавленных миллионами неискушенных Пятниц.

Таковы верхушка армии и ее низы. Между этими полюсами лежит весьма многочисленный слой рядового, служилого офицерства, всеми корнями вросшего в солдатскую массу, живущего с ней одной жизнью и одними интересами. Все их сближает: и общая скудость потребностей, и общее невежество, так как оба, и командир и подчиненный, зачерпывают воду рукой из ближайшего арыка, едят руками свой постный плов, чистосердечно молятся на заходящее солнце, бесконечно пресмыкаются перед высшими. У обоих один идеал — как-нибудь выбиться наверх, завести хорошую лошадь, палатку, цветной халат, купить жену и вечером, развалясь на веревочной кровати, снисходительно болтать с кучкой слуг и подчиненных, скинувших туфли на край ковра и сидящих кругом на корточках с униженными улыбками.

О мечта! Один несет пару яблок, другой — кальян, сделанный из содовой бутылки, третий — метелку для отгоняния мух. И на закате им играет полковой рожок томительную, немного гортанную, длинную-длинную зорю.

Таким образом, рядовое, служилое офицерство ничем не возвышается над уровнем армейского большинства. И офицер, и рядовой получают нищенский оклад, целый год, зиму и лето, носят один и тот же потрепанный мундир, одевая его только в караул и тотчас скидывая в казарме, где остаются в одном белье, кишат одними и теми же насекомыми, спят на полу на вшивой овчине, ходят по снегу босиком, бьют других и сами получают по зубам.

Это — офицер из бывших рядовых, фельдфебель, произведенный в старший чин после какого-то фантастического испытания. Между этим офицером и камер-пажем, скачущим в свите эмира, такая же разница, как между арабской лошадью и смиренным осликом, до гроба таскающим на себе то пышный роброн из клевера, то дрова, то мучные мешки. Фигура этого офицера, неловко зажавшего под мышкой палаш, застегнутого на все пуговицы чистого и сильно поношенного мундира, украдкой почесывающего жесткие волосы под парадным колпаком, как-то знакома.

Несомненно это — герой будущей афганской лите-

ратуры, сентиментального Диккенса в чалме, буржуазной оппозиции и национальных войн. Пока, ничего не подозревая о таком блестящем будущем, он сидит на полу, и деревенский брадобрей, без мыла, растерев руками его жесткие худые щеки и колющий затылок, скоблит их огромной бритвой.

Около плац-парада — военный госпиталь.

К жару потрескавшейся земли он прибавляет запах карболки и формалина. Посредине квадратного двора грядки цветов, поливаемых медицинскими отбросами и мочой, что, впрочем, не мешает им цвести и благоухать, как бабочкам, присосшим к земле.

Кругом, вдоль четырех стен, — четыре больничных корпуса: палаты, медицинская школа, бани и аптека. Один из врачей встречает нас в парадном головном уборе с кисточкой и в больничном халате. Взаимно осведомившись о здоровье, мы переходим к осмотру. Прежде всего операционная. Куб для кипячения воды, деревянный стол, покрытый клеенкой, несколько ведер, — вот и вся обстановка хирургического отделения.

В соседней инструментальной, довольно богатой наборами ножей, ножичков, пил и т. п., пожилой служитель полой своего халата срочно перетирает пыльные инструменты.

Теперь самые палаты. Надо признать, что в них господствует абсолютная физическая чистота. Земляной пол чисто выметен, от ночных столиков ничем предсудительным не пахнет, белье свежее. На хирургических больных чистые перевязки. В палате маляриков и тифозных, лежащих вперемежку, все тот же внешний порядок. Чистый пол, чистые горшки. Больные, с их блестящими от жара губами, с лимонно-розовым цветом лица, лежат, как в строю.

Останавливаюсь возле пожилого солдата, истощенного и вымотанного многодневным жаром.

— Чем этот человек болен?

Доктор с гордостью выступает вперед:

— Или тифом, или малярией.

— Как же вы его лечите?

— Одновременно от обеих болезней. От тифа — и, на всякий случай, даем хину от малярии. Это средство, — говорит врач, — я сам изобрел и применяю его с большим успехом.

Результаты налицо. Тиф, возвратный тиф и тропи-

ческая лихорадка мирно лежат рядом, передаваясь от одного к другому. При таких условиях доктор прав, подозревая в каждом тифозном непременно возврат, в каждом малярике, в бреде положившем худые ноги на подушку и свесившем безумную голову под кровать,— будущего тифозного.

Так лечит профессиональный врач, но что будет с больными, когда они попадут в руки местных медиков, пока еще сидящих на школьной скамье, но надеющихся через год начать самостоятельную практику? Их человек 15, юношей, набранных из учеников военной школы. Сидя вокруг своего медицинского фельдфебеля, уже получившего нашивки за хорошие успехи, они нараспев хором повторяют изречения из рукописного учебника.

Вот перевод этого урока: «Туберкулез. Эта болезнь заразительна, микробы ее передаются по воздуху и по воде...»

Туберкулез, микробы! Очевидно, несмотря на юный возраст, молодые люди обладают серьезными познаниями. Прошу переводчика задать классу следующий вопрос: «Отчего во время холеры нельзя пить сырую воду?» Замешательство, никто не может ответить. Зато на мой поклон юная медицинская гвардия отвечает лихим военным салютом.

Дальше опять все хорошо. Опрятная кухня, аккуратные кладовые, просторная строящаяся баня. Нигде ни соринки, ни пылинки. Дисциплина, жара, отчаянные бредовые крики. И солнце печет.

Глава пятая

ХИНА, КАРБОЛКА И МАЗИ ИЗ БАРАНЬЕГО ЖИРА

Было бы смешно подходить к первой афганской больнице с европейским масштабом. Важно самое ее существование, самый факт появления градусника под мышкой афганца, высохшего и черного, как те ужасные бродячие собаки, которыми кишат все базары Востока,— они настолько ленивы и измучены, что ни окрик всадников, ни автомобильный гудок не может их под-

нять с середины дороги, где они спят в теплой, усыпляющей пыли, постоянно оглашая воздух всхлипывающим воем. Реомюр под мышкой такого афганца — пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летосчисление.

Кроме того, больница в жизни беднейшего населения — первая оседлость, первая долгая остановка в пути.

Ведь всю жизнь афганец кочует, еще ребенком с подведенными сурьюю глазами, на ослице, которая несет его мать. Если он уроженец племен, то ежегодно, через горные перевалы Гиндукуша, от границ Индии к альпийским лугам Хазарей, от английского колониального шлема, от стройных телеграфных столбов Ост-Индской компании, как ряд черных берез, взобравшихся на самые крутые вершины, — к глиняной крепостце афганского наместника, его серебряной плетке, чеканенной в Газни, к медным грошам гератского базара, где щепотку риса и хлебную лепешку еще продают за динарий Александра Македонского.

Если он крестьянин, то по бледным от жара дорогам он всю жизнь ведет продавать пару баранов, лениво потряхивающих курдюками и оставляющих за собой острый запах навоза и мускуса. Он вечно едет в город со своим хлебом к мелочному скупщику, у которого мука пополам с пылью, но новый, спесивый, как его чалма, из грязи и воды слепленный домик рядом с постоянным двором, где вечно ржут лошади, где прохожие пьют и моются из грязного арыка и где набожные люди на виду у всех молятся, застыв в честных поклонах и провожая нетерпимыми глазами всякого прохожего, его осла, его козу и его полосатый плащ.

Если больной, который теперь лежит с выражением безграничного покоя, как дорога, изрытая черными сухими колеями, по которой вдруг перестали ездить, и она блаженно зарастает травой и тишиной, — если он был солдатом, то это тоже значит вечное скитание, пот, солнце и пыль в глаза. И все эти без определенной цели всегда идущие, всегда выветренные и выгоревшие на солнце, лица которых напоминают корабельные вещи, — так с них воздух и свет смели все лишнее, все теневое.

А ведь идти так далеко до 60—70-ти лет, мимо стольких костей, белеющих на песке. Только на Востоке старость суха и подвижна, как пыль. Только на этих дорогах без конца и начала встречаются белые, сухие ста-

рухи с открытым лицом, с загнутыми туфлями под мышкой, которые они несут, точно пару серебристых египетских голубей на продажу. Над этими бабушками, бегущими вперед мелкими, едва приметными, ровными шажками, как часовая стрелка от секунды к секунде, тяготеет один страх: остановиться. Остановка — это конец. Это острый, серый камень в серебристой мяте, мягко переливающейся, как пыль больших дорог в лунные ночи. Да, да, и вдруг больница. Постель, хлеб, рябой мальчишка, который даром выносит горшки и еще вытирает тарелки, клизмы и ночные столики концом своей просаленной, но все еще блистательно свисающей чалмы.

Таков первый покой, первый досуг, — правда, расписанный тифозными и сифилитическими пятнами, но все-таки его святая тишина превышает бредовых криков, больницы вонючей и грязной.

Восточная жизнь всегда в плоскости: вдоль высокой глиняной стены, жаркой, как печь, а сверху — вдоль полуразрушенного карниза, как старый плащ — неистлевающей бахромой, обшитого куском густого, бархатного, низкого неба. Вдоль этой неизменяемой бесконечной стены все и движется и живет. Но больница — это разрез поперек, в глубину, до костей. Визг перееханной собаки тоже в плоскости: он начинается от копыта, от пинка ноги и кончается там, где пешеход дойдет до лавки с виноградом, а собака свалится в канаву заливать лапу, — все это вдоль, все в одном измерении. Но ампутированная нога, но капли, которые каждый день щиплют изъеденные трахомой веки, но обезображенное лицо под таинственной чадрой, вылезающее из складок «Тысячи и одной ночи» с дьявольской насмешкой, — это уже протяженно, это концы и начала, сведенные вместе, это та же стена, но в которой сифилис и пендинка проели неизлечимую дыру, и вот в нее видно и дом, и крохотный, со всех сторон запертый сад, средневековые, невежество и преступление.

Во главе общественной больницы стоит турецкий врач Нуренбек. 20 лет назад он учился в Париже, потом каким-то образом попал в Кабул и сделался любимцем старого эмира. Основал первую больницу, устроил рассадник оспенной вакцины и, перезабыв давно и упрости до крайности свои парижские приемы, с любовью и энергией резал, прививал, излечивал или отправлял на тот свет. Во всяком случае, одними прививками спа-

сал ежегодно тысячи человек. В награду Хабибула-хан подарил ему маленькую невольницу, на которой доктор, чтя Бурже и добродетель, счел долгом жениться. И сейчас на всех женских аудиенциях обязательно появляется его ханум, сморщенная, как высохший лягушонок, с кирпичным румянцем поверх тяжелых серых рытвин, пересекающих ее раскрашенное лицо, как оросительные канавы высохший пустырь. Ее сухие лапки с нечистыми ногтями, всегда подогнутые как у удивленной птицы, прячутся в ярко-розовые шелка.

Трудно сказать, как они ладили и жили вместе, но из тех же розовых складок высовываются головки трех детей доктора, худеньких, подвижных, с затененными глазами испорченных гаменов, с приседаниями, улыбками и кружевцами на панталончиках,— это уже от вольноотпущенницы, от правоверной рабы.

У доктора много книг, — он читает и любит Шекспира и 15 лет не говорил ни с одним европейцем.

И, может быть, оттого, что над его благонамеренной головой мелкого буржуа (в черной ермолке, какие в Париже носят портье и профессора) полжизни дребезжала скрипучая погремушка нелепейшей из всех комедий, лицо доктора Нуренбека усвоило странную гримасу. Вместо смеха он ни с того ни с сего прищуривает один глаз, растягивает рот до ушей, и его рантьерский животик в широком вырезном жилете бесшумно подпрыгивает и трясется.

Но дело в том, что выпученный глаз при этом смотрит без всякого веселья, испуганно и удивленно. И тогда кажется, что уравновешенный, в полном смысле слова порядочный Нуренбек издевается над собой и над циничным фарсом, который получился из его жизни.

Он любит оперировать. Любит пройти в операционную через три тесных и вонючих палаты, причем его ассистент, старый афганский знахарь, с трудом променявший приворотные травы, порошки из собачьего семени и заклинания на олеум ридини и карболку, шествует за ним и с видом колдуна на всякий случай бормочет над приготовленными инструментами испытанные заговоры. В такие минуты старику кажется, что он знаменитый профессор, перед которым открывается ряд белоснежных палат, и что в конце концов из рога изобилия, некогда вытряхнувшего в его объятия скудоум-

ную ханум, выскользнет и орден Почетного Легиона. И мечтая о Saint Lazare, он браво режет грязные, худые и голодные тела, не замечает слабости собственной руки, проколотых сосудов и пузырей и грязного передника, о который его ассистент вытирает ножи. Может быть, без этой неунывающей бодрости, без иллюзий, помогающих превратить скверный барак в образцовую клинику, милейший Нуренбек не мог бы работать в ужасных условиях, в которых он мужественно провел 20 лет, не мог бы сделать большое и нужное дело. У него нет ни инструментов, ни перевязочных средств. Усевшись на глиняный пол и размотав перед врачом какой-нибудь гнойник, гангренозное пятно или рожу, больной затем спокойно подбирает с полу свои лохмотья и старательно ими перевязывается.

А все тяжело, почти безнадежно больные, которых больница вообще не принимает, стараясь избежать лишнего процента смертности, подрывающего ее авторитет в глазах духовенства и всякого рода ханжей?

Что делать доктору с 10-летним ребенком, которого отец, молодой еще солдат, принес на руках? Кости и кожа, опухший и размягченный череп, сведенный на сторону. Блуждающий, как у всех смертельно больных, мудрый и невнимательный взгляд — и жизнь, все еще жизнь в омертвелой коже, в костях, торчащих из-под нее в крике. Какая тут надежда! Врач отворачивается к другому, и отец, посидев совершенно одиноко на скамейке, медленно заворачивает полумертвое дитя, еще медленнее встает, еще медленнее уходит. Ах, черт! эти ужасные паузы, это стояние на месте, эта повернутая уже и все еще ждущая, спрашивающая спина.

Вот женщина, которая сейчас пойдет на операцию. Приблизительно месяц назад ей удалили катаракту, после 20-летней слепоты она начала видеть. Оставалось что-то исправить в ее неправильно поставленных веках, — пластика, как говорят врачи. Знахарь решил, что справится с этой пустяковой задачей не хуже проклятого кафира. Ковырнул в глазу кухонным ножом, — больная ослепла уже навсегда...

— Ну, да, — говорит Нуренбек со своей гримасой. — Ces imbéciles...¹

¹ Эти остолопы... (фр.)

Сколько поэтов пело восточную чадру! Сколько с ней связано неопределенных мечтаний! Под ее мрачными складками чудится непременно красавица, изящество которой выдает узкая пятка, мелькающая из-под покрывала. Что же, в больнице таинственная черная занавеска подымается.

Вот пришли три «ханум». Маленькая и сгорбленная, пошлепав вокруг доктора туфлями без задков, подымает чадру дрожащими руками. В черном окладе откинутого покрывала — чистенькая старушка, сухая, как пыль, и от белых широких рукавов ее рубашки пахнет чем-то полевым, как от мятных зарослей на старинных кладбищах. У нее болят глаза: вокруг синих, немного мутных зрачков — красная густая полоса, благодаря которой все лицо похоже на чистый сухой лист, изъеденный гусеницами. Ее старшая дочь, тоже больная, долго не хочет открыть лица. В таких случаях уговоры бесполезны. Чем больше просить, тем упорнее будет сопротивление. Доктор открывает входную дверь перед другими пациентами. Старушка и ее занавешенные дочери приходят в волнение. Мать дергает врача за рукав, и молодые женщины, отвернувшись, втянув голову в плечи, выползают из своих коконов. На белом, одутловатом лице старшей — красные очки трахомы. Ее смуглая красивая спина изъедена экземой. Осматривать ее одно мучение. Пациентка, для которой врач ни на минуту не перестает быть кафиром и мужчиной, считает своим долгом разыгрывать перед ним все условное действие стыда, сопротивления, всех этих бедных жестов с закрытием лица, криками и нервным смехом. Без этого она не может, в этом вся женская порядочность, престиж и ценность. Иначе какой же смысл в чадре, в вечном скрывании своего тела, — преступного, запрещенного, отвергнутого законом!

Очень немногие открывают свое лицо смеясь, легким и порывистым движением, которое их сразу роднит со всем, что молодо, красиво и не боится смотреть прямо в глаза.

В общем, при всех строгих предосторожностях, глухих стенах и оградах, при наличии чадры и сверхъестественного лицемерия и жестокости большинство женщин страдает венерическими болезнями. Мужья ли их заражают, возвратившись из Индии со своими караванами, или они ухитряются грешить, будучи затиснуты

между двух страниц корана, — аллах их ведает, а пока что черноглазая, ласковая и веселая женщина, у которой так влажно и свежо блестят зубы, смеется на все вопросы и в конце концов обходит любопытство доктора, лукаво и притворно-добродетельно открывая ему для уколов не свою стройную и чистую спину, а узкую полосу, заранее прорезанную в широчайшей одежде.

Странно, но приличная палата которой-нибудь из наших общественных больниц производит гораздо более унылое, даже отчаянное впечатление. Пять этажей, запах капусты и болезней, скуластая сиделка, грязный халат и грязная ванна, липкий и пахнущий потом градусник.

В чем же суть? Неужели из-за грядки цветов перед Таб-ханой, из-за жаркого неба, из-за экзотики с ней легче примириться, чем с клоакой Обуховской и Калининской?

Во-первых, больные, ожидая очереди, не сидят в приемной, не перелистывают альбомы и не читают расстрепанной, инфекционной Карениной, а лежат или сидят на жаркой, сухой земле. По дороге в операционную они еще раз оглядываются и вносят с собой широкие линии гор и еще более избыточные, клубящиеся, ко всему безразличные очертания облаков, ползущих в долину через голые горные края грозовой пеней.

Терпение? Нет. Покорность судьбе? Да нет же! Земля, даль, ширь, дороги как ручьи, неодушевленное эмалевое небо. Что тут значит чья-то лихорадка, переломанные кости, больной ребенок? И перед стихиями есть некоторое равенство всех. Не социальное, конечно. Один ест плов каждый день, на его борседе масло, и конюх бежит рядом с его лошадыю, в то время как другой продает невкусные маленькие арбузы, или ночью, положив голову на сухую листву, караулит чужую кукурузу, которая блестит в неясном свете звезд, как золотое сито. Все это есть — и трещины и пропасти. Но тем не менее... И богатые дома и бедные лепятся из одинаковой грязи вдоль не знающих теней дорог. И богатые и бедные носят чадры. Их красота, их грудь, вышитая серебром по оливковому бархату, их спесь, — все бесполезно. Никто не увидит.

И спят все на полу, — в одном тюфяке больше, в другом меньше блох. И только.

Едят руками. Переехав границу, молодые купцы, прежде всего скинув лаковые туфли, моют в ручье стесненные ноги и потом требуют плов, чтобы его подпихнуть в рот большим пальцем, а руки вытереть о фалды *habit noir*¹. В холеру все стучают лбами о земляной пол по 20 раз в сутки. И мертвых хоронят все одинаково.

Равенство в смерти. Только на могиле святых есть отличительные знаки,— старинный мраморный рельеф, голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным,— и богатым и бедным,— яма в сухой земле, заостренный камень и больше ничего.

Быстро-быстро, точно боясь опоздать, бежит толпа родственников за носилками. на которых лежит тело, завернутое в простыню. Торопливый, короткий и простой обряд, а за ним забвение.

Вдоль дорог, среди плодородных полей, на перевалах — везде острия безыменных кладбищенских камней, никто не знает чьих.

Нет свежих могил, все одинаково стары.

На следующий день женщины, которым не позволено присутствовать на погребениях, с трудом отыскивают свой осколок, свою кучу песка.

И, может быть, именно потому, что в маленькой библейской стране, где еще пашут деревянным плугом, так велико общее ничтожество перед стихией, будь то горная цепь, пророк или эмирская власть, — и хождение по мукам больницы принимается с тем же ровным безразличием, как жизнь, солнце, взятки и смерть.

В стране, где так просто умирают, где бедность естественнее засухи, клубок болей и безобразий, сжатый в три больничные палаты, ничем не выделяется. Яма, в которую грязной струей стекает гной, отчаяние и беспомощность Кабула, не нарушает его пыльной гармонии. Стекла разбитых бутылок во дворе госпиталя, трупный запах, смешанный с ароматом его цветочной клумбы, одинаково радостно дышат на солнце, так же покорно и беззаботно смешиваются, как пестрота, вонь и радость жизни на любом восточном базаре.

¹ Фрак (фр.).

Глава шестая

ЗАКРЫТАЯ ЖЕНЩИНА С ЗАКРЫТЫМ РЕБЕНКОМ

В последний день рамазана все женщины Кабула собираются в сад императора Бабура. Все, без различия возраста и общественного положения, приходят на праздник молодой луны; появлением ее лукавого, тоненького серпа кончается тридцатидневный пост. До ворот сада тысячи и тысячи женщин совершенно похожи друг на друга. На них черные покрывала, черные шаровары, черные толстые чулки, даже прорезы глаз затянуты черным кружевом. Идут по знойным дорогам, по тропинкам среди высокой зеленой ржи, через шумный и пестрый базар вереницей безликих, замаскированных привидений. А на руках — праздничные, прекрасные дети, в шапочках, усаженных бумажными бабочками, с глазами, обведенными сурьмой, с бубенчиками и бусами на руках и ногах. Мертвые несут смеющиеся цветы, мертвые от пыли прикрывают полами своих саванов лица детей.

Вокруг ликующая природа, лиловые горы в снежных шапках; душистые луга клевера, сады, из которых доносятся воспламененное дыхание роз. За высокой глиняной стеной Бабура маски исчезают. Ветер подхватывает тысячи белых покрывал в блестках и бумажных цветах. По дорожкам с особенной какой-то грацией, выработанной веками, бегут пышные шаровары, загнутые туфли. И до полу свешиваются похожие на косу черные широкие ленты, прикрепленные к затылку под прозрачной фатой. Богатые горожанки в шелку, с рыхлыми лицами и ленивыми глазами, и женщины племен в лохмотьях, похожие на переодетых королев, по трем лучам-дорожкам подымаются в гору, к легкому летнему дворцу. Там вековые чинары, широкие ручьи, падающее течение которых кажется остановившимся.

Очень молодые женщины бегут к качелям, но большинство садится прямо на землю, шумными рядами, которые понемногу успокаиваются и замолкают. И наконец говор становится похожим на рокот, на зуд веретена, на неподвижный полет тех золотых мух, вибрирующие крылья которых часами стоят в воздухе, точно повисшие в нем, уснувшие, застывшие на месте. Празд-

ник сводится к созерцанию, застоявшиеся женщины, отвыкшие от движения и воздуха, быстро устают от непривычной свободы. Их тянет к коврику, к земле, к привычной позе с поджатыми ногами. Они садятся отдыхать, как птицы, отвыкшие от полета. Тела, рыхлые и белые, как пух, льются в удобные, оплывшие, мягкие движения.

В толпе этих матерей, спокойно опустившихся на землю, есть удивительные лица. Особенно вот эта полная, зрелая, красивая женщина. Свое место она нашла не спеша и, чуть задохнувшись от тех нескольких шагов, которые пришлось пройти от экипажа до тенистых чинар, опустилась на подушку. Затем, успокоившись, подняла лицо, — лицо Марии — чистое, крупное, спокойное, с очень белым, гладким лбом, тонкими бровями и таким грустным, нелюбопытным, ничего не ищущим взглядом, точно эту свою жизнь, похожую на всякую другую, она прожила уже много раз. Ее начало, ее конец — вот как этот сонный водопад с остановившейся водой. И примирилась с безнадежно-ровным, предустановленным, неизменным ее течением. Монотонный крик, который не умолкает весенними ночами; убыль луны и полнолуние; первые цветы и первый снег должны ей внушать животный ужас, которого никак не поймет деловитый, немолодой, зажиточный муж. Она предугадывает черное время, которое течет к дыре и в нее вливается, как осенняя вода, и видит эту глинистую, мутную, мелководную Лету Востока так же спокойно, как дымчатые горы, тепло, восторг зрелой весны, раскинутые перед ней в солнечном сиянии на десятки-десятки неслучайных верст.

Но к какому же зрелищу готовятся толпы зрителей? Ну, хорошо, прошли мы, и нас встретили удивительно дружественными «селянами», испытующим и одобрительным прикосновением старческих рук, улыбками молодых, детским плачем и визгом. Особенно бедняки женщины, пришедшие в Бабур босиком, в лохмотьях, прямо из своей нищенской жизни на голой земле.

Никто не кланялся, не протянулась ни одна рука, — просто приветствовали, показывали, что понимают, мол, кто мы, чьи «ханум», и что между нами есть уже та не выраженная словами инстинктивная социальная симпатия, которой тщетно стараются помешать восточные школы и идеология восточного базара, — симпатии самых

глухонемых масс, какие мне когда-либо приходилось видеть. Нет, зрелище только начинается. Постепенно съезжается знать. И вскоре перед тысячами, перед этим морем крылатых покрывал, лохмотьев, лиц, набеленных белилами, и диких спутанных косм, бронзовых голов, напудренных пылью больших дорог, появляется женская половина купечества. Ярко накрашенные парадные маски, взбитые волосы, ноги в тесных, остроносых башмаках, сочные тела, затиснутые в корсеты и нелепые европейские тряпки, сидят на стульях перед внимательным многотысячным амфитеатром, старающимся на всю жизнь запомнить, как двигалось зеленое перо на красной шляпе, какие жемчуга лежали на парчовой груди, какой чулок обтягивал в этот святой день белую толстую ляжку какой-нибудь дамы. Между зажиточными и нищими некое недоступное для народа пространство, охраняемое мальчиками-солдатами, воспитанниками военной школы. Им даны винтовки, они играют взрослых, стараясь им во всем подражать. С азартом расшалившихся детей тыкают прикладами куда попало, избивают крошечных детей, пинают по шеям, по животам, в грудь, куда попало. Никто не смеет остановить маленьких мужчин. Мальчики, чувствуя полную безнаказанность, орудуют с тем зверским презрением к женщине, которое им привито с молоком матери, которое пронизывает все их воспитание, всю вообще жизнь. И женщина, для которой создан этот праздник, его единственная героиня и устроительница, раз в году снимающая чадру, защищенная от гнета семьи, от мужа, брата, отца, которые почтительно ожидают за воротами со своими баги, осликами и таратайками, в этот день своего редкого торжества становится добычей привилегированных мальчишек, собственных детей, бьющих ее по чем попало, со всей развязностью взрослых, так сказать, от лица отсутствующей половины семьи.

Вокруг бассейна садятся женщины, чтобы петь свои национальные песни. Среди них много кочевниц, диких, оборванных, великолепных, которые вообще раздражают чисто вычесанных курдючных горожанок своей легкой походкой, стройностью, золотым блеском кожи, незнакомой ни с какой чадрой. Они смотрят на дикарок, как овцы, с трудом несущие жирное вымя, поддерживаемое холщовым мешочком между коротких растопыренных ног, на легких джейранов, этих горных стре-

коз с женственными глазами, которых бьют в горах из старинных двустволок. Толстые старухи смотрят на оборванных певиц со своей неизменной, жестокой улыбкой, затем незаметное движение глаз, — и банда маленьких солдат набрасывается на этот хор, тащит и разгоняет.

Поднявшийся ветер несет на толпу тучи едкой желтой, ужасной пыли. И пока женщины, ослепшие от песчаной вьюги, стараются протереть глаза, обмыть лицо в бассейне, их сзади избивают прикладами и уводят прочь. Никто и не думает о защите, никто не возражает. В течение 4-часовой потасовки ни одного гневного жеста, ни одной попытки защитить себя или своих детей от издевательства. Эти взрослые, сильные женщины, которым ничего не стоило бы отшлепать любого из «защитников» общественной безопасности, позволяли себя гнать, как скот, принимали, как нечто должное, все ругательства и синяки. Ни одна не посмела дать отпор 9—10-летнему мужчине. Ни одна, за исключением безумной старухи, которую с гиком и визгом сбросили с веранды на мостовую. Стоя в облаке желтой, раскаленной пыли, перепачканная, вся ржавая, как это солнце, в облаке жгучего песка, она долго кричала что-то сквозь ветер и летучий туман. И, как ни старались ее заглушить, она все-таки сделала свое дело — прокляла.

И далеко от всего этого, от пыли и плача, сияя нечеловеческой красотой, прошла через сад молодая эмирша, прекраснейшая женщина Афганистана.

Глава седьмая

ПРО НАУКУ, АНГЛИЧАН И КАНАТ

Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы, — все злит Амманулу.

Его лоб горит, — сбросив каракулевую шапочку, эмир надевает соломенную шляпу местного производства. Обмахивает залитое краской лицо конским хвостом, вделанным в деревянную ручку.

У придворных кислые лица. Властелин, с которым вообще шутки плохи, содрал с них новенькие европей-

ские костюмы, заставил облечь жирные, трепещущие складками животы в колючую и топорную машинхане — ткань, вырабатываемую первой и пока единственной кабульской фабрикой. На последней охоте, развеселясь, со своей ярко-красной усмешкой взял и вырезал ножницами из кокетливых английских костюмов придворных огромные лохмотья. Министр просвещения уехал домой, прикрывая носовым платком голое колено. Были и другие прорехи, менее пристойные.

Все это очень напоминает московских бояр, возвращавшихся с царевой пирушки в старинные свои дома, кто с урезанной бородой, кто без пол на кафтане. В конце концов ножницы укрепили любовь двора ко всему национальному, — сорокапудовых франтов не узнать сегодня в спартанском одеянии цвета песка, верблюжьей шерсти и помета.

Покончивши с френчами и галифе, властелин принялся за старинное невежество своей страны. У эмира Амманулы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий тому назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Палестине, торговать с папами и Венецией, сжечь множество городов, построив на развалинах новые, с такими же мечетями и дворцами, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады, Царьграда или одной из венецианских метрополий. Но в наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Амманула становится реформатором и обратился к преобразованию и мирному прогрессу. Само собой понятно, что мир этот нужен властелину только как передышка, чтобы подготовить Афганистан к грядущей войне с добрыми соседями... Цивилизация и прогресс используются им, как орудие, которое должно быть обращено именно против этой враждебной европейской культуры и цивилизации. С деревянными стрелами, луками и мечами не повоюешь против винчестеров и крупнов. Для этого нужно привить восточной стране не только известные технические навыки, но и грамотность, способность хотя бы механического подражания и некоторой ориентировки.

В маленьких восточных деспотиях все делается изпод палки.

Слон несет бревна, потому что его колют за ухом острием анка; солдат глотает пыль, обливается потом в

своим верблюжьим мундире, съеживается, как сморчок, под лучами беспощадного солнца, а зимой пухнет от холода и голода, подгоняемый хлыстом и кулаком; палка устраивает в одну ночь сады на голом и мертвом поле, убирает для праздника флагами, коврами и фонариками какую угодно нищету... При помощи этой же палки Амманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением, нечто вроде маленькой Японии,— железный милитаристический каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной, хищной душой. К сожалению, эмир, при всем врожденном уме, при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных вялых династий Востока, сам не получил правильного образования, не имеет полного представления о европейских методах воспитания, о средствах и людях, пригодных для школ вообще.

Во главе военного училища стоит турецкий офицер, ныне генерал, известный в Кабуле своими выходками, увеселяющими придворных, и животною жестокостью в обращении с учениками, отданными в его власть. Во время последнего праздника весны он развлекался тем, что направлял к своим красным генеральским лампасам всю дождевую воду, сбегавшую с верха палатки на мокрые ковры. Генерал сидел посреди лужи, багровый, похожий на пьяного Фальстафа, и заглушал оркестр своим ржанием и непристойностью. Женитьба этого придворного шута произвела огромный скандал даже в Кабуле. Но с подчиненными паша мгновенно изменяется. На головах учеников его разнузданный кулак выстукивает все свои унижения и обиды. Горе воспитаннику, упавшему с лошади во время барьерной скачки, сорвавшемуся с трапеции, оступившемуся на параде.

Итак, в 24 часа приказано устроить просвещение, обучить наукам сотню подростков, всеми корнями вросших в жирный слой купечества и знати. Мальчиков взяли, засадили, били, били и били.

Так поступал в свое время и Петр; но гот, кроме учеников, умел находить и учителей. Его арапа учили профессора Сен-Сира; молодые дворяне, весьма скупоснабженные деньгами, принуждены были пешком стран-

ствовать по Европе от одной знаменитой кафедры к другой. Корабельные же мастера, боцманы и сведущие в математиках приказчики голландских купцов не раз бивали по шее сыновей Шереметьевых и Баратынских. Учили насильственно, раздвинув судорожно стиснутые скулы бояр, где рукоятью кнута, а где и топором, но учили.

К сожалению, отсутствие европейского образования помешало эмиру найти учителей для своей страны. Старые дворцовые дядьки, введчивые вредные муллы, мелкие чиновники министерства иностранных дел, особенно шустрые по части внешних заимствований, взялись уместить в черепа маленьких афганцев всю европейскую премудрость. И наконец наступил день испытания.

Ничего нет легче и радостнее кабульской весны, — наступающей медленно, длящейся бесконечно, такой долгой и томной, от слабой дымки на горах и до торжествующих медовых метелей, когда цветут фруктовые деревья.

Экзамен устроили в одном из садов, под навесом палатки, край которой то обжигало солнцем, то мочило счастливой майской грозой. После нескольких ударов грома, после минутной влажной темноты день становится еще более блистательным, пропитанный запахом земли, оживленный трепетом вишен, дрожащих перистыми белыми ветками от прикосновения пчел, чистотой неба, не запачканного фабричным чадом.

Съехался двор в своих домотканых костюмах. Англичане вошли и сели в небрежнейших позах. Обменялись поклонами, ненавистями и любезностями. Один из придворных вздулся в кресле фиолетово-синей горой жира и нездоровой крови. Испуганные, с черными конскими хвостами на шапках, промаршировали музыканты. За молчали, — стало опять слышно пчел, которым со всех сторон машут яблони белыми рукавами.

Среди тишины: «раз, два, раз, два», — один шагает к палатке и дергается церемониальным маршем мальчик лет четырнадцати, в тесном, жарком мундире. Рука к козырьку, ноги, как палки, внутри налит крахмал, от благоговейного ужаса не может начать. Учитель одергивает его в последнюю минуту: надо стоять не на траве, а на самом краю ковра, разостланного перед зрителями. Затем длинная заученная речь (около часу) о просвещении, о недостигаемом величии ислама, о невин-

ной мусульманской крови, ожидающей возмездия. Все это громким голосом, однообразно, без смысла и выражения, без передышки, без возможности обернуться на свои скачущие мимо слова. Патриотический крик, выученный наизусть.

Меняются ученики, меняется содержание их спичей. Но крик неизменно торжествует. Лица мальчиков сливаются в один рот, судорожно разинутый, испускающий пронзительные и высокопарные хвалыбы. Двор рукоплещет. Эмир радуется, как ребенок, замечательным успехам молодежи. Между тем авторы произносимых учениками приветствий шмыгают в задних рядах, подобрав длинные полы, смакуя свой косвенный успех в кругу старших конюхов, чайдара и особо почтенных соглядатаев. Английский посол прячет двусмысленную улыбку за листком программы и не без искреннего чувства аплодирует этому знанию, еще на пятьдесят лет гарантирующему полную безопасность британской Индии.

Торжество прерывается короткой молитвой на лугу. Толпа опускается равномерными поклонами — один, как все. Молятся заходящему солнцу, цветущим садам, влажной траве, пока звонок не возвещает испытание по химии.

Два смысленных подростка показывают химические опыты; зрители следят за их таинственными манипуляциями с затаенным страхом и любопытством.

Пробирки с красными, белыми, зелеными жидкостями. Мальчик потрясает ими над седобородыми головами мулл, перед круглыми, выпуклыми, влажными глазами придворных. «Да поможет мне господь! Соединяю две бесцветные жидкости, и — получается красное». Сенсация. В благоговейной тишине хихикают молодые атташе английского посольства, и деловито и нежно жужжат пчелы.

Вспыхивают какие-то газы, порошки превращаются в воду, вода в огонь; несколько миниатюрных взрывов довершают успех. Что, почему и зачем — неизвестно. Да никто и не интересуется причинами. Эмир доволен: он страстно любит треск, огонь и осколки. Стороной посматривает на англичан: вот, дескать, эти дети узнали все ваши секреты и чудеса; дайте срок, они и вас взорвут на воздух.

За ученой алхимией — хоровое пение. За пением — наизусть выученная, заранее решенная задача. Крохот-

ные мальчики, лет 5—6, выступающие правильным военным шагом, декламируют на совесть длинные сладкие мадригалы. И напоследок — канат. Его величество не может без игры и азарта.

Праздник ему не в праздник, если закладка мечети обойдется без конского скаканья или ученое торжество — без игры в канат.

Эмир — большой человек, настоящий герой азиатского Возрождения.

И, как некогда флорентинцам и римлянам, милы ему в равной степени алхимия и ристалища. Ученики всех разрядов, без различия премудрости и отметок, делятся на две равные партии и тянут в противоположные стороны концы толстой веревки.

Двор и дипломатический корпус держат пари на молодых Менделеевых и будущих Реклю, а весеннее солнце благодатно смеется со своей голубой башни.

Глава восьмая

НАУКА В ГАРЕМЕ

I

Если прищурить глаза или смотреть через занавес солнечного света, может показаться, что это выпускной акт института, — так этот зал с колоннами, ряды нарядных девочек, эстрада с важными начальствующими дамами похожи на старый Смольный.

Институтки наших возили в старомодных каретах, а этот маленький женский народец приехал на экзамен в гроыхающем деревянном ящике с опущенными занавесками, запряженном парой флегматических серебристых волов. Просвещение вообще шагает медленно, но вряд ли есть у него упряжка тише этих волооких, добрых и невозмутимых животных.

Наших институток охраняли почти бесполые классные дамы, — здесь среди свежих детских лиц мелькают безволосые, желтые и опухшие маски кастратов. Есть какая-то наглая животная развязность в их движениях: придворные лакеи и полулюди, они без cere-

мении копошатся в шелесте женских юбок, сплетничают и соглядатайствуют, толкают локтями более бедных учениц, через их головы подают чай или упавший платок своим господам,— словом, вносят в учебную комнату весь душок спальни, всю двусмысленность своего привилегированного положения.

Зал разделен эстрадой на две половины. Внизу рядами ученицы в пестрых форменных платьях, кончающие сегодня полный курс своего образования (один год), девушки-невесты в шелковых желтых платьях, с легкой белой фатой на растрепанных черных волосах. У них тяжелые, преждевременно созревшие груди, горячие глаза восточных женщин и лицемерная чопорность богатейших невест базара, жестокая детская спесь и в то же время длинные шершавые руки, пальцы в чернильных пятнах, застенчивая походка школьниц. Возле девушек «мунши» (учительница) в европейской громадной шляпе и, как мне кажется издали, с орденом Красного Знамени на пышной груди. Кончающих всего пятнадцать, все остальные гораздо моложе — от шести до восьми лет. Эти прелестны. Совсем маленькие, они не умеют еще ханжески опускать глаза, не рассматривают с нездоровым любопытством трех желторожих дядей, каким-то чудом попавших на женскую половину, не поджимают губы и не складывают ладони блюдечком при виде Корана.

В толпе детей, тяжело переступая ногами слоновой толщины, прогуливаются старухи мамки. Это пожилые вольноотпущенницы, у которых на желтом морщинистом лбу, под складками прозрачной ткани еще видна голубоватая звездочка,— знак их рабства, упраздненного всего три года тому назад,— память далекой родины — Индии, Аравии или Турции. Для этих старух, сохранивших свой старинный костюм,— на плечах дивной яркости кашемировую шаль, на голове белоснежную фату и такие же шаровары, обшитые внизу гремушками,— этот первый в Афганистане праздник женского просвещения — нечто непостижимое и незабываемое.

С трясущимися головами, с глазами, которые туманит дряхлость и волнение, они пробираются вперед, слушают, смутно чувствуя, что с этим днем их старая жизнь окончена. Они утирают слезы и сквозь слезы улыбаются не то чуждому будущему, не то кивают смерти, которая стоит и ждет за плечами этих девочек. Тол-

стые и добродушные слоники умиленно дремлют, когда солнцу сквозь вечно юные узоры индийской одежды удастся прогреть горы их ленивого жира,—спины и груди, раздутые до чудовищных пределов, лоснящиеся под бледно-розовым, сиреневым и лимонным шелком. Но есть и другие: сухие и подвижные, до сих пор сохранившие следы когда-то небывалой красоты. Их брови выгнуты, как агатовые арки на высохшем лбу, их глаза лежат в глубине сухих впадин, как черные ночные драгоценности. Это те, которые умели в жизни только любить и создали целую науку любви, целый культ нежных ухищрений: они подбирали оттенки страстей, как пестрые шелка на праздничном ковре. Они состарились, но их лица сохранили какую-то мудрую грацию,—улыбку жриц, служивших мучительному, но прекрасному богу прихоти. И вдруг вместо того чтобы учить девушек тайнам взгляда и улыбки, искусству пляски, сопровождаемой двумя серебряными гремушками, двумя поющими у пояса серебряными голубями, их учат решать задачи с ценой на ячмень, сабзу и рис. Старые куртизанки неприязненно позванивают запястьями, шелестят своими шелками, как опавшими осенними листьями, и думают о том, что из этих воспитанниц не выйдет ни одной царицы улья, способной жалить и любить, расточать смерть и счастье, похожие на старинные песни.

С нашей точки зрения, то, чему научили этих девочек, неверно и немного страшно. На карте они знают только границы старых, когда-то непобедимых мусульманских царств и, пожалуй, еще те эфемерные пределы, которые до сих пор грезятся яростным панисламистам. Девочка четырнадцати лет отвечает урок по географии. Она находит на карте всего мира крохотный Тунис, Алжир, Марокко и Бухару. Для нее это страны, подпавшие под рабское иго неверных и ожидающие нового пророка и воина, который бы вырвал их из-под европейской пяты. Черные глаза горят фанатическим огнем, а крохотная смуглая ручка грозно сжимается над двумя грешными, неправовыми полушариями. Придворные дамы, преподавательницы, старушки и даже евнухи оттирают слезы. Мы, представительницы другого, презренного человечества, сидим очень тихо, сочувственно киваем маленькому фанатику в желтом шелку и втихомолку радуемся, что время великих Аббасидов и Омай-

ядов прошло и вечность успела перевести свою стрелку на четыре века. Мертвые не встают, песок не отдаст старой крови, и мы не воюем за гроб господень.

Вот она, первая розовая заря просвещенного абсолютизма, брезжащая над Кабулом. Мелькают громкие слова: прогресс, культура, автомобиль, телефон, телеграф; кроме того, подразумевается носовой платок и зубной врач, уже прибивший на базаре свою драматическую вывеску. Затем, в перерыве между двух речей, вторая девочка решает у доски арифметическую задачу. Лицо ее серьезно, освещено изнутри мыслью, ей не до этикета, не до дам, даже не до награды. Мнет в руке мелок, старательно выводит свои каракули, путается, думает, пальцем стирает цифры, — из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготавливает нечто, через какие-нибудь сто лет имеющее взорвать на воздух и этот зал с колоннами, и непроницаемые занавески гарема. Наконец задача решена, и девочка, поцеловав руку эмирши и получив от нее подарок, спустилась с трибуны. Но ее место занимает сама Арифметика, чтобы сказать несколько слов о своей глубине и пользе. Да, Арифметика, всем знакомая и памятная с детских лет. Ее чело голо и желто. Глянцевитые волосы примазаны к костистому черепу, полному вычислений. Глаза спрятаны за синие автомобильные очки. Свет играет то на одном, то на другом стеклянном зрачке, что придает этой науке сходство со смертью. Совершенная абстрактность этой фигуры усиливается ее удивительным красочным нарядом. Поверх волос, очков и желтых скул струится чадра нежнейшего сиреневого цвета, а плечи, деревянная грудь и руки с пальцами, сухими, как кусочки мела, обтянуты ярко-зеленым, искристым шелком. Дети в полной панике не сводят глаз с лица математического фантома, а старушки наложницы, дожившие свой век в неге и пораженные таким безобразием, при столь великом красноречии снова чувствуют себя растроганными и утирают слезы. И весеннее солнце золотит яркие шелка, детские подвижные лица и Математику, ее круглые глаза-луны, — словом, прошлое и будущее.

Совсем в другом роде директриса училища. Это — немолодая уже женщина, с правильными, даже приятными чертами лица. У нее спокойный, внимательный взгляд, привыкший видеть многое, ничему не удивляясь.

Кружевное покрывало не закрывает ее умного лба и осторожной улыбки. Как только ее зоркий черный глаз замечает где-нибудь на ковре носовой платок, оброненный Шах-Заде-Ханум, или пустую чайную чашку, сейчас же величавость сменяется величайшей торопливостью. Она спешит поймать и поцеловать на лету руку и вложить в это прикосновение все тонкие оттенки интриги, разделяющей двор.

Дети, удостоенные награды, вызываются на трибуну по особому списку. При этом учительницы тщательно справляются о положении и имени их отцов. «Дочь сердара... дочь генерала... дочь мусташира...» Между эстрадой и залом устанавливается патриархальный тон: придворные хорошо знают дворянство, делают покровительственные или критические замечания по поводу известных семей, имен, лиц. Дети напряженно слушают то с тайным соревнованием, то с недобрый смехом, когда шутки касаются какого-нибудь неуклюжего червячка, дикой и некрасивой девочки из далеких горных кишлаков.

Наконец программа приходит к концу. Прочитаны молитвы, показаны европейские рукоделия, в тысячу раз хуже афганских вышивок, продаваемых на базаре, тех простых и ярких орнаментов, которыми обшиты шаровары и широкие шелковые рукава служанок. География и Арифметика унесены кастратами, и молоденькие дамы начинают зевать в корсетах, безжалостно сжимающих их пышные восточные бедра.

Черные европейские платья и шляпы двора тонут в живом потоке детей, похожих на смуглые ландыши, в белых облачках-фатах, в пестрых старинных шالях, в красном, зеленом, голубом и желтом, такой неувядающей яркости, каких не выдумать и не сделать теперь никому. И завтрак, к счастью, накрыт не на столах, а прямо на полу. По коврам разостланы полотняные скатерти, и среди блюд в одних чулках бегают служанки, в своих пестрых шароварах с бубенчиками у щиколоток. Ни стульев, ни подушек,— все садятся на корточки и едят руками, старухи рвут на части целых курят, утирают рот пальцами, на которых блестят брильянты и капли бараньего жира. Пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости. Рис осыпается из их медленно жующих полных ртов на исполинские груди, на равномерно дышащие животы. Ах, жизнь все

еще хороша, когда плов заправлен шафраном, а барабаны ножки утопают в янтарном, клейком соку.

Поодаль танцовщица раскладывает свой ковер, ей четырнадцать или пятнадцать лет, одета она — увы! — в европейское платье, но грива ее распущенных волос мрачна, тяжела и длинна, как ручей, падающий в горах с одного угрюмого камня на другой. Лицо крупное, правильное и яркое. Старая индуска отбивает такт на барабанчике своими сухими ногтями, выкрашенными в красный цвет, — это мать, всю жизнь плясавшая на больших дорогах свой танец, древний, как религия, пока голод и старость не сделали ее похожей на мертвое дерево.

У танцующей в руках две серебряные гремушки. Они шелкают, как молодые птицы, прыгающие по снегу, но уже чувствующие раннюю весну.

Как она пляшет! Почти не двигаясь, едва переступая белыми тяжелыми ногами. Но при каждом ударе барабанчика ее плечи дрожат и опускаются, опускаются длинные ресницы, опускаются руки с их серебряной музыкой. И вдруг в томлении вздрагивает ее целомудренная грудь, — так внезапно и страстно, что сердце летит в какую-то невыразимую пропасть. А она смотрит, скосив пристальные, длинные зрачки, улыбаясь красными, как у бога любви, губами, которые одни цветут костром на снежном, неподвижном, окаменелом лице. Она чиста и молода, как ее серебряные игрушки, но каждое движение ее глаз и сосцов причиняет физическую боль своим гордым, неподвижным и неудержимым сладострастием.

Какое счастье! Азия упорно не хочет умирать! Вот она снова прорвалась наружу и околдовывает тоскливую иностранщину.

Кончилась пляска, и возобновился прерванный французский разговор, — но она, старая, как мир, неувядающая, держит кальян желтыми маленькими ручками рабыни и подносит этот тонкий дым к губам курильщицы с такой зыбкой, спокойной усмешкой, с таким мерцанием опущенных ресниц, точно ей совсем не страшен ни беспламенный свет, ни знаменитое просвещение: надо всем этим чертит неуловимые, насмешливые круги ее кальян, переходящий из столетия в столетие. И когда афганки одни, без чужих наблюдательных глаз, они томятся, скучают, торжественно хоронят свое неумолимо

и бесцельно уходящее время, как истые азиатки, как их матери и бабки, жившие в давно умершие времена, когда были молоды стены Кабула, построенные на непроходимой высоте.

II

Небольшой дворец на берегу реки, оправленный, как и вся страна, в тройное кольцо черных холмов, снежных гор и облаков. Они сидят на полу стеклянной веранды, поджав ноги, покуривая свой кальян. За окном осень, река течет желтая, золотисто-глинистая среди мертвого камыша в пустых ровных берегах. Ни одного живого существа не видно до самых гор, одни пески, одни ровные, друг над другом вырастающие конусы и стая воронов, громадных, медленно плывущих против ветра в пустыню за добычей. Все женщины в черном шелку, без краски на лице, с небрежно падающими волосами. Они — тоже осень. Пришло время, когда надо отдать свой оконченный год, — уже мертвый, потерянный год, — как его отдают хлеба, виноградники и старые постройки, бросающие вечности свои камни, потому что у них нет ничего другого. Желтоватые зори в горах, подмерзшие, обветренные поля, желтый поток и эти запертые женщины, пышно и безрадостно расточающие молодость, жизнь, будущее.

Иногда Азия прорывается и на официальных длинных вечерах. Благодаря какой-нибудь случайности в зале тухнет электричество. Исчезают паркеты, кресла Louis XVI, пропадает в темноте модный немой рояль, изукрашенный золотом, неподвижный, как гробница.

Две-три служанки прибегают со своими ручными фонариками, и вдруг зала играет, светится и трепещет. Ожили старинные камни, чудовищные диадемы, ожерелья, подвески и запястья, — все тяжеловесные, в Индии и Персии с бою добытые драгоценности. На шеях, тяжелых и белых, как мраморные глыбы, струится жидкий огонь; голубоватое и белое зарево на затылках, отягощенных узлами волос, литых из темного металла; драгоценная изморозь по изгибам ленивых рук. Сераджуль, мать эмира, потребовала свой старинный бубен. Принесли маленькую фисгармонию, два легких барабаника, скрипку с восемью струнами. Европа забыта. Нетерпеливо отбрасывая шлейфы, освобождая ноги от

неудобной обуви, стащив с рук перчатки, молодые женщины спрыгивают на пол со своих стульев, — становятся тем, что они есть на самом деле: скучающими, прелестными, ленивыми и веселыми, жестокими и беззаботными женщинами. Все они музыкальны; барабаны издают хриплую гамму, фисгармония тянет плясовую так медленно, так величаво, как на закате волны среди полей полный груз спелого, как шелк, шуршащего зерна. За музыкой пляска, постепенно ускоряющийся хоровод, в котором танцующие повторяют одни и те же порывистые и ясные движения. В этой всплескивающей руками, закидывающей назад голову карусели есть что-то от вакхической пляски «племен».

III

Началась весна. Снег еще не совсем растаял, но все ручьи клокочут, их мутные воды пахнут камнями, мхом, горной свежестью. И в этом диком внешнем запахе все напоминает аромат моря. Мельницы сердито шумят, бурный бег и плеск набухшей воды заглушает жемчужное шелестенье жерновов. Тополя побелели, как молоко, засветились своей серебряной чашей на бесконечно нежном, неуловимо бирюзовом небе. На бархатных озимых полях ярко-красные дети и подростки выпалывают сорную траву.

Это время весенних праздников, когда тысячи людей высыпают за город, к каруселям и чайхане, струящим в чистом воздухе запах легкого угольного жара; время детей, которых отцы на плечах несут на «тамашу»; время трещоток, свистулк, маленьких идолов с золотыми глазками, бумажных мечетей, фиолетовых деревянных лошадей с оранжевой головой и зелеными ногами.

Скалы вдоль дороги унижены людьми, на каменном карнизе, на ковре шелкового, темно-синего неба они выделяются, как цветные изваяния. Склоны желтых гор сплошь залиты людьми, — там смотрят борьбу и скачки. Верблюды, груженные хлопком, с трудом идут своей трудной и однообразной дорогой. Среди толпы, оставляя за собой легкий дымок пыли, поднятой краем слепого покрывала, нигде не останавливаясь, ни на что не оборачиваясь, проходят женщины двора.

1. ВАНДЕРЛИП В РСФСР

Ему шестьдесят лет, этому старому Вандерлипу, но несметные миллионы не дают ему остановиться, перевести дух, подумать о спасении своей запыхавшейся души.

Золотой доллар бежит вокруг мира, а за ним гениальный эксплуататор, торговец красными, желтыми и белыми душами, великий Вандерлип. Доллар капризен, более прихотлив и взбалмошен, чем старое, классическое колесо счастья.

Ему не спится в недрах нескораемых шкафов, в блестящем улье банков. Он выскальзывает из верных, обеспеченных предприятий, перекипает червонной пеной через края разумной спекуляции. Американский золотой прыгает все ниже и, промелькнув соблазнительной тенью через кроваво-грязное игорное поле Европы, приводит великодержавного откупщика в кабинет Ленина.

И вот старый надуватель, корректный и набожный, сидит и торгует у гения революции заповедные лесные трущобы Сибири и Архангельска, и каспийскую саженную осетрину, пространство и время немереных русских дорог, и нефть, и соль, и уголь, и даже если красное станет розовым, если революции не миновать буржуазного чистилища, то и немного рабочего и мужицкого пота, до которого такой охотник этот американский шалун, этот веселый, звонкий, солнечно смеющийся доллар.

Что между ними говорено,—этого, собственно, никто хорошенько не знает. Как они сидели, друг против друга, этот большой, большущий разбойник в оболочке добровольного квакера, с поджатыми, бритыми бабьими губами, с вместительным, коротко остриженным седым черепом бухгалтера, подсчитавшего все расходы и приходы вселенной, сумевшего взять честный процент со всех банкротов, со всех могил «неизвестного солдата» и всех победителей мира,—этот великолепный Вандерлип, непринужденно говоривший дерзости королям и пресмыкавшимся президентам республик, этот Вандерлип, у которого только глаза, молодые, неустрашимые глаза объездчика степных лошадей, говорят правду, и Ленин.

Вероятно, Вандерлип не сразу понял, что такое Ленин.

Брал, грубо соблазнял, заманивал, может быть, даже разложил на письменном столе веленевые, с золотыми печатями, аттестации своих трестов, украшенные подписями королей и принцев, величеств угольных, суконных, машинных и пушечных. Но когда Ильич, наконец, засмеялся... когда старый американец вдруг почувствовал, что сидит в своем кресле голый, как король из сказки Андерсена, до того голый, что его собеседнику видны все цифры и тайные выкладки, все вожелдения, как пчелы, роящиеся в клетках его мозга, — тогда Вандерлип перестал врать. Стал прост, огромен, как его огромные предприятия, смел и откровенен.

И пошел на приступ.

— Я покупаю голод. Сколько вы за это просите?

...За умирающих детей, за ваши поля без машин, за разрушенные дома, за все пути, покрытые снегом и песком, за все язвы вашей дьявольской революции, за ее отдых и покой, за безопасность завтрашнего дня, говорите скорее, скидывайте, Владимир Ильич, скидывайте на ваших красных счетах!..

И божественный доллар заиграл, запел и зазвенел в спартанском кабинете. Несколько слов, росчерк пера, коммунизм, отступивший лет на сто из мира действительности в область утопий и золотого идеализма — и капитал оплодотворяет, вдыхает новые силы, брызжет живой водой, дает все готовое вместо своего, трудного, все наново изобретающего строительства.

Божественная легкость купли и продажи — интернационал вольных денег и вольной торговли.

Прощение, примирение, братская помощь России. Не побежденной, — нет, ее честь должна быть пощажена, — а лишь разумно уступившей голоду, стихиям, милосердию. Суровые венки Октября и трех лет гражданской войны — на алтаре гуманного человеколюбия. Маркс, проданный Вандерлипу ради спасения голодающих детей.

— И завтра — вот завтра, смотрите, Ленин, вы, душа фабрик и фабричной эры, вы, отец машин, вы, идеолог мирового рабочего объединения. Ваше рабочее, ваше пролетарское сердце не устоит перед трудовым раем, который я, Вандерлип, принесу Российской республике в обмен на пустые и уже отжившие социальные бредни...

...Вот, смотрите, ваша РСФСР,— и доллар поет и рисует, — нечто большее, чем Америка Уитмена, — машины, и уголь, и нефть..

...Урал, раскованный, как пещера Аладдина, — изумруд, сапфир, алмаз и таинственный радий, в котором смерть и здоровье, мертвый огонь разрушения и само исцеляющее солнце.

Желтый Каспий, весь в переливчатых пятнах нефти, горячая Астрахань, заваленная рисом и хлопком Персии, коврами, вином, оглушенная криком верблюдов, изнемогающих под своими вьюками.

Пески ожили, и до самого Мертвого моря — виноградники и сады: Закаспийский суровый край цветет, как его миндальные рощи ранней весной.

И Сибирь — ее золотая руда, которую до сих пор мелочно и жестоко воровали, насилуя и оскорбляя землю.

Эврика!

Новое Эльдorado у берегов Ледовитого океана, золото, текущее густыми струями вдоль великих северных рек. И шум столетней хвои. Тайга, с ее шкурами, салом, драгоценными породами деревьев, брошенная на европейскую биржу, как скифская невольница, неслыханная, могучая и плодоносная.

Ведь это спасение Европы, это омоложение усталого белого человечества.

В молочных реках, в смолистом море лесов, в сверкании девственных руд — будущее, новый эпос, новая религия победоносного труда и творческого капитала!

...Ленин, вы придумали электрификацию,— я ее осуществлю! Вместе, только вместе, мы построим ваш машинный рай, вашу Россию, которая согнется под тяжестью железных путей, чьи снега поголубеют, озаренные спазматической, волевой, электрической вспышкой.

Ваши фабрики закипят, ваши верфи смешают с холодным и чистым воздухом взморья утренний, соленый, петровский стук молотков. Ваши гавани оживут, и смолой, и жизнью, и молодым богатством повеет от высоких тюков, сложенных бесконечными рядами, от яростного воя сирен, от плеска морской воды, кипящей между гранитом петербургских набережных и обветренными бортами океанских кораблей.

...Вы всегда были практиком, Ленин, три года вы смывали кровью и слезами ненужные теории — законы,

коварные росчерки упраздненных обязательств и договоров, заключенных вашей царской, воистину идиотской дипломатией.

...Будьте же практиком и теперь, не приносите в жертву теории, хотя бы и марксистской, великую реальность рабочей республики.

...Конечно, мы были не правы,— мы вас не понимали и недооценивали интервенции, и все такое... Больше этого не будет. Но по-честному — и вы бросьте-ка свои эксперименты с частной собственностью и Третьим Интернационалом.

...Вы огромный человек, Ленин, у вас изумительный череп, чисто американский. Теперь, когда недоразумения окончены, я могу сознаться: эта ваша спекуляция с социальной революцией гениально была придумана. И совершенно ново, неповторимо оригинально. Даже мой доллар пошатнулся, не говоря уже об их падучем франке и прочее.

...Как деловой человек, советую не платить никаких долгов, — запрашивайте, играйте еще смелее. Они уступят.

...Но в такой игре, как ваша, нельзя быть одному. Вы и я — мы сговоримся, мы должны стать компаньонами, и тогда...— Тут золотой запел остро и пронзительно, как рожок перед атакой, как кнут, взвившийся над головой скрежещущего мира, как осторожный ключ, который тюремщик старается повернуть в заржавелой, давно не отмыкавшейся двери.

Может быть, в кабинете стало темно, незаметно нагнулись сумерки, окна засинели, Москва замигала первыми фонарями, и полились колокола. Прежде чем ответить, Владимир Ильич повернул выключатель, — и вот свет.

Перед Вандерлипом, успевшим принять свое приличное иностранное выражение, — лицо Ленина с его татарскими, несколько раскосыми глазами, которые смеются из-под большого лба. Кажется, это вовсе не лоб, а белая березовая кора, лохмато надвинутая на самые эти языческие, светлые, спокойно-веселые глаза. Из своего дупла они теперь смеются, как на Ивана Купалу.

Вандерлип невольно встал, поклонился, как после оконченной дуэли, и взял со стола шляпу и трость.

Из Москвы миллионы Вандерлипа погнали его на Восток.

Как и все старейшие завоеватели, он стал думать о походе на Азию, о чудовищном объединении Китая, Афганистана, Персии, Месопотамии и Турции в единую банковскую и железнодорожную державу.

Замостить шпалами дороги Александра Великого, Моголов и Цезарей, включить в единую электрическую цепь все разрозненные куски мусульманских государств, охваченных национальным брожением, связать все рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, открыть Америке новые ворота в Азию, проложить ее товарам триумфальный путь через весь Восток. Убить англо-индийскую торговлю одним ударом, кончить ее, уничтожить, как хороший боец бросает в пыль быка. Этой блестящей шпагой, этим прямым, в глубину голубой Азии убегающим клинком будет великая магистраль. Она вонзится не только в золотой затылок Индии,— нет, мечты Вандерлипа смелее: она уложит на лопатки и ликвидирует всю восточную торговлю Англии, она задушит ее рынки, наводнив их всепроникающей, всемогущей дешевкой.

От Шанхая до Кашгара, от Тегерана до Константинополя в реве паровозов, пересекающих пустыню, прозвучит победоносный гимн дешевой спички и дешевого чулка, общедоступной бритвы и непобедимых в своем ничтожестве подтяжек. И взамен всего этого Америка возьмет чистый кудрявый хлопок, жемчужный рис, раздвоенный посередине, как нежный подбородок, и мосульскую нефть, эту черную душу движения, скорости и силы.

Под треск и вой обанкротившихся английских предприятий, под широкий, непрерывный водопадный гул, с которым американский капитал ринется в песчаные русла Азии, под раскаты новой войны и навязав истории свои акции и векселя на сто лет вперед, — вот как хочет кончить Вандерлип, и вот почему он сегодня гостит в Кабуле, столице Афганистана.

Время Вандерлипа идет со скоростью курьерского поезда. Слепое, оно дает сильный крен на поворотах, летит на одном колесе, содрогается, скрипит, и опять вперед—по кратчайшей математической линии. Вандер-

лип живет в своих несущихся часах, днях и неделях, как в вагоне международного общества. Всегда спокойный, прямой, чисто выбритый и немного пыльный.

Скорость движения и размах мировых авантюр не мешают ему посасывать трубку, прочитывать послеобеденную газету и совершать длинные верховые прогулки. Афганский офицер, сопровождающий его, от усталости болтает ногами, ерзает, сидит на шее лошади. Американинец ничего,— крепко держит сухими коленями своего жеребца, точно пачку деловых бумаг патентованным зажимом. Не потеет и не устает.

Бросив повод солдату, карабкается на горы, набивает карманы и седельные сумки камнями, нюхает и пробует мутные воды минеральных источников. Затем душ, жирно-сладкие, пряные кушанья восточной кухни, с которыми его железный желудок отлично справляется, а вечером трубка и граммофон, радостно горланящий в сумерки Гюлистана: «Everybody is crazy on the fox-trot»¹.

Вандерлипу безразлично, по какой стране, среди каких людей летит его курьерский. Желтые, красные, советские пальмы, тундра или пески,— лишь бы дела шли без опоздания, ровно стуча маслянистыми колесами, едва переводя дух на остановках, шумно дыша широкой, высоко поднятой паровозной грудью. Все по расписанию, без потери времени, без лишнего слов. И вдруг долгая, мучительная, нелепая остановка в Кабуле.

Темп Вандерлипа тонет в сыпучих песках восточного красноречия, в лени и слащавой медлительности афганцев, как поезд, сошедший с рельсов.

Ему назначают свидание в министерстве. Он едет туда, вооруженный цифрами, короткими и резкими доводами, скупыми словами, пропускающими торопливую мысль, как турникет запоздалого пассажира.

Но ему предлагают чай. Но его угощают сладкой дыней и справляются, используя при этом пернатую строку Саади, о драгоценном здоровье американского друга.

Вандерлип в двадцати местах прерывает это сладкое марево... Он вводит в него свои увесистые рычаги, он со всей силой нажимает на их рукоятки.

Напрасно. Дым кальяна и любезность по-прежнему

¹ С ума все походили от фокстрота (англ.).

неуязвимы, коварные удары логики бьют улыбающийся воздух, практический Вандерлип три часа сражается с уклончивым призраком, он сам себе смешон, как Дон-Кихот, его часы твердят, что сегодняшний день просто потерян, и поезд жизни, прождав Вандерлипа одну минуту восемнадцать секунд, ушел без него.

Верблюды, жаркое небо, богатый базар. Вышивальщики и ювелиры, седельщики и гончары, шелк, кашмирские, персидские и бухарские ковры, тысяча живых пустьяков, солнечные пятна и густая тень, в которой развешано старинное оружие и качаются перепелки в своих остроконечных клетках, похожих на колдовские шапки. Они качаются в них и, не видя солнца, поют о вечной весне.

Вандерлип осматривает базар, осматривает сады и злится. В самом деле, в других странах он привык к быстрому, экономному труду. Сорок лет он снимал с дикарей их драгоценные цветные шкуры и ни разу не натолкнулся на праздное любопытство и тем более на неуместное сопротивление. Он даже не сдирал, а только чуть-чуть подпарывал на спине опекаемых их скифские шубы, и все эти желтые и черные, коричневые и красные услужливо сами из них вылезали, получая взамен манжеты на ноги, кольцо с фальшивым камнем в нос, бутылку джиджера и вообще прогресс. И вдруг эти афганцы не хотят, торгуются часами, требуют особой платы за свои пустыри, непроходимые горы, лишенные всякой ценности, за свою грязь, невежество и голь. Вандерлип переходит в контратаку, и тотчас министерство исчезает в дымке пустопорожней любезности, и опять миллионер мечется по знойным и пыльным улицам, не спит по ночам, глотает хину и лед. А между тем он чувствует, что за алчностью и подозрительностью, готовой часами цепляться за всякую запятую, за упорным нежеланием понять свои, а главное, его, Вандерлипа, выгоды, прячется какая-то сила, нечто цельное, самоуверенное, неподкупное. Да, неподкупное, несмотря на повальное взяточничество чиновников. Неподкупное, несмотря на бедность и все растущие расходы на армию, школы и новые суды. Минутами кажется: вот она, победа! К американскому карману уже тянется трусливая рука, ее темные ногти, как голодные присоски. Но нечто более сильное, чем жажда стяжания, какая-то неведомая Вандерлипу стихия отбрасывает ее назад, заставляет жерт-

зовать собой и уклоняться даже там, где тысячи неутоленных хотений кричат о золоте.

«И все-таки,— думает Вандерлип,— кто знает? Посмотрим».

Уже усталый, уже больной многодневными перерывами между деловыми свиданиями, он все-таки едет в загородную резиденцию эмира на восьмидневный праздник независимости. Клопоча от скрытого нетерпения, он любит скачками слонов, сражением баранов, стрельбой в цель и сладко-ехидной междоусобицей вельмож. Часы же в жилетном кармане выговаривают одну за другой потерянные минуты.

Вандерлипу отведена палатка на берегу искусственного озера, вокруг которой без дела слоняется злобный и мизантропический пеликан, порождение не восточной, отчетливой и целесообразной природы, но западной, знающей возмутительную прелесть химер.

Вокруг миллионера Вандерлипа, дельца и джентльмена, в течение недели бродит эта наглая птица, этот отброс бодлеровской фантазии, которая шипит на его желтые сапоги, щелкая огромным полым клювом и злобно блестя маленькими белыми, как у мертвой рыбы, глазками. Пеликан мальтретирует¹ Вандерлипа! Вандерлип принужден терпеть общество пеликана, в минуту гнева выворачивающего наружу свои красные внутренности, целый обширный зоб.

Вандерлип болен. Он лежит в палатке и обдумывает последний решительный натиск на своего мягкого, как студень, противника. Между двух малярийных приступов он видит перед собой все подробности дела, которое должно повлиять на историю, и убеждает себя в том, что это огромное, сложнейшее предприятие, назревающее, как промышленная война, как открытие нового золотоносного полюса, вокруг которого послушно завертится весь капиталистический мир, не может поскользнуться на недоверии афганцев, как на скользкой лапе этого гнусного пеликана

«Уэк, — кричит пеликан, — уэк, уэк», — и щелкает клювом.

Для того чтобы понять дальнейшую неудачу Вандерлипа, надо знать, что такое праздник независимости в Афганистане.

¹ Мальтретировать — дурно обращаться.

Правительство и иностранные послы придают ему официальный оттенок. Слоны, маневры, бега и речи не выходят из рамок обычной на Востоке «тамаши». И не в них неотразимая прелесть и торжественность этих дней, посвященных независимости.

Когда эмир на четвертый день вместо мундира появляется в одежде пограничных племен: в серой чалме, в темно-синей холщовой куртке, перекрещенной патронташем, в сандалиях на босу ногу,— тогда весь Кабул знает, что начинается жгучая, мистическая и глубоко национальная часть праздника. Завидя за плечами Аманулы-хана старинную винтовку пограничников, английский посол обычно ощущает легкое недомогание и, ласково извинившись, исчезает в облаке автомобильной пыли. Гудок его «ройса» провожают хриплые, ненавидящие рожки воинственных племен, сто лет пролежавших, как не тающий снег, в глубоких складках Гиндукуша.

С утра вазиры и афридии приводят себя в состояние воинственного возбуждения, которое к четырем-пяти часам дня доходит до экстаза. Они пляшут могучими ястребиными кругами, боевыми братствами. Каждое племя под своим треугольным знаменем, обожженным в пороховом дыму восстаний и набегов. Блестящие черные волосы танцоров взлетают и опускаются опять, как стая воронов над полем битвы. Они кричат, палимые тропическим солнцем и этой музыкой, обжигающей внутренности.

В середине круга, в середине черного колеса, в венке из острых волчьих криков ходит один, холодный, острый и жестокий. Его голова выбрита, и три клока волос на голом черепе напоминают облик древних китайских воинов. В солнечный день среди тысячной толпы он танцует ночь, пустыню и одинокое преследование. Потом убийство и радость черного от крови меча. Осушая его в песке, целуя трепетный свет и черноту его старинных изречений, ходит воин среди круга, ничего не видя, но безошибочно быстрый и вкрадчивый, как померь человека и желтой, легкой, могучей кошки.

Полдень, закат, ночь...

Он все ходит, как неумолимый жнец, приземистый, крепкий и неторопливый. Его меч о двух лезвиях, расколотое пополам новолуние, караулит и казнит, горит кровью бесчисленных ран, вызывает из земли противника за противником и всех убивает. И вот что самое

главное. Танец племен — не старинный обряд, не художественная традиция, а правда. Они танцуют то, что вчера было у Хайберского прохода, что завтра может повториться под стенами форта Макин.

Они танцуют не просто войну, но войну с Англией. Тени, падающие под мечом одинокого воина,— это реальные, живые люди в белых шлемах и пыльном хаки, это ныне здравствующие мистер Хемфрис и сэр Добс, это убитый пятьдесят лет назад в Кабуле генерал Каваньяри,— это они и тысячи других, безыменных, без вести пропавших в джунглях и на перевалах, в песках Афганистана, Памира и Индии.

Под ногами пляшущих вазирсв клубится не пыль, а полчища, тучи саранчи цвета хаки, налетевшей с юга и запада, поразившей самые маленькие, запрятанные в горах пастбища пограничников, отравившие их колодцы своими безликими останками и ползущие дальше, через пустыни, вечный снег и голые камни. Племена топчут их ногами, но бесчисленные, безыменные истребители просачиваются везде, им нет числа и меры, конца и названия. Они — тли, им не опасен меч, выкованный во времена Александра... Тогда вдруг все круги пляшущих размыкаются, музыка сливается в пламенный рев, воины — в одну голую горячую стену, все черные взлетающие гривы — в один грозовой черно-синий пламень, мечи над головой, и пыль, как дым, и пляска, как пожар.

«Горим, горим», — хрипит музыка, и на саранчу в мундирах хаки, на полчища тлей-завоевательниц обрушивается чистый и безжалостный огонь. Горит трибуна, вся площадь, небо, горы, вся страна и весь народ, и сквозь грохот этой победы, несущейся вскачь, с обугленным лицом, эмир кричит голосом, покрывающим все: — Саламат бад истеклал-и-Афганистан!..

«Никаких концессий я не получу. Надо уезжать». Вандерлип щелкнул эмира «кодаком» и пошел к своей палатке.

Он, воплощение скорости, уехал из Кабула в старомодной, чудовищно-неповоротливой карете. Перед ним в углу сидел его михмандар, нестерпимый, как и все михмандары Востока, своими пытливыми очками, чрезмерной любезностью и острыми коленями, торчащими всюду, куда ни потянись. Вандерлип уже придумывал обходную дугу своей магистрали, которая делала ненужным Афганистан. Стук расшатанных, гремучих колес

по щебню напоминал ровное пульсирование поезда, и мысли выравнивались бесконечными параллельными нитями, закрепляясь то цифрой, то горизонталью итогов, как телеграфные проволоки от столба до столба. Вандерлип никогда не возвращался назад и не жалел о совершенном. Но в данном случае его беспокоил не самый факт неудачи, но ее полная необъяснимость. По кожаному верху кареты успокоительно стучал дождь, точно кто-то большой сидел в этой темной ночи, рассеянно барабанил пальцами и тоже думал: «Почему?.. почему?.. почему?»

«Нет, нет,— припоминает Вандерлип,— они не так глупы. Не так уже глупы».

Кучер хлещет мокрых, горячих лошадей там, снаружи.

«Они упрямы, да, но дело не в упрямстве, не в одном упрямстве. И эмир — крупный человек. Мне пригодился бы такой энергичный и деловитый парень в Калифорнии. Вечные забастовки на этих приисках. Да».

Карету тряхнуло, стукнуло, жестоко бросило в сторону.

«Соппротивление, вот в чем дело! Соппротивление всему чужому. Еще бы, народец, который Англия не смогла проглотить за сто лет!»

И вдруг, улыбаясь, чувствуя, что все ясно, как пара прямых, новых рельсов:

— Михмандар-саиб, а что значит «истеклаль»? «истеклаль»?

И, склонив голову набок, прижав руку к полному животу, михмандар перевел, улыбаясь лукавой, тонкой восточной улыбкой:

— «Независимость», ваше превосходительство.

Глава десятая

КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ

Нам понятна долговечность идей; никто не удивится человеку, в наши дни живущему ненавистями и приязнями Руссо, Шопенгауэра или Гете. Может быть, даже найдется некто, любящий Тассо или Джордано Бруно, для которого поныне тень от белых стен крепости св. Ангела ложится на горячий полуденный путь, как печаль и безумие. Кое-где сохранилась боязнь черной иезуит-

ской рясы, холод в костях отдаленных потомков от жара священных костров. Но нигде старая вражда не стоит так долго, как на Востоке. Много столетий назад Ормузд и Ариман побеждены Магометом; давно написана и успела обветшать «Книга царей» поэта Фирдоуси, но так же, как на червонных страницах рукописей, мертвые идеи еще спорят, одни вечно сопротивляясь, другие нападая.

Их развозят по Востоку особые ученые, смесь современного литератора и старинного проповедника, коммивояжеры новых идей и учителя состарившихся истин. Именно таков новый гость Афганистана — Мирза-Абдул-Мухамед, просвещенный человек, издатель либеральной газеты в Египте.

Ко двору эмира Амманулы-хана он приехал, как езжали англичане в Немецкую слободу к Грозному, голландцы к Петру и как до сих пор странствуют шарлатаны, мастеровые и вообще люди грамотные к отсталым, но богатым соседям. Он привез с собой в Кабул шелковистую профессорскую феску, отличный сюртук, важность и серьезность святого человека и историю Афганистана в семи томах, по две тысячи листов каждый, над которыми трудился двенадцать лет не без надежды на щедрое вознаграждение в будущем.

Двор принял ученого с почетом, очень одобрил номера его журнала «Надежда правоверного», или «Что делать благочестивому мусульманину?», однако отвел ему более чем скромное помещение вблизи могилы императора Бабура и вежливо, но твердо уклонился от уплаты старого долга за выписку «Упования сынов Магомета». Как ни был серьезен и красноречив ученый перс в плохо отапливаемых, но пышных развалинах Великого Могола, он ничего не приобрел, кроме почета. Разочарование, неопределенные обещания и совершенно платонические ласки правительства сделали отшельника более откровенным. В своем пустынном уединении он обдумал и заготовил не одну теплую страницу об «истинном» состоянии Афганистана, этой, по его мнению, «отсталой деспотии, которую могут превозносить только продажные перья, но не свободные умы мыслителей, чуждые всякой суеты» (к разряду последних причисляется, конечно, и означенный перс, двигатель прогресса).

Таков этот тип восточного литератора, путешествующего целую жизнь между Каиром и Портой, Кабулом

и пирамидами, разнося либерализм, легкий скептицизм под маской благочестия, идеи национальной независимости, сплетни и новости, из которых, в конечном итоге, складываются репутации правительств и политических деятелей.

Это кочующее общественное мнение со скромным запасом белья и денег, но с тем большими амбициями. Из Афганистана оно едет ущемленным. Но не стоило бы, пожалуй, так подробно останавливаться на этом представителе шестой державы, если бы он в своем ущемлении не обнаружил очень оригинального, геологически чистого пласта идей и знаний. Мирза-Абдул-Мухамед не просто бранил Афганистан, не сумевший оценить своего первого настоящего историка: он бранил с озлоблением, доходящим до принципиальности. Он становился атенстом при виде кабульского ханжества; реформатором—ввиду царящего застоя; революционером—на фоне, так сказать, допетровского раболепства (в гостиницах Каира,— утверждает Абдул-Мухамед,— давно оставили условное низкопоклонство, коим еще всерьез упивается Кабул), а главное, в душе этого истого перса, с его ученостью и ленью, привычкой к политическому злословию и английской свободе если не печати, то хоть цензуры, проснулось какое-то подобие гражданской гордости.

Будучи сам ученым перекасти-поле, но персом, а следовательно, человеком, в жилах которого течет старейшая культурная кровь, он пересмотрел свою историю Востока и нашел в ней полное отсутствие культуры. Оказалось, что все семь томов, рассмотренные с этой точки зрения, были летописью мракобесия, на протяжении десяти столетий выполовшего все травинки искусства и мысли. Песок, камень и кривая сабля, — больше ничего.

Слово за слово, довод за доводом, из личинки примазывающегося придворного историка выглянул иранец, чистокровный перс, пропитанный старинной ненавистью против голы, все оскотпляющей религии победителей — арабов. Коран! Ведь это книга, полная грубых бессмыслиц, животной чувственности, вообще, произведение, достойное палатки невежественных кочевников, из которой оно вышло на горе человечеству только для того, чтобы сжигать старые цветущие города, библиотеки и сады, довести до полного упадка живопись и архитектуру, обратить в ничто все завоевания античной мысли.

Только персы спасли от огня и меча переводы Аристотеля и Платона. Персы, окружавшие блестящей толпой министров, поэтов, врачей и историков, диких арабских владык, вроде Гаруна-аль-Рашида, украсили цветами своей увядающей культуры его кровавое царство, смягчили дикие, мелочные установления Магомета мудростью Зороастра, гуманизмом древних огнепоклонников, первых магов и астрономов мира. Через Персию греческая философия позолотила тонкие колонны и узорные купола Мавритании. Вся арабская культура, откуда она?

Лицо иранца окрасилось волнением, отблеском старой ненависти, неугасающей, как огонь, сбереженный на чистых парсистских алтарях близ Бомбея. Когда в наши дни живой человек говорит о дворе Гаруна-аль-Рашида, как о чем-то, бывшем вчера, а может быть существующем и сегодня; когда он вдыхает свою живую, мучительную вражду в мертвый прах, в истлевшие столетия, — они оживают, они молодеют, включенные в гальваническую цепь настоящей борьбы, настоящих страстей и злобы. Неживой противник подымает мертвые веки, чтобы ответить тусклым, упорным, все еще высокомерным взглядом на запоздалый бунт потомков.

«Гарун-аль-Рашид — варвар, дикарь, насильник, оставивший по себе славу восточного Медичи, покровителя искусств, только потому, что утонченная культура побежденных продолжала цвести под ногами победителей. Растоптанные розы Ирана благоуханны навек, пустыня Корана пропиталась их ароматом».

Перс давно покинул область научных доводов, перестал цитировать и называть хронологические даты. Легенда открыла ему голубые, как небо, эмалевые ворота, и бедный ученый со своими крахмальными манжетами и безобразным европейским сюртуком послушно пошел за легкомысленной музыкой сказок.

«Когда погибла персидская культура, когда? Я вам сейчас расскажу. У этого необузданного государя, у Гаруна-аль-Рашида, был министр-иранец, который вместе со своим сыном был украшением его царствования. Они созвали ко двору араба знаменитых персидских ученых, художников и поэтов. Устроенные ими медресе цвели ученостью и красноречием, нравы победителей утончились, язык смягчился и принял счастливые обороты поэзии и риторики. Гарун прославился не только силою

оружия и несметным богатством, но и блеском просвещения, окружавшим его престол. Между тем сын великого министра, прекрасный перс, полюбил дочь Гаруна-аль-Рашида и пожелал на ней жениться. Вся гордость араба возмутилась, когда он узнал о том, что иранец из униженного им племени, человек несвободный, почти пленник, не имеющий ничего, кроме своей образованности, смеет мечтать о дочери царя-победителя. Но так как молодые люди несколько раз видались за городом в одном из замкнутых садов, полных роз, павлинов и свежей воды, так как Осан видел без покрывала лицо своей возлюбленной и таким образом запятнал ее, как мусульманку, то Гарун-аль-Рашид согласился на бракосочетание с тем, однако, условием, что молодой муж никогда не узнает своей жены, и ни одна капля низкой персидской крови не вольется в жилы аравийских царей.

Осан согласился, и грустный договор вступил в силу. Дочь Гаруна-аль-Рашида ничего не знала о нем, и пренебрежение мужа жестоко ее поразило. В течение целого года она напрасно старалась приблизиться к Осану. Наконец несчастная женщина рассказала о своем бесчестии матери, и та нашла способ ей помочь.

Однажды царица ласково подошла к своему зятю и сказала ему: «Ты печален и живешь без любви. Сегодня вечером я пришлю тебе гречанку необычайной красоты. Насладись ею, мой милый сын, но не зажигай огня в своей комнате. Эта девушка чиста и стыдлива».

Осан согласился, и ночью пришла к нему его жена, дочь Гаруна-аль-Рашида. Обманутый темнотой и молчанием, он сделал ее матерью в первую брачную ночь. Таким образом, победители и побежденные готовы были навсегда примириться; угасающая Персия соединила свою нищету, мудрость и поэзию с варварской силой и богатством арабов. Но царь не простил дочери ее унижения. В одну ночь он отрубил голову своему министру, его сыну и многим знаменитейшим философам и художникам-персам, жившим при его дворе и во всех частях обширного государства.

И новорожденный, в котором прошлое мирилось с будущим, разделил казнь своего отца».

Перс потух, поправил очки на носу и ничего больше не добавил.

Глава одиннадцатая

О ЛЮДЯХ И СТРАНАХ, ОТДЕЛЕННЫХ ОТ СССР И 1923 ГОДА ПУСТЫНЕЙ, НЕСКОЛЬКИМИ ВЕКАМИ ГЛУБОКОГО СНА, КРЯЖАМИ ВЕЧНЫХ ГОР И КРИВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ САБЛЕЙ

Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.

Азия в этой своей мертвой полосе между Туркестаном и Индией чужда всяких аффектаций. От каспийских солончаков и до Хайберского перевала, за которым начинается таинственная Индия, она покоится от века недвижимая, голубая и блистая рядами нагих хребтов. Их одевает тишина, пространство, излучение времени.

Если что-нибудь фантастично в этой древней стране, то не она сама, а скорее телеграфные столбы, гигантскими шагами идущие в горы, перемахивающие через ручьи и дикие речки, в клочьях пены похожие на великолепных верблюдов, разгневанных понуканиями погонщика.

Сказочны яркие огни автомобиля, ползущего на железную, ничем не прикрытую гору. Сказочно сердцебиение шестидесятисильного мотора, заглушающего все звуки азиатской ночи. Как во сне, белеют потоки электричества, в которых купаются камни, колючие кусты и обрывы, мимо которых пешком, осторожно ведя лошадь на поводу, шел Александр Великий.

Какая же экзотика в самом Востоке? Здесь умирают просто и просто закапывают в землю. Ни имени, ни воспоминания. Просто вешают воров и пашут деревянным клыком, который тащит пара замшевых, круторогих, прекрасных быков.

Все это кажется нам чудесным только потому, что где-то есть гробницы Микеланджело, американские механические плуги, своды законов и стремительный нож гильотины. Но, с точки зрения Солимановых гор, верблюды — наилучший и самый быстрый способ передвижения. Вдоль гляцевитых, мутных и быстрых рек должен расти камыш, чтобы в нем охотиться и спать хищникам. А там, где заросли сожжены кочевниками, на вязкой, пахучей почве зеленеют листья мака, целые поля опиума, и мельница, устроенная в дыре, накрытая ка-

мышовой настилкой, шумит мутным ручьем и шелестит первобытным жерновом. Так было и должно быть вовеки.

Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не остается заметных следов.

Какой-нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном,— а все остальное у нас ведь общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью.

Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как-то неловко торопиться. Один мост через Оксус, через Аму-Дарью, грязным, мутным валом валящую через пустыни, как желтая орда, висит от берега к берегу призраком чуждой культуры. Но, право, этот мост, которому не на что опереться в пустынной топи, кроме своих бетонных быков, так же одинок в Азии, как и в Прикаспийской степи. Он висит над мертвечиной времени и пустого пространства,— сухой, высокомерный, пренебрежительный отщепенец.

Совсем иначе входит Англия в пределы афганской Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью безыменных солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути будущих наступлений, у Хайберского прохода, сейчас даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду, текущую во всех придорожных канавах.

Двойной ряд шоссе соединяет Индию с Афганистаном, которому она, сама раба, должна будет набить колodки и кабальный ошейник. Телеграф и телефон пододвинуты к самой границе, несмотря на почти столетнее сопротивление независимых племен, оберегающих южные, угрожаемые границы эмирата.

Наконец, коммуникационная линия перешагнула и сожженные деревни вазиров, засыпанные аэропланными бомбами в своих только со стороны неба доступных орлиных гнездах, и через условную линию политических границ. Зимний ветер на базарах Кабула поет в тугих проводах индо-английского кабеля; вожаки караванов доверчиво и небрежно привязывают верблюдов к его предательским, стройным столбам, литым из того же

металла, из которого делаются пушки и штыки колониальных армий.

Полуразрушенные загородные дворцы и гаремы прежних эмиров спешно перестраиваются под торговые фактории; английский представитель собирается строить целый квартал— резиденцию будущего афганского вице-короля. С ни с чем не сравнимым самообладанием переносят пионеры великой державы оскорбления, ругательства и притеснения со стороны «туземцев», которые на секретных картах генерального штаба уже обведены пунктиром, пришиты к Пешаверской провинции и общему индо-британскому отечеству и огорожены от России прохладной нейтральной зоной, проведенной аккуратным циркулем топографа где-нибудь на полпути между Мазар-и-Шерифом и Кабулом, Кандагаром и Гератом.

Джелалабад, сказочный городок на крайнем юге Афганистана, является живым памятником старой, ныне оставленной, политики Великобритании в маленьких восточных деспотиях. Это кусочек среднеазиатской пустыни, унавоженный, оплодотворенный, благословенный потоком английского золота. Верхушки финиковых пальм, шелестящие металлическими веерами в обетованном небе, розы и левкой в январе, налитые золотом и медом мимозы; белые дворцы, фонтаны и искусственные ручьи,— все пример мирных чудес, которыми наполнится глухой каменистый пустырь, если его воинственный и невежественный народ позволит золотой палочке британского капитала прикоснуться к своим бесконечно унылым пространствам.

Старый эмир Афганистана, Хабибулла-хан, был куплен англичанами. Они научили его пользоваться богатством, развили вкус к безмерной роскоши. Английские инженеры и техники заменили перекипающему от жира и болезненного разврата шаху услужливых духов «Тысячи и одной ночи». Цивилизация начала свою облагораживающую работу с уборных гарема, оборудования европейской кухни и устройства отличных дорог, по которым автомобиль его величества мог беспрепятственно переключивать из одного притона, устроенного его европейскими друзьями, в другой, расположенный где-нибудь на другом конце пустыни, предоставленной пыльным ветрам и равнодушно влачащимся верблюдам.

Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоухан-

ный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.

Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скарденный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящие, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлое отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет — со священными плясками, угар кутежей — с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно — путем аскезы или маразма.

И вот на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто-нибудь из белых, кто-нибудь из касты господ, пьющих сода-виски, задрав ноги на голову поверженной Индии, отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Сарасвати Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознания, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.

И, спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми фило-

софскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно подерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.

В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии, после тяжелой войны, пришлось начинать сначала, на этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.

Но вернемся к теме.

Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя. Не просто флаг, — но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля N. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользком паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассажами и муссонами.

Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее является крупным землевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лояльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должен, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньги. Он сни-

зошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра — нечто вроде Муссолини, послезавтра — кто знает? — запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.

Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей, так сказать, в безвоздушном пространстве, — это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе — не выражать своим поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус — более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных — увы! — в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг друга. Священная обязанность каждого из послов — честно разгонять сплин своих коллег и вовремя подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и па которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический «театр для себя» на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям-ньямов или папуасов. Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы, — будь то паркет или глиняный круг; вытоптаный возле костра людоедов, — сошлись два авгура, два знатока пустопорожного священнодействия, — они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы,

отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд,— утонуть, наконец, в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол — своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.

Ругали-ругали большевиков, а сейчас — не угодно ли? — ни одна путная конференция не обходится без участия этих монстров.

Но и тут всеобъемлющая лояльность Ноаля вывела его из стесненного положения. Ведь он пожимает руку не большевику, но полномочному министру, высокой юридической личности, не подлежащей обсуждению. И если, по счастью, носитель славного звания, выскочивший из самого пекла большевизма, не вытирает нос скатертью и не вовсе орангутанг, то Ноаль, предав забвению грешные годы нашей революции, почит в его лице старые призраки блаженной памяти Сазонова и Гирса, Извольского и Горчакова¹. Не личность, но правовую идею, призрак законности, дипломатическую династию, не вымирающую *quand même*. Живучая фикция преемственности просто перескакивает через яму, в которую свалили семейство Романовых. Для нее император никогда не умирает и никогда не перестает быть императором: он абсолютно непрерывен в своей метафизической сущности. И если вместо орла и трехцветного в небе вдруг полощется красное с СССР, то, значит, императорская Россия умерла, не теряя бессмертия, и новая, советская, возникла не рождаясь. Ведь и со старой законной монархией случались такие странности: признавала же Европа неких голштинских князьков подлинными потомками заведомо вымершей Романовской династии.

В культурном, юридически гибком сознании европейского дипломата большевики заняли приблизительно то же место, какое в схоластическом мировоззрении его предка, феодала, занимал какой-нибудь четвероногий

¹ Министры иностранных дел в России в XIX веке. (Примеч. ред.)

остгот, прямо с варварского щита своих орд влезавший на священный престол Римской империи и короновавшийся в соборе св. Петра венцом кесаря, скрученным из конского недоуздка. Все это, конечно, постольку, поскольку дикие степные всадники Оттона или Теодориха стояли у самых стен Вечного города, и пьяные латники, рыгающие, пахнувшие лошадиным потом над награбленными шелковыми одеждами, не теряли способности владеть мечом, жечь города и склонять пап к ангельскому миролюбию.

Но, конечно, полное политическое признание, которым советское представительство пользуется в Кабуле, отнюдь не основано на гибкости чьего бы то ни было юридического мышления. Просто в Афганистане нельзя подвергнуть русских бойкоту, не оставшись самому в полном уединении. За СССР здесь говорят сила ее пограничных армий, реальность торговых интересов и ненависть всего населения к англичанам.

Даже французский полуофициальный представитель, академик Фурмье, в самый разгар Гаагской конференции вынужден был признать подлинное существование Советской России на пустом месте, обведенном чертой блокады, которое столько лет держалось в политической географии Третьей республики.

Кстати, несколько слов о профессоре Фурмье, известном ученом, о котором сам Мильеран в официальной речи упомянул, как о «notre illustre»¹. Это — сладчайшее и корректнейшее воплощение казенной французской науки. Белоснежные волосы венком вокруг розовой лысины, свежий цвет лица, приветливые голубые глаза, снисходительная улыбка, открывающая безупречной работы вставную челюсть; крепкие скулы и квадратный, беспощадный подбородок человека, всю жизнь перемалывавшего науку и проталкивавшего в культурный пищевод Европы дешевую и питательную патентованную кашу. Работая правильными спазматическими приемами, пережевывая свои камни, обломки исчезнувших городов и утварь мертвых, он теперь крепко ухватил Афганистан. Его дикие руины, занумерованные и описанные, исчезают в пещере этого всеядного, всепошляющего научного рта. И по мере того как идола Бамиана и таинственные надписи джелалабадских гроб-

¹ Наша гордость (фр.).

ниц будут совершать свое органическое движение по толстым и тонким кишкам археологии, по всем слепым отросткам и мертвым петлям этой науки, в Париже, в министерстве наук и великих открытий, некий столоначальник, хранитель пыльных папок Александра и Великих Моголов, бережным почерком отметит заслуги академика Фурмье и приснопамятный день, когда обшлаг его черного сюртука украсит орденская лента. Как всякий истый буржуа-республиканец, Фурмье питает тайную страсть к монархии. Заветное слово «сир», такое короткое и величавое, слетает с его медовых уст с невыразимой нежностью.

Возле какого-нибудь толстого, безмерно оплывшего, в постоянной пищеварительной истоме мигающего то одним, то другим глазом сановника профессор порхает, как заботливая няня. Маленькие потирания рук, улыбка, вкрадчиво поблескивающий оскал, наклонение головы выражают почтительное и ласковое согласие человека науки с доводами здравого смысла, обитающего под толстой, как верблюжье колено, черепной коробкой афганского сердара.

В такие минуты академик Фурмье, подобно нежной и цепкой лиане, обвивает тяжкий каменный столб абсолютной власти.

Зрелище невыразимого пресмыкательства являет на высочайших аудиенциях мадам Фурмье, жена академика. Она — внучка или правнучка одного из тех знаменитых хлеботорговцев, которые в 1789 году сумели нажить и припрятать громадные состояния, несмотря на ропот Сент-Антуанских предместий и желчные нападки «Друга народа». Семья мадам Фурмье давно пришла в упадок; современная спекуляция поглотила миллионы, некогда добытые путем простодушного, натурального хищничества. Но сама праправнучка знаменитого пекаря сохранила сахарную белизну французской булки, эту сочную, теплую мягкость, в которой навеки увязла вставная челюсть маститого археолога. Она белокура, как румяный крендель, обмазанный сверху пером, обмакнутым в желток; над маленькими светлыми глазами из голубоватой сыворотки, какою замешивают тесто, — белые ресницы, осыпанные мукой. Кондитерские плечи, сдобная талия, тяжелый круп и могучий живот, к которому ее бабка прижимала пудовый ржаной хлеб, отрезая от него дымящиеся ломти. На дрожжах многоты-

сячных гонораров Сорбонны великолепные возможности мадам Фурмье несколько отсырели, поползли через край, вздулись ноздреватой горой мяса, как в квашне, переливающегося в тесных и прозрачных платьях-рубашечках, какие теперь носит модный Париж.

В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студнем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загибнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.

Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видевшая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и выше всякой меры.

Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо-холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.

Глава двенадцатая

ФАШИСТЫ В АЗИИ

Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время от времени удастся оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую

гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия.

После обеда в клубах вальсируют, как всегда, и к хрипу и животному неистовству фокстротов примешивается шуршание воздушных флотилий, летящих к месту восстания. Танцующие улыбаются, улавливая над крышей белого, радостного дома полет этих орлиц, которые через час обрушат тысячи смертей на пылающие поселки пограничников. В течение еще недели колониальная пресса пишет о зверствах повстанцев, публикует портрет респектабельного, фланелево-белого, шлемистого плантатора, вырезанного со всей своей розовой и круглой семьей.

Потом «Пайонир» и «Инглишмэн» в иллюстрированном приложении дадут героев, отбивших одичалую от голода толпу от белой террасы земиндара, три дня просидевшего за баррикадой, сложенной из длинных, уступчивых, располагающих к послеобеденному отдыху, шезлонгов.

Потом техника починит все взорванные мосты и вывернутые телеграфные столбы; правосудие повесит виновных, которых не успели захватить и расстрелять у поврежденных насыпей и разграбленных почтамтов.

Затем вице-король со своей умной и сухой улыбкой старого еврея, знающего цену всему на свете, навесит дюжине аристократических дураков новенькие, как деньги, ордена.

Вице-королева, старая Роза из чулочного магазина в Уайт-Чепеле, еще раз упьется на старости лет царскими почестями своего сана. Дамы опустятся перед ней на одно колено почти до полу, а титулованные господа, как мальчишки, не смея шелохнуться или закурить папиросу, в ожидании станут у дверей этого вице-величества, помазанного в государи биржей и министерскими чиновниками. Здесь, в Индии, венценосцу ростовщиков и торговцев цветной человечины воздаются истинно царские почести. С этикетом вице-королевского двора не сравниваются никакие тонкости и строгости старых европейских монархий. Там вольность и простота, там величество окружено роями светлостей и сиятельств, которые его считают только первым среди равных и часто пожимают плечами насчет чистоты крови и древности царствующего дома. В Индии же феодальная знать,

такая избалованная на родине, наполнившая «Хроники» Шекспира своей надменной вольностью, окружает вице-короля Индии азиатскими почестями, громоздкими и унижительными для себя церемониями. Наравне с цветными она демонстрирует свою полную зависимость от короля милостью банков.

В Дели капитал священнодействует в благоговейной тишине, окруженный кольцом коленопреклоненных царедворцев, старейших и почтеннейших представителей армии, высокородных леди, чуть не до полу склонивших свой породистый пробор. Никто не смеет шевельнуться, кашлянуть, переступить с ноги на ногу. Все замерло в почтительной, священной тишине; как будто слышно затрудненное дыхание Полипа, вонзившего свой могучий хобот в сердце Индии; кажется, видно, как по трепещущим, раздутым венам течет живая влага, все еще плодоносными приливами истекающая из ее старых ран. Хлопают последние выстрелы карательных экспедиций. Вице-королева улыбается млечному пути брильянтов, мерцающих у ее кривых, плебейских ног, и «святой» Ганди из своей тюрьмы кричит народу о непротавлении злу.

В промежутках между чисто английскими колониями паразитов ютятся представители менее победоносных торговых держав. Путаясь под ногами победителей, подбирая крохи, устремляясь ко всякому клочку белой индийской кожи, случайно мелькнувшему из-под тучи обсевших и жрущих ее клещей, перебиваются итальянские, немецкие и другие европейские негоцианты. Особенно первые. Бедность делает их предприимчивыми, а громкие титулы придают коммивояжерской наглости вид аристократической непринужденности. В самой Индии эти господа едва ли могли рассчитывать на успех. Но неожиданно для них открылось новое поле действий: страшный Афганистан, которого так боялся их друзья англичане.

Захватив фраки и пару шелкового белья, они чуть не вприпрыжку перешли заветную границу, провожаемые сумрачным и завистливым взглядом пограничного чиновника, день и ночь охраняющего эту проклятую пустыню, съевшую столько английского золота и костей.

В Джелалабаде оба, граф и командор, «король шелковичных червей», были великолепны на фоне пустынь, голых гор и величавого безразличия, с которым Восток

позволяет всякому прохожему вскарабкиваться и перелезть через свою холодную, давно уснувшую каменную грудь.

Знатные путешественники, едва окинув страну небрежным взором, прониклись невыразимым к ней презрением. Никакой наживы, ничего готового. Ни слоновой кости, которую у дикарей надлежит выменивать на водку; ни рубинов и ковров в обмен на ржавые бритвы, стеклянные бусы и красный коленкор.

Аппетиты скользнули по голым скалам Афганистана, по крупному лицу эмира и везде сорвались, везде поскользнулись и осеклись. Вздвинченные десятидневным целомудрием (ибо в этой варварской стране даже туземки не продаются), оскорбленные бедностью полей, которым нужны вонючие удобрения и тяжеловесные машины, шокированные мелочной робостью белобородых купцов, пробующих каждую монету на зуб и моментально загрязнивших и расщипавших по нитке нарядные образчики, молодые люди собрались в обратный путь.

Перед отъездом они сделали визит в большевистское полномочное представительство.

Как-то неловко было смотреть на их лица, совершенно голые, гордящиеся полной неприкосновенностью своих черт, выставивших напоказ голизну всех своих хотений, назло старым буржуазным фиговым листкам.

Все ясно в этих физиономиях, от наглого лба, от проваленных грязных глаз, холодных, как мертвая рыба, в серых прокуренных орбитах, и до пресыщенного, пренебрежительного рта, обложенного двумя скучными и жестокими рытвинами, двумя большими, вытоптаннами дорогами, вдоль которых грабят и обирают, чтобы потом прожить, пропить и пролюбить со страшными рыжими самками, хлещущими этих бандитов с еще большей бесцеремонностью, чем сами они, прожорливые, беспощадные и торжествующие, поступают со своими слабейшими конкурентами.

Нет ничего удивительного в том, что маленький Афганистан при виде этих физиономий схватился за карманы и побежал пересчитывать свой каракуль, развешанный на сушилнях. Не нашлось ни одного купца, достаточно цивилизованного, для того чтобы сесть за игорный стол с двумя великолепными рвачами и в два приема, при блеске свеч и мелькании белоснежных манжет, проиграть им свою лавочку на базаре, свои ковры

и свои золотые, бережно сосчитанные и висящие на груди под рубашкой в вышитом бухарском мешочке.

Но эти рвачи, вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем не отличались бы от миллионера им подобных, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма.

Их наглая решительность значит не только «деньги ваши будут наши», но и «нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками, в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей».

Эти молодцы во фраках, рослые, с уютнообразными тяжелыми лицами, на которых, как следы чего-то раздавленного, пятна глаз и рта, не лицемерят, не делают вид, что им стыдно, не говорят ненужных слов, не щадят и сами не запросят пощады у стенки. Когда слышат слово «парламент», «конституция» или «народное представительство», то как-то по-животному хмыкают из-под бальных рубашек и сочувственно, с пониманием, смотрят на нас: «Вы, дескать, с этим покончили».

О России говорят с удивительным, циничным уважением, и тогда руки с большими, плоскими и чистыми ногтями тихонько начинают играть на скатерти от желания поскорее схватить за глотку единственного достойного противника. Весь мир, кроме этого СССР, лежит для них в пропасти невыразимого презрения, как добыча сильных, как трусливое и лицемерное стадо, из которого, с торжествующим рычанием, можно и должно выхватить самых жирных баранов, чувствуя на волчьих зубах их сентиментальный запах, их шелковистую интеллигентскую шерстку, давясь их блеянием на тему о том, что «сила не есть право». Не говоря уже о классе неимущих, лежащем далеко внизу и сбрасываемом вниз, под откос, прикладами и жандармскими сапогами всякий раз, когда он обнаруживает преступное желание выбраться наверх. Эти — вне закона и пока в счет не идут.

Встречи с нами ждут, как неизбежного, после чего у мира останется только один хозяин. Найдя красное знамя Советов на этой окраине Азии, к которой с другой стороны вплотную подо двинулась Англия, они яви-

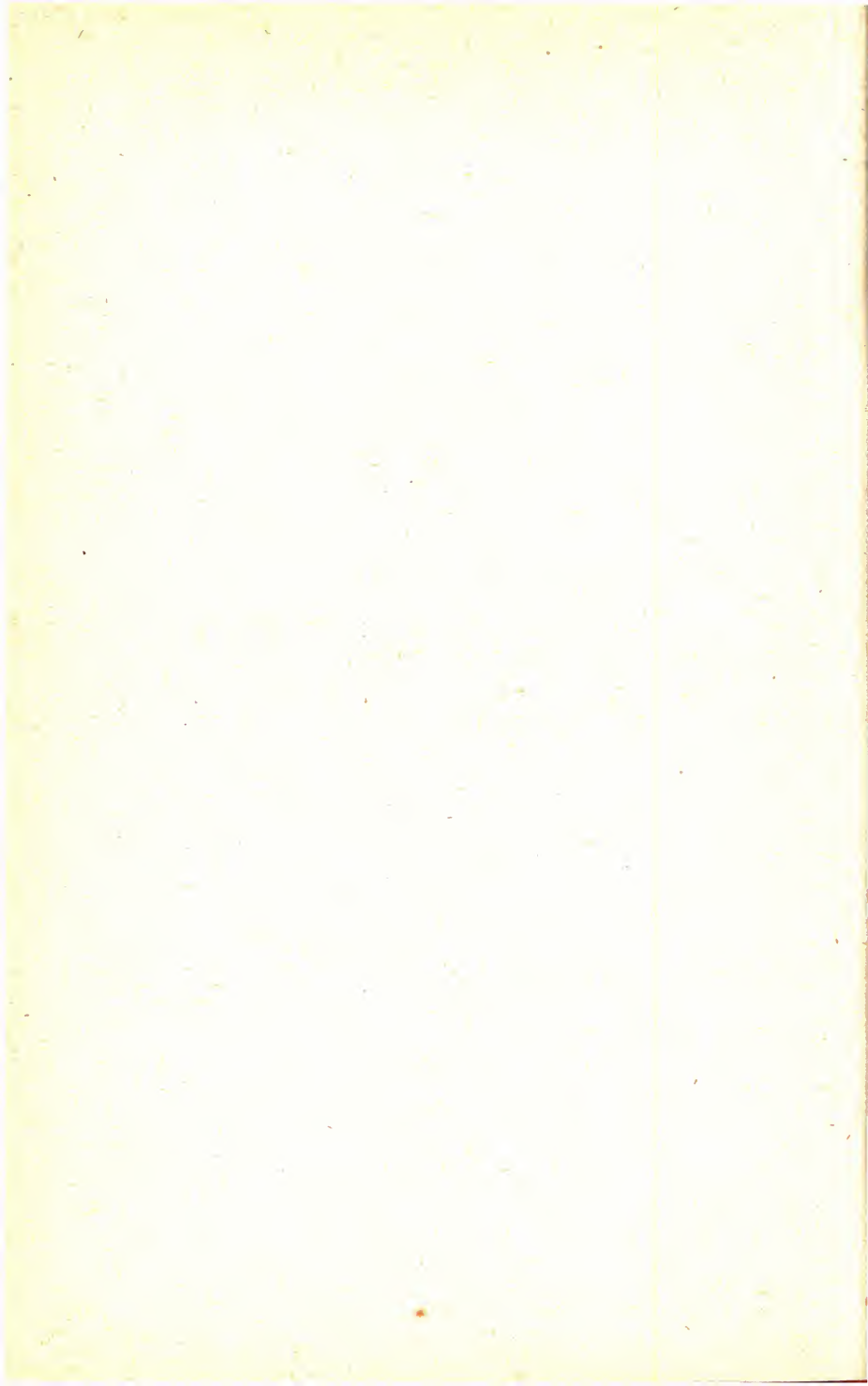
лись посмотреть на большевиков, вежливые и любопытные, с шерстью, которая против воли стала дыбом на волчьих заливках.

В дверях граф повернул свое тяжелое лицо и сказал с улыбкой:

«С такими противниками, как большевики, мне приятно будет встретиться на баррикадах».

Два черных поклонились, и фонарик побежал перед ними в черный сад. Точно они кого-то вели или их кто-то повел к гильотине.

1922—1923



Гандур
на
баррикадах





* * *

Восстание проходит бесследно в больших городах. Революция должна быть великой и победоносной, чтобы на камне и железе хотя бы в течение нескольких лет сохранились следы разрушений, ее героические царапины, белые воронки пуль на стенах, изрытых оспой пулеметного огня.

Через два-три дня, через две-три недели, вместе с обрывками газет, вместе с лохмотьями плакатов, оторванных от стен острием штыка, отмытых грязными дождями, уходит короткая память об уличной борьбе, о взрытой мостовой, о деревьях, мостами перекинутых через реки улиц, через ручьи переулков.

За виновными захлопываются двери тюрем, соучастники, выброшенные из фабрик, принуждены искать работы в другом городе, в отдаленном квартале; безработные после поражения забиваются в самые глухие, самые безыменные щели; женщины молчат, дети отрицают, опасаясь слащавых расспросов охранника, и легенда о днях Восстания глохнет, забывается, заглушенная шумом восстановленного движения, возобновленных работ. Новый фабричный слой, став у опустелых станков, еще повторяет по углам мастерских кое-какие имена, пересчитывает особенно меткие выстрелы, — но и это уходит. Для рабочего в пределах буржуазного государства нет истории; список его героев ведут военно-полевой суд и фабричный педель из меньшевистского профсоюза. Побив оружием, буржуазия душит забвением ненавистную память о недавно пережитой опасности.

Со времени гамбургского Восстания прошло уже несколько месяцев. Но, как это ни странно, его память упорно не хочет исчезать, хотя следы баррикад тщательно скрыты и поезда мирно бегут вдоль насыпей и виадуков, служивших брустверами для обороны или наступления, — чайки отдыхают на них.

Три военно-полевых мясорубки спешно засовывают в тюрьмы участников уличных боев; врачи и тюремные инспектора давно возвратили родственникам последние трупы, до неузнаваемости исковерканные побоями. Но память о дерзком Октябре упорно держится. Нет кабачка, нет рабочего собрания, нет пролетарской семьи в старом вольном городе Гамбурге, где бы не пересказывали с гордостью соучастников или, во всяком случае, с невольным уважением зрителей об удивительных сценах, разыгравшихся на улицах предместий.

Объяснение этого упорства, с которым пролетариат прибрежной полосы хранит и поддерживает живучую память об октябрьских днях, — в том, что гамбургское Восстание не было сломлено ни в военном, ни в политическом, ни в моральном отношении. В массах не осталось глубокой горечи поражения.

Длительный революционный процесс, бросивший их на баррикады в октябре, не оборвался ни 24-го, когда мобилизована была вся полиция и отборная чернотенная часть морской дивизии и рейхсвера, ни 26-го, когда компактные кадры полиции, многотысячные отряды кавалерии и пехоты, целые взводы броневиков наконец ворвались в революционные предместья, уже за несколько часов до этого добровольно покинутые рабочими сотнями. Наоборот, движение, прорвавшееся наружу в октябрьские дни, господствовавшее над городом в течение 60 часов, разбившее противника наголову во всех пунктах, где он осмеливался перейти в атаки против искусно расположенных баррикад; движение, стоившее рабочим всего 10 убитых, а полиции и войскам десятков и сотен убитыми и ранеными, — спокойно вывело из огня своих бойцов, спасло и скрыло оружие, доставило в надежные убежища раненых; словом, плавно отступило, вернулось в подполье, чтобы снова из него подняться по первому зову общегерманской революции.

Начало революционного движения надо считать не с октября, а с августа предшествовавшего года, когда

Гамбург сделался ареной последовательных и ожесточенных боев за заработную плату, за 8-часовой рабочий день, за расчет в золотой валюте, за целый ряд не только экономических, но и чисто политических требований—рабочее правительство, контроль над производством и т. п. Эти профессиональные бои сопровождались все усиливающейся судорогой забастовок и бурными вспышками нарастающей революционной ненависти, — разгромом продовольственных складов, избиением полиции и штрейкбрехеров. Особенно в эти месяцы отличились гамбургские работницы, как и все женщины большого портового города, гораздо более самостоятельные и политически зрелые, чем их товарищи в большинстве промышленных центров Германии. Это они в августе того года преградили своим мужьям и товарищам доступ к бастующим верфям. Их живую цепь не могли отбросить от Эльбского туннеля ни полицейские штыки, ни малодушные толпы рабочих, готовых пойти на какие угодно условия работодателей. Одна из таких стычек закончилась разоружением и избиением полицейского отряда, в особенности лейтенанта, его возглавлявшего и за то выкупанного в грязной и холодной воде Эльбы.

Начавшись в августе, это движение могло закончиться не проигрышем, как кричит буржуазия, и не просто блестящей военной демонстрацией 23—26 октября, но только поражением или победой всего рабочего класса Германии. В этой преемственности, в этом постоянном и длительном нарастании, которым отмечена работа гамбургских товарищей, лежит коренное отличие вооруженного восстания от так называемого политического «путча».

У «путча» нет ни прошлого, ни будущего; только окончательная победа или такое же непоправимое, безнадежное поражение. Революция, если она сильна и руководима эластичной, сильной, боеспособной партией, может спружинить, отступить, свернуться после самой отчаянной вылазки. Пролетариат же слабый, политически не тренированный, не закаленный, живет надеждой на короткий удар, на вспышку, на очень острое, кровавое, но не длительное напряжение. Пусть этот короткий удар стоит огромных жертв, величайшего напряжения, — рыхлые, плохо сколоченные массы на все пойдут, если за этой моментальной атакой брезжит надежда на эфе-

мерный, но непременно полный и окончательный успех. Если за такой попыткой захвата власти по тем или иным причинам следует неудача, эти массы разваливаются; выпадают из всякой организации, усиливают свое поражение озлобленной самокритикой. И наоборот, регулярные кадры политически зрелых масс от штурма возвращаются в свои старые окопы, способны к долгой, скучной, медленной осаде, к саперным работам подполья, к ежедневным мелочным вылазкам. Гамбургское Восстание и по длительному политическому процессу, ему предшествовавшему, и еще более по совершенно блестящей работе, проделанной в ближайшие же дни и недели по его ликвидации, является классическим примером настоящего революционного восстания, выработавшего интереснейшую стратегию уличных боев, и единственного в своем роде безукоризненного отступления, оставившего в массах чувство несомненного превосходства над врагом, сознание моральной победы.

Ее результаты неоспоримы: никогда еще развал старых профессиональных организаций не достигал таких стихийных размеров, как именно после октябрьских дней. С 25 октября по 1 января из рядов меньшевистских профсоюзов выпало более чем 30 000 старых многолетних членов. Ниже мы подробно остановимся на гнусной роли, которую профсоюзная бюрократия и правое ее крыло сыграли в октябрьские дни. В качестве лейб-гвардии меньшевизма союзы «Объединенных республиканцев» и «Отечественной обороны» открыто сменяли полицию в наиболее спокойных районах, давая ей, таким образом, сосредоточиться на усмирении Хамма и Шифбэка. Об этом ниже, — здесь заметим, что все эти воинственные подвиги социал-демократии привели к тому, что у дверей ее регистрационных бюро горами были свалены изорванные партбилеты.

Они кучами лежали у порога, и сотни рабочих, рискуя быть арестованными или подстреленными патрулями рейхсвера, пробирались к Дому союзов, чтобы бросить свой билет в лицо запятнанной предательством бюрократии. Целый ряд крупнейших профсоюзов приморской полосы, например «Объединенный союз строительных рабочих», после октябрьского Восстания расплзается по всем швам. Его членов физически невозможно удерживать от массового демонстративного выхода из союза. Мне пришлось присутствовать на собраниях

одной из веток строителей, решившей выйти из него в числе 800 человек и организовать свое собственное объединение. Среди присутствовавших были пожилые, частью беспартийные рабочие, мастера своего дела, не нуждающиеся в заработке, люди, десятилетиями платившие свои взносы.

На этом собрании старики, задыхаясь от бешенства, требовали полного и немедленного разрыва с «бонзами». Ни один коммунист не мог бы сильнее ненавидеть, глубже ощущать безмерное падение старой партии. Напрасно члены КПД¹ пробовали отговорить собравшихся от образования «отдельной лавочки», настаивали на разложении изнутри, на образовании мощной оппозиции, все более распространяющей свое влияние.

Рабочие открещиваются от союза, как от чего-то бесконечно грязного, не достойного ни одной трудовой копейки, внесенной в его кассу. У них глубочайшее убеждение, что рабочий, хоть один день остающийся в меньшевистском профсоюзе, лишается своей пролетарской чести, принимает на себя ложь, убийства и измены СПД². После октября даже для беспартийного пожилого рабочего пребывание в союзе стало равносильно службе в Зиппо (полиции) или Eins A (охранном отделении).

Не только внутренне, но и внешне компартия и стоящие за ней массы бесконечно окрепли. Их активность не ослабела, несмотря на многочисленные аресты (кстати сказать, большинство товарищей было схвачено не во время Восстания, а уже после него, на основании добровольных доносов, сделанных рабочими и обывателями, членами СПД). Наоборот, все стены Гамбурга украшены несмыаемыми надписями. На каждом перекрестке, на углу каждого казенного здания непременно красуется надпись: «Коммунистическая партия жива. Ее нельзя запретить».

Пусть парламент голосовал за «Ermächtigungs Gesetz»;³ пусть Сект пользуется полнотой власти, пусть белая диктатура опрокидывает последние пережитки, маленькие вольности рабочего законодательства, — все

¹ КПД (Kommunistische Partei Deutschlands) — Коммунистическая партия Германии (нем.).

² СПД (Socialistische Partei Deutschlands) — Социалистическая партия Германии (нем.).

³ Чрезвычайные полномочия (нем.).

стены барачных, где регистрируются безработные, сплошь, как обоями, оклеены свежими маленькими плакатами коммунистов. Они засыпают, как снегом, все собрания СПД, сыплются с галерей, прилипают к стенам кабачков, к стеклам трамваев и подземных дорог. Женщины отдаленных кварталов, где все мужское население состоит в бегах или сидит по тюрьмам, требуют присылки плакатов и листовок, и если на что-нибудь жалуются, то на отсутствие дешевой коммунистической газеты. Все это так мало похоже на поражение, что судьи военно-полевого суда, под давлением молчаливой угрозы масс, стараются смягчить обвинительные приговоры. Обвиняемые идут в крепость и на каторгу с гордостью и спокойствием победителей, с несокрушимой уверенностью, что революция никогда не позволит истечь пяти, семи, десяти годам их одиночного заключения, с глубочайшим, насмешливым пренебрежением к законам буржуазного государства, к трусливой брутальности¹ ее полиции и торжествующей толще ее тюремных стен. Эта вера не может обмануть.

Но почему же вся страна не поддержала гамбургское Восстание?

В октябрьские дни вся Германия была разделена на два лагеря, стояла друг против друга и ждала сигнала к наступлению. Но Саксония уже наводнена была полицией и рейхсвером. Таким образом, один из важнейших плацдармов революции ко времени гамбургского Восстания фактически перестал существовать. Многочисленные группы безработных еще наполняли ночные улицы Дрездена, но в затылок и рядом с ними и впереди гранили асфальт отряды рейхсвера — вооруженные, наглые и вызывающие. В этот момент сигнал к бою, данный в Саксонии, вероятно, стал бы сигналом к массовому избиению саксонских рабочих. В Гамбурге в эти же дни конференция рабочих, занятых на грандиозных верфях Гамбурга, Любека, Штеттина, Бремена и Вильгельмсгадена, требовала немедленного объявления всеобщей забастовки; ее руководителям едва удалось добиться от этой решающей конференции отсрочки всеобщей забастовки на несколько дней, — рабочая конференция в Хемнице (Дрезден) генеральную забастовку отвергла. Саксония была уже под водой, и пролетариат, в послед-

¹ Брутальность — грубость.

нюю минуту преданный левыми социал-демократами, инстинктивно уклонился от невыгодного, может быть, рокового для революции столкновения.

Берлин! Кто видел Берлин в октябрьские дни, наверное помнит чувство удивительной двойственности, хочется сказать — двусмысленности, составлявшей основную черту его революционного волнения. Окраску улице давали женщины и безработные. Бойкие мальчишки в хлебных очередях, у витрин мясных лавок, пробираясь между кучками отчаявшихся женщин, насвистывали «Интернационал». Падение марки, издевательские пособия, выдаваемые безработным, инвалидам и вдовам войны, ростовщическая оплата труда, головокружительные цены на все продукты первой необходимости, разорение мелкой буржуазии, совершенное бесстыдство большой коалиции, кровососная банка Рура, репрессии французов, тихие шалости немецких капиталистов, извлеченные печатью на свет божий и затенившие все газетные полотнища призраком Рура, окровавленного и покрытого угольной пылью, — таковы были несомненные признаки близкой революции. Автомобили богатых уже избегали предместий, полиция смотрела сквозь пальцы на разгромы хлебных лавок. На окраинах каменными пустырями погромыхивала артиллерия, пробираясь поближе к бастующим заводам; грохот грузовых автомобилей, груженных двумя рядами аккуратно нанизанной полиции, не умерял, а только разжигал бешенство толпы, осаждающей рынки и витрины газет.

И в то же время — огромные и совершенно пассивные массы рабочих, все еще числящихся за социал-демократией; притаившиеся за спиной безработных и коммунистов широчайшие слои обмещавшегося пролетариата, жадно цепляющегося за кусок хлеба, за свой домашний уют, за фунт маргарина, — сколько бы часов ни пришлось все это отрабатывать. Трусливое, крикливое, озлобленное большинство, готовое у себя дома, у камелька, за чашкой постного кофе и за свежей страничкой «Форвертса» обождать два-три дня, пока на улицах не уляжется стрельба, пока не унесут убитых и раненых, не разберут баррикады, и победитель, кто бы он ни был — большевик, Людендорф или Сект, запрятав в тюрьмы побежденных, не водружится на сидении законного правительства. При чрезвычайно активном авангарде — растянутый, гнилой, выжидающий тыл, в

случае неудачи готовый донести на соседа-коммуниста, пролежавшего в окопе под самым окном у какого-нибудь почтенного чиновника от социализма, притаившегося за занавесочкой.

В Берлине, так же как и в Гамбурге (исключение составляют только некоторые кварталы со сплошным рабочим населением), пролетариату пришлось бы противостоять жандармерии и войскам генерала Секта совершенно изолированным, без активной помощи широких масс, без надежды на подкрепление в самые тяжелые моменты и, может быть, так же как в Гамбурге, почти без оружия. Тем не менее Восстание Гамбурга, предпринятое в таких же, или почти таких же, неблагоприятных условиях, не только не привело к поражению, но дало совершенно изумительные результаты. Правда, за его спиной стояла целая рабочая Германия, не разбитая контрреволюцией в открытом бою, а потому и материально и морально прикрывшая героическое отступление своего гамбургского застрельщика.

Во всяком случае, работа партии-победительницы состоит не только в лихорадочном подкарауливании исторической минуты, так называемого «12-го часа буржуазии», когда стрелка исторических часов, помедлив мгновение, механически отсчитывает первые секунды коммунистической эры.

Есть такая старая немецкая сказка: о храбром рыцаре, который всю жизнь провел в зачарованной пещере, ожидая, когда медленно набухающая капля воды, блеснув на конце сталактита, наконец скатится ему в рот. И всегда, в последнюю минуту, какая-нибудь нелепость мешала ему перехватить томительно ожидаемую каплю, бесполезно падавшую на песок. Ужаснее всего, конечно, не самый момент неудачи, а мертвая, пустая пауза разочарованного ожидания между одним приливом и другим.

В Гамбурге не ждали небесной росы. То, что здесь так прекрасно и коротко называют *Die Aktion* (действие), включено в крепкую цепь непрерывной борьбы, спаяно с предшествующим и опирается на будущее, в котором каждый день — все равно, успеха или поражения — стоит под знаком победы, ломающей мир, как кулак парового молота.

Кроме того, Восстание произошло не в провинции

Бранденбург, не в Пруссии, не в Берлине парламента, Аллен Побед и Секта, а в округе Wasserkanale, — по нашему, — прибрежной полосы:

ГАМБУРГ

На берегу Северного моря Гамбург лежит, как крупная, мокрая, еще трепещущая рыба, только что вынутая из воды.

Вечные туманы оседают на заостренные чешуйчатые крыши его домов. Ни один день не остается верным своему капризному, бледному, ветреному утру. С приливом и отливом чередуется влажное тепло, солнце, серый холод открытого моря и бесконечный, неумный, шумный дождь, обливающий блестящие асфальты так, точно кто-то, стоя у взморья, из старого корабельного ведра, каким вычерпывают дырявые лодки, захлебывающиеся во время сильной качки, подымает из моря и выливает ползалива на непромокаемый, как лоцманский плащ, дымящийся от сырости, вонючий, как матросская трубка, согретый огнями портовых кабаков, веселый Гамбург, который стоит под проливным дождем крепко, как на палубе, с широко расставленными ногами, упертыми в правый и левый берег Эльбы.

Природа, как предрассудок, как нечто забытое в нашей жизни XVIII веком, повсеместно истреблена на берегах великолепного промышленного залива. Ни пяди оголенной земли. На протяжении десятков верст два дерева, больше похожих на мачты после корабельного пожара, чем на бесполезно живое: одно на молу, согнутое в три погибели, как старуха, идущая против ветра, которой на толстые шерстяные чулки и дрожащие ноги ветер бросает клочья разгневанной пены; второе — у конторы величайшей из гамбургских верфей, возле Блюм и Фосс.

Это стоит только из страха: под ним отвратительный черный канал, в который по разинутым трубам, как чернильная рвота, стекают фабричные отбросы. Мост, будка часового, и на другом берегу, в бледном свете пятого часа утра, только одни блестящие окна невидимых корпусов, ряд над рядом, без стен и крыш, выше всей гавани, стоят, дотрагиваясь электричеством до самого рассвета.

Из чудес — величайшее чудо; в царство стройного металла самое стройное — гнутся над гаванью темные легкие ворота величайших в мире подъемных кранов. У их подножья, как игрушки, лежат трансатлантические корабли, совсем достроенные, с освещенными рядами иллюминаторов и безобразные ниже ватерлинии, как вынутые из воды лебеди, у которых тоже такая некрасивая подводная часть.

Здесь работают в три смены, судорожно, безжалостно.

Здесь немецкая буржуазия, выкручивая рабочих, как мокрое белье, делает последние безнадежные попытки превозмочь парализующий ее кризис: строит, творит новые ценности, населяет океан своими белыми чернотрубными кораблями, на корме которых развевается старое императорское черно-бело-красное знамя, с едва заметной республиканской оспинкой на одном из полотнищ.

Все, что называется небом, здесь, в Гамбурге, — дым фабричных труб, хоботы подъемных кранов, при помощи которых железные мамонты опустошают трюмы и наполняют каменные хранилища; легкие легконаклонные мосты, перекрывающие влажную постель новорожденных кораблей, вой сирен, ругань гудков, прилив и отлив океана, играющего отбросами, чайками, усевшимися на воду, как поплавки, и равномерные кубы темно-красных кирпичных корпусов складов, контор, заводов, рынков и таможен, прямолинейно построенных, похожих на только что сложенные грузчиками прямоугольники кладки.

Армии, легионы рабочих заняты на этих верфях при погрузке и разгрузке кораблей, на бесчисленных металлургических, нефтеобрабатывающих, химических заводах, в нескольких крупнейших мануфактурах и на обширных постройках, непрерывно покрывающих тыл Гамбурга, его болотистые и песчаные хинтерланды, корой бетона и стали.

Эльба, этот старинный грязный и тепловодный постоянный двор морских бродяг, непрерывно отстраивает и расширяет свои мощенные бетоном задние дворы.

Здесь морские лошади сбрасывают поклажу, жрут нефть и уголь, чистятся и моются, пока капитаны дают взятки таможене, поправляют счета и бреются, чтобы ехать к семье на берег, а команды дружно засыпаются в Сант-Паули — квартал кабаков, лавочек готового

платья, ломбардов, где это платье, чрезвычайно яркое, скверное и дорогое, закладывается за полцены, — и, наконец, изумительнейших публичных домов. Еще со времен средневековья переулки предместья св. Павла отгорожены от города крепкими железными воротами, открывающимися только на ночь. Они хорошей работы, со всевозможными ухищрениями и забавными подробностями, какими цеховая гордость любила украшать эмблемы и почетные знаки своего ремесла. Вечером в каждой двери, выходящей в переулок, открывается освещенное оконце, и в нем, улыбаясь в вечную дождливую темноту, выставлены королевы этих матросских парадизов. Они — в глубоко вырезанных, в талию стянутых, блестками и перьями обшитых платьях, в которых моды конца прошлого века, дожившие до наших дней на буmajках карамелей и в воображении изголодавшихся по женщине матросов, всегда видели воплощение высшей жизненной радости.

Этот ряд живого мяса продается с совершенной простотой. Посетители переходят от витрины к витрине, осматривают выставки и исчезают, чтобы через некоторое время с грохотом и бранью вылететь на мостовую: привратники св. Павла славятся своей мощью.

В маленьких кабачках этого предместья звучат все языки и смешиваются все нации. Они славятся своим зверским остроумием, яичным грогом, совершенной неприкосновенностью со стороны полиции, — словом, удивительной смесью отваги, алкоголя, революционной горючести, табачного дыма, последнего поблекшего, безнадежно павшего греха, который, покачиваясь на краю залитого горьким пивом стола, за кусок хлеба с маслом наспех повторяет пьяному Адаму без лица и без имени божественнейшую из лжей — о любви.

Язык, на котором здесь говорят вообще, — язык Гамбурга.

Он насквозь пропитан морем; солон, как треска; кругл и сочен, как голландский сыр; груб, пахуч и весел, как английская водка; скользок, богат и легок, как чешуя глубоководной редкой рыбы, медленно задыхающейся среди карпов и жирных угрей, трепещущих влажной радугой в корзине рыбной торговли. И только буква S, острая, как веретено, изящная, как мачта, свидетельствует о старой готике Гамбурга, о временах основания Ганзы и архиепископского пиратства.

Не только люмпен-пролетариат — весь город пронизан живым и подвижным духом гавани. Она со всех концов плотным кольцом облегает буржуазные кварталы, расположенные вокруг Альстера, проточного озера, в котором пульсирует все тот же Балтийский прилив и отлив. Виллы прижаты к самому берегу, у них едва хватает места, чтобы разбежаться к берегу нарядным садом, одетым в цветы, как в купальный костюм, теннисной площадкой, потоком лестниц.

Домам патрициев везде дышит в затылок нечистое, возбужденное дыхание предместий. Кольцо электрических поездов плотно набито на окраины, оно, как обруч, прижимает их к нарядным кварталам; по ним, наполняя вагоны запахом пота, дегтя и винного перегара, два раза в день проносится мутная струя рабочих, пересекающих весь город по дороге к докам.

Таким образом, весь Гамбург так же послушен обеду гудку верфей, боцманской дудке и утренней и вечерней переключке на берегу Эльбы, как малейшая лужа, ничтожнейший лягушечий пруд, переполненный мальчишками, послушны отдаленным содроганиям океана, посылающего Гамбургу его богатства и ветры, упругие, как паруса.

Буржуа, почтенный бюргер, так же мало застрахован от прикосновения и соседства пролетариев, как и его жилище. Дама, едущая в театр, зажата между двумя докерами, непринужденно положившими свои просаленные мешки на мягкие скамьи.

Девчонка из Сант-Паули спокойно помещается рядом с супругой чиновника, подмигивает соседям и выгружается на остановке уже под руку с кем-нибудь из них; рабочий обнимает свою жену или подругу; грузчик обкуривает окружающих немислимым табаком, приятели везут домой загулявшего матроса, и весь вагон потешается вместе с ними, думает, говорит и смеется на чистейшем гамбургском «платт», способном всякое место обратить в веселый корабельный бак.

С нашей точки зрения, все это не очень важно. Но после Берлина, где рабочий со своими инструментами имеет право ехать только в специально грязном и скверном вагоне; где преимущество второго и первого классов защищается чуть ли не полицией; где безработный, оттирая свои лиловые от холода уши, не смеет присесть на одну из бесчисленных и всегда пустующих скамеек Тир-

гартена; после торжествующего буржуазного Берлина — самый воздух Гамбурга, с его вольностью и простотой, пахнет революцией.

В 4 часа ночи, в 5 люмпен-пролетариат спит, все равно где, или препровождается в участки.

Без четверти 6, еще при электричестве, начинается первый рабочий прилив.

Над трамваем в темноте висит железная дорога, над ней — короткие светящиеся ленты электрических поездов, и все они выбрасывают на мостовую армию докеров, сотни тысяч рабочих, еще другие сотни тысяч безработных, осаждающих пристани в надежде на случайный заработок. Каждый отряд собирается возле своего мастера; в черноте просмоленных курток, из-за спин, горбатых мешками с инструментами, как у штейгера, светит масляный огонек. После переклички полки рабочих распределяются на сотни пароходов, развозящих их по верфям и заводам. Четырьмя мостами вливаются они в промышленный город. Войска и полиция зорко следят за тем, чтобы ни один «штатский» не проник на промышленные острова. Но и этих мостов и сотен пароходов, играющих на реке своими фонарями и прожекторами в какой-то неслыханный карнавал, — в черную промасленную Венецию, — не хватает для густого прилива утренней смены. Глубоко под водами Эльбы проложена сухая и светлая труба, утром и вечером перекачивающая с берега на берег легионы рабочих.

Слоновые лифты на обоих концах туннеля поднимают и опускают человеческий поток к бетонным выходам.

Они двигаются, эти два лифта, в своих скрежещущих железом, винтообразных башнях, как две лопаты, безостановочно подбрасывающие живое топливо в сотни фабричных топок. Из их горна вышло гамбургское Восстание.

БАМБЭК

Гамбургские рабочие живут далеко от своих фабрик и верфей, в части города, именуемой Бамбэк. Это одна громадная рабочая казарма, где дома похожи друг на друга, как общие спальни наемных казарм, соединенные нечистыми, голыми и сырыми коридорами улиц. В конце их открываются просветы унылых площадей, скорее похожие на общественные кухни или уборные со своим

унылым фонтаном и оловянным небом. Через это предместье, в достаточной мере гнусное и грязное, ползет, описывая стальной полукруг, исполинская гусеница железнодорожного моста. Ее слегка изогнутые ноги держатся за асфальт бетонными присосками. Голова гремучего червя, сжатая двумя домами, исчезает в расщелинах задних дворов, слепых стен и пропастей, заполненных гроздьями головокружительных маленьких балконов, на которых развешивается белье для просушки и концы вялого плюща, объевшегося дыма и сырости. На хвост дороги плоской и широкой ногой наступило здание вокзала, оставив щель, через которую выливается струя прохожих.

Как раз напротив вокзала один из участков с мутными окнами, похожими на дымчатые очки филера, с колючей изгородью, на которой болтаются лохмотья старых прокламаций. Часовой, рябое однообразие участка, томительная чиновничья скука и ненависть, изжеванная, как подобранная с полу дважды докуренная папираса.

Гавань открыта для рабочих только в определенные часы. Всосав в себя на рассвете армии трудящихся, она выплевывает их вечером до последнего человека. У опустелой промышленной крепости остаются войска, оберегающие ее подъемные мосты, турникеты и подземные туннели, по которым сгущенный поток рабочих выливается на пристань. Ни один рабочий не живет в самой гавани. Этой привилегией пользуются только испытанные, старые слуги промышленных синьоров; редкие искательно-мигающие огоньки их жилищ боязливо жмутся в исполинской тени потухших корпусов, медленно выдыхающих в ночь и туман поглощенную за день человеческую теплоту. Часовые шагают взад и вперед вдоль опустелых набережных, штыком преграждая путь к веркам всякому постороннему, поднося фонарь к самому его лицу.

— Кто, куда, зачем, пароль?

В Бамбэке волнения начались за неделю до Восстания. В среду, 17 октября, работницы и жены мелких служащих захватывают в свои руки рынки и принуждают торговать саботирующих торговцев.

В четверг и пятницу они образуют цепь перед верфями и возвращают домой пристыженных мужей. В этот же день 15 тысяч безработных и женщин демонстриру-

ют на «Поле св. духа». В субботу грандиозное собрание в Доме союзов, откуда тысячи двигаются к ратуше, прорывая неприкосновенную зону вокруг нее.

Вечером на улице десятки тысяч рабочих без конца, упорно, сосредоточенно, бешено шагающих вдоль тротуаров. Полиция арестует более ста человек, но сумрачные прогулки не прекращаются. Распространяются лихорадочные известия о нападении рейхсвера на рабочих Саксонии. Массами овладевает страшное возбуждение. Это канун революции.

В воскресенье, 21 октября, собирается конференция докеров всего Балтийского побережья — Бремена, Киля, Ростока, Штеттина, Свинемюнде, Любека и Гамбурга. Большинство делегатов СПД, но многие из них присланы заводами, бастующими уже в течение нескольких дней. Они успели возвратить профсоюзу металлистов, объявившему эти забастовки «дикими», свои членские билеты. Жестокая схватка между старым СПД Мамп'ом, делегатом Штеттина, человеком, за 28 лет социал-чиновничества успевшим покрыться мохом и плесенью, — и Т., квадратным, костистым, лобастым, стиснутым в кулак, бухающим, как оглоблей, рабочим, схватившим в свои железные руки вожжи гамбургского Восстания.

Здесь, на этой конференции, ему пришлось торопиться и останавливать одновременно. Старый кучер, привыкший подымать на крутые обледенелые скаты мостов свои тяжело нагруженные фуры, Т. на этой конференции разжигал и осаживал, едва удерживаясь на козлах, в то же время звонким шелканьем бича отгоняя социал-чиновников, всей тяжестью своего авторитета повисших на вспененных удилах и тянувших к земле вздыбленное, уже не рассуждающее, ослепшее от ярости движение.

Конференция едва позволила отсрочить всеобщую забастовку на несколько дней. Только благодаря ее резолюции удастся убедить и призвать к спокойствию бурное собрание фюнксионеров (ответственных работников).

В воскресенье ночью курьер привозит известие (ложное) о взрыве в Саксонии. В районы немедленно передается приказ о генеральной забастовке. Десятки крупнейших предприятий присоединяются к Немецкой верфи, запертой (abgesperrt) еще с субботы.

Вторая рабочая смена покидает мастерские и, прорав кордоны полиции, возвращается в центр. К четы-

рем часам гавань парализована. Стотысячная толпа гуляет по улицам Гамбурга, придавая ему вид города, уже охваченного Восстанием.

Второй курьер: он выступает на собраниях Альтоны и Нойштата¹ с совершенно фантастическими известиями о мобилизации русской армии, о походе наших подводных лодок на помощь Гамбургу.

Глубокой ночью заседание «головы»: руководители военной организации получают боевые приказы, которые принимаются с чувством глубочайшего внутреннего удовлетворения. Т., в течение нескольких часов борющийся за отсрочку, буквально затыкавший собой все пробоины, через которые движение грозило преждевременно хлынуть на улицы, теперь отпускает повод, поднимает все плотины, отвертывает все краны, еще удерживавшие клокочущий погон Восстания.

И К. радовался. Несколько слов о нем.

Рабочий. На войне фельдфебель, всеми силами ненавидевший то, что в окопах называли «*der preussische Drill*»². За храбрость произведен в офицеры. Затем в одном из городов занятой Галиции громкий скандал, едва не стоивший ему свеженьких эполет. Четыре недели тюрьмы за пощечину, публично данную майору. В 18-м году К. уже член Совета рабочих депутатов Гамбурга. Участвует в мартовском Восстании. Незадолго до него, после объединенного Партейтага, примыкает к КПД. Один из активнейших членов гамбургской организации. Все вместе — военная подготовка, мужество, грубость, веселость портового рабочего, точная, крутая быстрота старого фельдфебеля, умение «вставить фитиль» — все эти несравненные качества снискали К. популярность в массах и осторожное, чуть брезгливое отношение «*der Intellektuellen*» (интеллигенции). Еще бы, филистеры не любят улыбающихся людей, с неизбежным запахом «*Kö'm'a*» и крепкой портовой бранью.

Радость, грубость и легкий хмель в крови считаются несовместимыми с званием партийной европейской чинушки.

После августовских волнений партию буквально наводнили шпионы. Один из них, по старой провокационной привычке, предложил доставить ящик с оружием,

¹ Западная часть Гамбурга.

² Прусская муштра (нем.).

при получении которого должны были провалиться члены военной организации. К. было поручено разоблачение этой полицейской штуки. Вместе с филером он едет получать оружие. На одном из мостов спокойно берет человека за воротник и вывешивает его за борт.

— Сознавайся, мерзавец.

Сознался, получил свою порцию и исчез.

В моменты затишья дикие силы товарища К. делают из него трактирного драчуна и диктатора, грозу и гордость целого околотка.

Он встречает в кабачке пачку СПД; роскошный гамбургский «Кот», пополам с превосходным пивом, чрезвычайно обостряет диалектику К. В конце концов меньшевики, доведенные до иступления тихим издевательством этого гиганта с прижмуренными добродушнейшими и хитрейшими глазами, с ревом бросаются в схватку. Нацелившись на жожака, К. выхватывает его из середины единомышленников и швыряет на рояль, — вклеивает почтенного меньшевика в потрясенный рояль. Скандал, полиция, разбитые носы и неслыханные аккорды несчастного инструмента. Бездействие страшно опасно для таких людей, как К. Но в активной борьбе они выдвигаются в первые ряды.

Во время Восстания именно К. и офицер-коммунист Кб. спасли Бамбэк от разгрома сетью изумительных баррикад. Об этом ниже.

В полночь руководители расходятся, чтобы уведомить и собрать членов рабочих сотен. Партия в целом, так же, как и широкие слои беспартийных рабочих, должна была узнать о Восстании наутро, уже после захвата всех полицейских участков ударными группами военной организации. Штурм полицейского бюро предполагался 23 октября на рассвете, одновременно во всех частях города в $\frac{3}{4}$ пятого утра, и уже по захвате участков взятие и разоружение казармы «Вансбэк». До этого момента военные руководители, мобилизовав своих людей, должны были провести остаток ночи вместе с ними, никого не отпуская домой, не зажигая света, не позволяя ни под каким видом уходить «для прощания с семьей». Только благодаря этим предосторожностям полиция действительно была захвачена врасплох и разоружена голыми руками. Надо отдать справедливость Т. и другим товарищам, вместе с ним выработавшим этот план борь-

бы. Они наполовину выиграли дело, предпослав массовому Восстанию этот молчаливый, никем не предвиденный удар военной организации, который: 1) лишил противника опорных пунктов, какими являлись участки, 2) вооружил рабочих за счет полиции, 3) вызвал в массах сознание уже одержанной победы и тем легче вовлек в едва начавшуюся борьбу. Правительство по заслугам оценило дислокацию Восстания. Вот что пишет о нем гамбургский Polizeisenator Хензе (социал-демократ):

«Самое худшее в этом Восстании вовсе не малочисленность и не недостаточность войск, находящихся в нашем распоряжении. Нет, ужасно (schrecklich) то, что на этот раз, в отличие от всех предыдущих путчей, коммунисты сумели все свои длительные и серьезные приготовления произвести в такой тайне, что ни единый звук не достиг до нашего сведения. Обычно мы до мельчайших подробностей бывали осведомлены обо всем, происходящем в лагере коммунистов. Не то чтобы приходилось содержать в их рядах специальных шпионов. Нет, порядколюбивая публика, к которой я причисляю и рабочих, состоящих членами и социал-демократической партии, обычно без всякого понукания осведомляла нас обо всем, происходящем среди коммунистов».

На этот раз «порядколюбивым меньшевикам» не пришлось предупредить власти о готовящемся Восстании. Они сами о нем ничего не знали, настолько не знали, что осадное положение, в течение последней недели державшее полицию в состоянии напряженной готовности, было отменено правительством в ночь с воскресенья на понедельник, то есть накануне Восстания.

Но вернемся назад на несколько часов. Вот мелочи, рисующие настроение партии в момент ее мобилизации, когда людей брали врасплох, срочно вытряхивали из постели и за шиворот уводили — неизвестно куда. Это сумерки, когда спросонком нестерпимо холодно, хочется спать и все окрашено в безрадостный болотный цвет, словом, время, когда не очень-то встанешь в героическую позу. Все, что говорится, правдиво и грубо.

Один из руководителей Восстания обходит своих Bezirksleiter'ов¹, чтобы передать им приказ об утреннем выступлении.

¹ Окружных руководителей (нем.).

Безлюдная улица, спящий дом, сонная, душная, храпящая квартира. Семья беднейшего рабочего. Он встал и оделся, не спросив зачем, не промедлив ни минуты. Спокойное рукопожатие и медленно удаляющийся уголек папиросы в темноте.

Другая щель — в одном из рабочих кварталов. Дверь открывает жена, помогает мужу собрать вещи, держит огарок свечи над кухонным столом, на котором разложена карта. Долго крепится и затем из глубины души, с чувством глубочайшего облегчения:

— Endlich geht es los... (наконец-то начинается).

В третьей норе — жена мужу, замешкавшемуся со сборами:

— Nu mach di mal fertig (приготовляйся-ка поскорее).

Наконец предместье св. Георгия. Здесь не спят. В задней комнате зажжена лампа, подергивающаяся в паутине табачного дыма. Хозяйка отвечает уклончиво — и дома, и нет, и ничего она не знает. На лестнице осторожные шаги, и вдруг в дверях появляется товарищ Р., с лицом, вымазанным сажей, босиком, с пачкой винтовок под мышкой и с карманами, набитыми всякой амуницией. В тени радостно улыбающаяся физиономия того типа, который в портовых кабаках более всего известен под именем Рауди (взломщик). Что? Они вынесли целый оружейный магазин. Этот Genosse¹ конечно не совсем Genosse, а только сочувствующий. Но быстрота и проворство, с которым он подцепил затвор и поднял витрину... Рауди кланяется с гордой простотой великого артиста.

Между тем товарищ, получив пароль и план захвата соседнего участка, со всем находящимся в нем оружием, говорит тоном глубокого сожаления:

— Mensch, den har ich dat jo nicht mehr neudig hat!²

Вся борьба Бамбэка, продолжавшаяся три дня, в первой своей фазе велась за железнодорожный позвоночник предместья, сломать который рабочие не могли благодаря недостатку оружия и, главное, отсутствию взрывчатых веществ. Положение их осложнилось тем, что один из самых трудных участков (von Essen Str.), расположенный в тылу инсургентов, ими захвачен не

¹ Товарищ (нем.).

² Дружище, мне это уже ни к чему! (нем.).

был, все время отвлекая и удерживая возле себя значительные силы восставших. Уцелел этот участок благодаря совершенной случайности. В то время как Х., огромного роста рабочий, отличающийся каким-то особенным, как свежий асфальт, непроницаемым и укатанным спокойствием, с двумя товарищами уже ворвался через главный вход участка и, стуча палкой по столу, требовал немедленной удачи, — а синие и зеленые уже начали нерешительно отстегивать толстые пряжки своих поясов, — вторая часть отряда, обошедшая здание с тыла, проникла во двор и, озадаченная полной тишиной, воцарившейся в занятой уже мышеловке, открыла стрельбу по окнам участка. Зиппо и рейхсверисты пришли в себя, увидели перед собой трех безоружных рабочих, двоих бросили в пыль, Х. контузили и, заперевшись затем в погребе, забросали нападающих ручными гранатами. Рабочий отряд отступил. На первом же перекрестке он был остановлен Кб., уже подымавшим навстречу войскам упрямую сеть своих баррикад.

Один офицер на все Гамбургское восстание, но как много он для него сделал! Не было улицы в Бамбэке, не было переулка, щели, лазейки, которой не преградили бы двумя-тремя заторами. Они вырастали как изпод земли, размножались с невероятной быстротой. Нет пил и лопат — их достали. Обыватели были привлечены к земельным работам, потея, таскали камни, ломали мостовые и самоотверженно пилили священные деревья общественных садов; готовы были самих себя взорвать на воздух — только бы уберечь от этого бурного строительства свои шкафы и комоды, кровати и сундуки.

Одна только старая женщина, тронув за рукав товарища Кб., позвала его за собою наверх, — чтобы взять чрезвычайно удобную для баррикады, прочную и широкую доску от умывальника — гордость всего хозяйства. Доска была пущена в оборот — стойко держалась до конца, — но это ведь исключение. А в общем — старая романтическая баррикада давно отжила свой век. Девушка в фригийском колпаке не держит над ней продырявленного знамени, версальцы в белых гамашах не расстреливают больше мужественного гамена, здесь нет больше студента из quartier Latin, кружевным платком зажимающего смертельную рану, в то время как рабочий выпускает последнюю пулю из

длинного старомодного дула последнего пистолета. Увы! Военная техника весь этот милый романтический хлам оттеснила на страницы хрестоматий, где он еще продолжает жить, обвеянный легендами и пороховым дымом 48-го года. Теперь дерутся иначе. Баррикада, как крепостная стена между винтовками революции и пушками правительства, давно стала призраком. Она никому больше не служит защитой, но исключительно препятствием. Это легкая стена, сложенная из деревьев, камней, сваленных повозок, заслоняющая собой глубокую канаву, яму, окоп, преграждающий путь броневикам, этим опаснейшим врагам восстания. Именно в окопе лежит смысл существования современной баррикады. Но старинная баррикада, после вытесненная траншеей, перекочевавшей в города с мертвых полей большой войны, продолжает верой и правдой служить инсургентам, хоть и в несколько иной форме, чем это делала ее героическая прабабушка 93-го и 48-го годов¹.

Наваленная поперек улицы, не позволяя хорошенько разглядеть, что, собственно, происходит за ее дохматыми угрожающими кулисами, она сосредоточивает на себе внимание противника, служит ему единственной видимой мишенью. Баррикада мужественно принимает на свою пустую грудь весь яростный, слепой огонь, который войска обрушивают на своего невидимого противника. Да, вот еще новая черта, совершенно изменившая пейзаж гражданской войны, всю ее стратегию и тактику. Рабочие стали невидимыми, неуловимыми, почти неуязвимыми. Новый метод борьбы придумал для них шапку-невидимку, которую не берет никакое скорострельное оружие. Рабочие не дерутся, почти не дерутся больше на улицах, которые они всецело предоставили полиции и войскам. Их новой баррикадой, огромной, каменной, с миллионами тайных проходов и лазеек, с миллионами надежнейших лазеек, является весь рабочий город в целом, со всеми своими подвалами, чердаками и жилищами, каждое окно первого этажа — бойница этой неприступной крепости. Каждый чердак — батарея и наблюдательный пункт. Каждая постель рабочего — койка, на которую инсургент может рассчи-

¹ Имеются в виду гражданские бои 1793 г. в Париже и 1848 г. в Париже и Берлине.

тывать в случае ранения. Только этим объясняются совершенно ни с чем не сообразные потери правительства, в то время как рабочие в Бамбэке едва насчитывают десятков раненых и 2—5 убитых.

Войска принуждены наступать по открытым улицам. Рабочие принимают бой у себя дома. Все попытки регулярных войск захватить Бамбэк во вторник разбились именно о разбросанный, невидимый, неуловимый строй стрелков, спокойно выбиравших себе мишень откуда-нибудь из окна второго этажа, в то время как внизу беспомощная, оголенная толпа полиции буквально заливала огнем пустые баррикады.

Кб., предвидя атаку броневых автомобилей, без динамита и пороха ухитрился взорвать бетонный мост, считавшийся вечным. Рабочие прощупали его уязвимую артерию — газовую трубу, — вскрыли ее и подожгли.

Одна из машин сослепу ворвалась в тихую безлюдную улицу. Остановилась, чтобы исправить что-то в механизме. Перед ней выросла баррикада. Овернулась — спиленные деревья уже скрестили на мостовой свои упавшие верхушки.

Машина М-14 осторожно пробирается под железнодорожным мостом. На ней шофер и 5 человек Зиппо. Из-за кабачка, из-за угла, неизвестно откуда, но совсем близко, — выстрел и еще выстрел. Рулевой убит, убит один из солдат. Машину на клочки, на щепы разнесли комсомольцы.

Настоящие регулярные бои продолжаются весь вторник. Первые серьезные атаки можно отнести часам к одиннадцати. Ожесточеннее всего они ведутся вокруг участка von der Essen Str. и по всей линии баррикад, с двух сторон обращенных лицом к железнодорожной насыпи. Полиция бурно захватывает вокзал. Ее отряды бегут по полотну, стараясь сверху выбить бойцов. Их спокойно пропускают мимо первых двух засад. Над третьим пролетом разражается убийственный залп. Бьют не только из-за прикрытий, но и со всех соседних чердаков. Стрелки рассыпаны по крышам, держат под огнем целые улицы, важнейшие перекрестки и площади.

Внизу окоп и баррикада. Она держится уже несколько часов. Отряд Зиппо наступает все жесточе. Положение становится невыносимым. Но сверху крик: «die

Barrikade frei»¹. Люди не понимают в чем дело. К ним спускается стрелок — молодой еще рабочий лет 23-х, по-видимому раненый — его плечо в крови, шея и пояс тоже. Приказывает очистить баррикаду, так как отряд, залегший на крыше, боится попасть в своих. Рабочий исчезает в подъезде, через несколько минут огонь с крыши заставляет полицию отступить.

Еще баррикада, часами оказывающая упорное сопротивление. Сверху, с чердака, спускаются четверо одиночных стрелков. Со своей наблюдательной вышки они еще издали заметили приближение броневика и решили, что им удобнее встретить его внизу. Одному из них счастливым выстрелом удастся пробить холодильник; машина парализована. Стрелки снова возвращаются на свою голубятню.

Между тем у вокзала бои все более разгораются. Рабочим не только удастся сбить с насыпи несколько белых колонн подряд, они пытаются сами перейти в наступление. Но открытое пространство перед виадуком обстреливается броневиками. Его невозможно преодолеть. Что же, рабочие идут на огонь под прикрытием огромных бревен, взятых на соседнем дровяном дворе. Целый мачтовый лес встает и двигается, образуя отличный блокгауз, за которым стрелки продолжают свою неспешную методическую работу.

В это же время внизу разворачивается первая массовая атака. Два броневика прикрывают шесть грузовых машин, выбросивших на мостовую целую тучу зеленых. Этой группе удастся отрезать товарища Х. от Кб. и его людей, двигавшихся по другую сторону виадука. Даже больше. Кб., опередивший своих бойцов метров на двести, попадает в плен. Его обыскивают и запирают в здании вокзала. Если бы полиция знала, что в лице этого тщедушного человека, с такими безобидными глазами молодого учителя, неосторожно вышедшего погулять среди баррикад, она держала в своих руках душу возмущенного Бамбэка. Сидя тихонько у окна, Кб. произвел генеральный смотр силам противника. Он пропустил мимо себя возбужденные толпы полицейских, подгоняемых немногими мужественными офицерами. Этих несчастных наемников, подбадривавших себя стрельбой и криками, бросавшихся на живот через каждые 4 шага

¹ Баррикада свободна (нем.).

с отчаянным жестом в сторону флегматичного броне-
вика, на несколько метров отставших от своего «аван-
гарда». И из этого же окна Кб. наблюдал холодное са-
мообладание нескольких рабочих, особенного малень-
кого Д., руку которого он узнал по испуганным лицам
санитаров, восемь раз подряд выходивших из огня со
своими тяжело покачивающимися носилками. Наконец
последний взвод зеленых с судорожными криками и
пальбой исчез в пустых улицах восставшего предме-
стья,— странных, совершенно пустых улицах, лишенных
всякого признака жизни, как бы покинутых своими
обитателями и защитниками. Четыре мучительных, бес-
конечных часа длится ожидание. Около пяти часов
пополудни волна войск и полиции шумно откатывает-
ся назад. Их потери огромны.

Штаб, который должен был руководить Восстанием
в самом Бамбэке (с тремя коммунистами-интеллиген-
тами — членами муниципалитета во главе), увы, отсут-
ствует. В течение двух дней его никто и нигде не может
найти. Боями руководят Кб., Х. и, конечно, Т., устро-
ившийся со своим аппаратом летучей связи прямо
под открытым небом, в одном из общественных
парков.

Около шести часов вечера Бамбэк стоит, оглушен-
ный тишиной; передышка. Кб. пробирается в дружест-
венный трактирчик, где Д. — маленький стрелок уже
лежит на диване, отпаиваемый горячим кофе. Дивный
стрелок Х. и В. приходят сюда же — перевести дух.
И неистовый К. — горячий и веселый, как будто играл
в кегли в добрый послеобеденный час или, таща за со-
бой ворчливую, утомленную супругу, только что совер-
шил одну из своих 30-верстных прогулок, выбирая место
для ученья своих рабочих сотен.

Словом, все, что было мужественного в Бамбэкском
мешке, пришло обменяться рукопожатиями, обмыть
кровь и решить — что же дальше? Что значит эта ти-
шина, изредка нарушаемая стуком оконной рамы, из-за
которой на улицу выбрасывается белый флаг — призыв
раненого или умирающего?

Между тем молчаливый Бамбэк, на который сумерки
опускаются, как простыня тумана на носилки изранен-
ных улиц, — тихонько разрезан на две половины. Пол-
торы тысячи войск отделяют Бамбэк Северный от Юж-
ного. Опорные пункты — Wagner St., участок № 46,

вокзал Friedrichstrasse, Pfennisbbusch бесшумно протягивают друг другу руки в темноте, как цепь полиции, оттесняющей какую-нибудь безобидную уличную демонстрацию.

И вдруг круг замыкается — мускулистый, эластичный круг, в который, как тусклые камни в браслет, вставлены глыбы броневых автомобилей, опять вплотную пододвинувшихся к баррикадам. Плотный ком подкатывается к горлу Бамбэка. Правда, наши посты все еще на местах. Но время против них. Противник выигрывает с каждой каплей темноты, которую ночь насильственно вливает в темную, бешено стиснутую пасть предместья.

Наконец белые так же невидимы, — а значит, и неуязвимы, — как и восставшие. И их больше.

Вдоль одной из улиц, по обе ее стороны, ползет гуськом двойная цепь патрулей. У каких-то ворот ведущий ее офицер схватывает тонкого безобидно-интеллигентного человека, наводит револьвер на его грудь. И не видит второго, в темноте отшатнувшегося, с винтовкой в руках, неподвижного, как камень. И во второй раз в этот день, подержав в руках пружину неистового Бамбэка, ландскнехты дали ей ускользнуть между пальцев. Через полчаса Кб. дал своим стрелкам приказ испариться, исчезнуть из Бамбэка, окруженного, полузадушенного, наполовину залитого потоками невидимых врагов.

Каждый самостоятельно проложил себе путь к отступлению; один шел этой горной тропинкой — через скалистые хребты крыш, над пропастями этих искусственных городских Альп. Ни один не сорвался, ни один не был схвачен.

На следующее утро все тридцать пять встретились уже в Бамбэке Северном, решив опереться на широкий полукруг железнодорожной насыпи. Снова в течение долгих часов — бои, бешеная стрельба, преграждение соседних улиц, баррикады и много, много сброшенных врагов. Пять — десять свежих винтовок вступает в дело, — увы, игрушечных, взятых в соседнем охотничьем клубе. И перед этим Восстанием, прижатым обоими крыльями к насыпи, три побитых атаки, три своры, принужденные уйти с раздробленной головой: красным этот день стоил четырех человек. Четырех превосходных товарищей; кроме того, старик Левин заплатил за него

тяжелой, мучительной кровью. В его саду были найдены эти трещотки, эти охотничьи ружья из клуба. Старушке Левин, в ее домик с старинными комодами, котом, белой козой, портретом старого Либкнехта и почти столетней традицией мужественного атеизма и старой партии времен «закона о социалистах», — вернули сперва пальто старика в кровавых пятнах, а затем совершенно обескровленное тело. И старший сын, филистер и СПД, пришел копаться в ящиках, продавать имущество и требовать от старушки Левин ее подписи на каких-то бумагах. А она помнит только одно — как старик стоял на грузовике, один в толпе зеленых, и был бледен.

Здесь, вечером 24-го, товарищи почти одновременно узнали о падении Шифбэка и о спокойствии, царившем в остальной Германии.

В среду, 24-го, руководящая группа, не получив известия о начале германской революции, принуждена дать сигнал к отступлению. Не потому, чтобы рабочие были разбиты, — но какой смысл продолжать борьбу в одном Гамбурге, одиноко вспыхнувшем на фоне всеобщего развала?!

Однако не так легко дать приказ об отступлении в городе, опьяненном победой, где с минуты на минуту оборона готова перейти в наступление, где сотни баррикад, десятки рабочих готовятся ко всеобщему штурму, к последнему грозному акту гражданской войны — победоносному захвату власти. Первого курьера, принесшего на баррикады приказ об отступлении, сбили с ног бешеной пощечиной. Это был честный старый рабочий, в течение всего Восстания вместе со своей семьей несший опасную курьерскую службу. Товарищ П. едва не покончил с собой, наливался кровью, как его избитая щека, вспоминая этот ужасный удар, так незаслуженно полученный от товарищей. Весь рабочий Гамбург точно так же схватился за щеку и ослеп от боли, получив приказ ликвидировать Восстание.

Нужно было пользоваться таким доверием масс, каким пользовался Т., выросший вместе со своими организациями, неразрывно связанный с их пролетарской сердцевиной, чтобы безнаказанно сделать такой крутой поворот руля, каким была демобилизация.

Что же, они отступили. С досадой, с ропотом, на прощанье в последний раз и притом на много часов отбро-

сив противника от своих баррикад. Пользуясь этим замешательством, стрелки бесшумно покинули окопы, баррикады, охранительные посты. Ушли с оружием, унося раненых и убитых, заматавая за собой все следы, постепенно распыляясь в затихших предместьях. Это планомерное отступление совершилось под прикрытием стрелков, рассыпанных по крышам. Никто из них не покинул своих воздушных баррикад, пока там, внизу, на глубине пяти этажей, последний боец не ушел из своего окопа, пока последний раненый, поддерживаемый под руки товарищами, не скрылся в воротах безопасного дома. Весь день они продержались, все еще задерживая белых, перебегая из одного квартала в другой по скользким карнизам, висящим над пропастями, мимо черных лестниц, зияющих, как траншеи, мимо колодцев — слуховых окон, через которые все настойчивее пробивалась наверх полиция, почуявшая, наконец, пустоту и поражение за безлюдными, примолкнувшими баррикадами. Борьба превратилась в погоню. Все население прятало и спасало героический арьергард Гамбургского октября, этих раненых, обугленных, затравленных одиночек, все еще стрелявших где-то над городом и вдруг врывающихся в незнакомые рабочие семьи с окровавленными руками, в лохмотьях, с черным высохшим ртом и сворой охотников, с грохотом и руганью пронесившихся мимо едва захлопнутой двери.

Одним из последних отступил старый рабочий товарищ В., растерзанный, шатающийся от усталости, пьяный от желания лечь и заснуть, не цепляясь больше за скользкую черепицу, за острый угол дымовой трубы. Уже внизу, в тени глухих ворот, открывавших ему выход на свободу, он еще раз остановился, вскинул свою винтовку, чтобы с наслаждением и злостью расстрелять последние патроны. Весь угол, к которому он прислонился, был избит пулями. Благодаря шальной случайности ни одна из них не задела его головы, как тенью обведенной на камне царапинами и дырами. Его едва удалось увести. Вокруг шеи, поверх расстегнутой рубахи и лохматой вспотелой груди был повязан ослепительно нарядный галстук.

— Человеке, зачем тебе этот шлипс?

— Ich wollte festlich sterben...¹

¹ Я хотел умереть празднично... (нем.)

Несколько поодаль от Гамбурга, там, где скучная линия телеграфных столбов марширует в сторону плоской, оголенной, песчаной Пруссии, лежит рабочий городок по имени Шифбэк. Растянут он между речкой Билле, мутной, гладкой, как олово, и холмами, на которых растут редкие деревья, выбежавшие на ветер простоволосыми и растрепанными, и двухэтажные, разрозненные домики рабочего поселка.

Посредине, как ржавый зонтик, воткнутый в землю для просушки после дождя и так навсегда забытый, пустует евангелическая церковь. Интернациональное население рабочего городка ее не посещает, так как в бога не верит. Теперь, после боев, она стоит с подбитым глазом, без стекол и дверей, как поп, заблудившийся и попавший в чужую драку.

На островке, по ту сторону Билле, помещается большая химическая фабрика — холодная, ядовитая, полная кристаллов, отлагающихся в черной ледяной воде, нафталина и зеленых ядов, застилающих ее пол как будто бы свежим купоросным мохом. На ней занято около тысячи рабочих.

В топках, которые никогда не остывают, льется огонь, густой, как расплавленные планеты. За ним наблюдают через маленькие оконца. Иногда белый жар застилается легкой угольной дымкой, но чаще он бел и неподвижен, как слепота. Из пылающей топки рабочие, до пояса голые, выбрасываются на мороз, на снег, под дождь, чтобы избежать этого воздуха, в котором могли бы расти и нежиться гигантские хвощи и теплые болота, сваленные теперь по углам грудями угля.

По обе стороны узкого каменного коридора лежит паровая мельница и огромный железопрокатный завод. Его труба, которая выше всех других, — в рождественскую ночь похожа на угрюмого курильщика, вдруг оставшегося без табака.

«Оловянные хижинны» расположены на краю пустырей, теперь белых и студеных. У этого завода одно длинное безногое тело, припавшее животом к самой земле, — и семь ровных труб, в ряд поставленных, как минареты, с которых каждое утро звучит пронзительный муэдзин труда.

Работа на этой фабрике чрезвычайно вредна для легких. Самые сильные не выдерживают более 4-х лет. И надо быть С., героем октябрьского Восстания, чтобы, проработав в этом аду несколько лет, выйти из него невредимым. Но ведь на то он и С., исполин, ростом которого гордится весь Шифбэк.

Спросите любого мальчишку, он вам расскажет, что С. подымает на плечо 6 человек, уцепившихся за железную перекладину, что его руки гораздо больше и поместительнее кошелек, с которыми добрые шифбэкские хозяйки ходят на базар, и что утром, когда он свешивает с постели свои чрезвычайные ноги, весь дом так скрипит и трясется, что соседки без часов знают, что пора будить мужей на работу. Но ведь это, как сказано, С., гигант, храбрец, большевик, вообще дьявол — ему-то «Оловянные хижины» большого вреда не причинили. Зато маленький Х. ушел из них с обваренной ногой, голой до кости; К. — с красными плевками, завернутыми в грязный носовой платок.

Еще выше по течению Билле стоят дымные башни «Ютэ», одной из крупнейших мануфактур Гамбурга. Работают на ней преимущественно женщины, плохо оплачиваемые, плохо организованные, из-за которых партия из года в год ведет ожесточенную борьбу с меньшевистскими профсоюзами и с удивительно крикливой, вспыльчивой и легко пугающейся бабьей косностью, предпринимателем и попом.

Женщины «Ютэ» упорно сопротивлялись всякой твердой, устойчивой организации. Где только было возможно, цеплялись за заработок, после первых дней забастовки с воем шли мириться к директору, били стекла в конторе — и потом выдавали зачинщиков. Однако в процессе нормального капиталистического хозяйства фабрика сама вычесывает из этой спутанной, неприятельской, удобной для эксплуатации женской массы первые нити крепкой пролетарской солидарности. Как ни уступчивы были женщины, заработок их съезжал все ниже и ниже. То одно, то другое отделение подвергалось бешеной скачке спекулятивных тарифов. А в пределах своего дома, своего хозяйства, своей собственной фабрики женщины так же солидарны, как они безразличны к политическим движениям, выходящим за его пределы. Они могут не обратить внимания на всеобщую забастовку, но никогда не предадут своих товаров из

соседнего отделения. Таким образом, миролюбивая по существу «Ютэ» вот уже, слава богу, больше года из шести дней в неделю работает не более трех, остальное время она совместно с очередным бастующим отделением сидит на мостовой.

«О, ха!» (это любимое выражение каждого истого гамбуржца).

«О, ха!» — говорят рабочие, в течение месяцев и лет ведущие на «Ютэ» пропаганду, — голод сделает из них хороших коммунистов.

Вот одна из удивительных женщин, вышедших из «Ютэ». Назовем ее Фрида, и пусть она будет дочерью ночного сторожа в Шифбэке. Отец был известен в городе как правоверный меньшевик и обладатель отличного карабина, при помощи которого соблюдал порядок и тишину вверенных ему пустырей и домов, именуемых рабочими «Hundebuden», что значит «собачьи дома». Так.

Но если сторож и его карабин честно поддерживали право частной собственности, то Эльфрида при помощи своей изумительной красоты всячески опрокидывала и попирала эти священные устои.

Эльфрида не только отличная коммунистка, превосходный товарищ, геройская девушка, дравшаяся на баррикадах, поднимавшая на ноги все женское население Шифбэка для устройства походной кухни — под огнем носившая стрелкам в окопы горячий кофе и свежие патроны, обвязанные вокруг ее тонкой талии, — собственноручно посадившая под замок своего старика и пополнившая скудные боезапасы партии его старомодным ружьем, взятая, наконец, полицией в разгар своей преступной деятельности, то есть за чисткой картофеля для инсургентов, среди груды свежей шелухи и с засученными рукавами — мужественная, деятельная, навсегда преданная партии женщина, но, может быть, один из первых людей того нового и смелого типа, который так неудачно подделывают страницы новопролетарского романа и проповеди альковных революционеров.

В нищенский квартал Шифбэка с нею пришел дух разрушения и свободы. Эльфрида отказалась стать чьей бы то ни было женой. Ее имя вызывало боязливое уважение и бурную ненависть законных жен, у которых она на день, на год, на жизнь отнимала мужей, отцов, возлюбленных. Завоевывала того, кого выбирала, любила, пока в любви не было лжи, и затем высоко-

мерно возвращала свободу своим пленникам. Но зато для себя и своего ребенка ни у кого не просила имени, счита, помощи. Никогда не пыталась в слабости и болезни опереться на закон, которым всю жизнь пренебрегала.

От станка она пошла в тюрьму.

Но прежде об одной сцене, об изумительной сцене, действительно имевшей место в коридоре гамбургской ратуши, с балкона которой в 18-м году осторожно извергался доктор Лауфенберг и куда в октябре 23-го свозили арестованных коммунистов.

Это было в тот страшный день, когда у подъезда шифбэкского участка стали грузовики в три, четыре, пять рядов, нагруженные пленными рабочими, пластом наваленными друг на друга.

Повстанцы! Они бились в открытом бою, по всем правилам честной войны, ставя жизнь за жизнь, против врага во сто крат более сильного и тем не менее щадя пленных и отпуская раненых. С ними после поражения, конечно, поступили как с пойманной сволочью, как с отщепенцами, стоящими вне закона. Полиция топтала ногами эти ряды сваленных друг на друга, окровавленных, задыхающихся тел. Внизу люди, прижатые лицом к доскам, перепачканным углем, умирали, раздавленные тяжестью товарищей, лежащих на них, в то время как наверху вахмистры рейхсвера вырывали волосы, ломали прикладами затылки скованных людей, впавших в беспамятство.

Там раздавили троих. Там С., этот дуб среди людей, С., сверхчеловек по своей изумительной физической силе, блевал кровью и лишался сознания. Там умирал К., там маленький подвижный Л. под сапогом усмирителя готов был выскочить из своего раздавленного существования, как вытекает глаз из орбиты, полной огня и слез. Обо всем этом позже — мне не хочется начинать Шифбэк с эпохи полицейских зверств. Они — только грязный кровавый эпилог трех дней Восстания, которых солдатским сапогом не вытоптать из истории нового рабочего человечества. И на какой недосыгаемой освященной высоте стоит борьба рабочего Гамбурга над окровавленной грязью полицейских полов, над плахами подлых судебных бюро, на которых писали протоколы и пороли, пороли и снова писали, над вонючей духотой уборных, этой, ныне прославленной, ратуши, где аре-

стованных заставляли мыться и даже принимать душ, чтобы у членов местного правительства, господ социалистических депутатов, пришедших убедиться в хорошем и человечном обращении полиции с ее военнопленными, не сделалась морская болезнь при виде размазанной крови или от запаха одежды какого-нибудь подростка, члена гамбургского комсомола, избитого до того, что он потерял власть над своими физиологическими отправлениями.

Так вот, в этом длинном белом коридоре, где пьяная солдатня гоняла сквозь строй попавший в ее руки живой кусок революции, где люди под плетью лезли на стены, где пахло резиной и кровью, в этом коридоре Эльфриду, оберегавшую так тщательно, с таким трудом оберегавшую достоинство своей одинокой жизни, лишенной подпорок всякой официальной морали и все-таки чистой и прямой, как стрелка, в этом коридоре ее поливали самой вонючей грязью ругательств и насмешек.

Каждые четверть часа в зал врывалась новая толпа рейхсвера, подымала с пола уже свалившихся, заново била уже избитых, приводила в себя обморочных, чтобы опять опрокинуть их, и каждая из этих шаек заново принималась за нее, стоящую среди зверья, как будто бы она была голой.

Ей кричали: «Коммунистическая шлюха».

Ей кричали: «Продажная».

Ей кричали: «Ты не немецкая женщина, а тварь».

И в этом ужасе, в этом бесконечном застенке, длившемся день, ночь, день, эта девушка вспомнила: ведь была великая немецкая женщина, большая, как мрамор, и ничто после ее ужасающей смерти не было так прекрасно и мудро в немецкой революции.

И дальше: она оставила маленькую книгу писем. Белая обложка и красные буквы. Письма из тюрьмы.

Роза Люксембург.

Эльфрида стояла в осатанелом коридоре и кричала о Розе Люксембург, пока ее не услышали. Когда девушка вооружается Розиным именем, она сильна, опасна, как вооруженный, — она воин, и никто не смеет ее тронуть.

Невозможно добиться, как и что было сказано, какие были слова.

Но какой-то унтер извинился.

Одна из шаяк ушла, подобрав хвост, говоря, что «они не знали». Может быть, одного из раненых, пользуясь этой передышкой, отняли у солдат и под руки вытащили из свалки.

Это — об Эльфриде из Шифбэка.

ПОРТРЕТЫ

1. ДВОЕ

Пара. Рассказывают, в Шифбэке жили двое — рабочий и его жена, оба хорошие старые коммунисты. Они разошлись несколько лет тому назад, жили самостоятельной жизнью в новой семье и не встречая друг друга. В октябре он как отличный стрелок дрался в одном из окопов, пересекавших узенькие голые улицы. Случилось так, что прежняя его жена стояла и дралась рядом. Как раньше — в дни Спартаковского восстания и Капповского путча. Рабочего взяли — его жена дала себя арестовать на следующий день. Так эта семья бойцов совершенно естественно соединилась при первом выстреле, под огнем. Судить их будут вместе.

2. СОБСТВЕННЫЙ ДОМИК И ВОССТАНИЕ

Она была близорукой, целомудренной, страдающей глазами, обыкновенной католической сестрой милосердия. Он, сейчас же после войны, — коммунист. Изумительно предприимчивый, решительный, быстрый работник. В партию он включился, как те маленькие домашние батареи, которые могут светить, вертеть валик для точения ножей, катать по восьмерке игрушечную железную дорогу, но все-таки остаются миниатюрой огромного энергического чуда, двигателя всей эпохи машин — только в капельном масштабе. Когда нужно, батарейка выбрасывает настоящие жгучие искры — больше себя самой.

Этого деятельного и тонко-квалифицированного рабочего, как некая избранная болезнь — очень редкая, раз на десять тысяч, а потому и неизлечимая, поразила

большая и мучительная любовь к набожной, костистой, неуклюжей сестре.

Это у них вышло совершенно взаимно, как в таких случаях полагается, в одну минуту и навывлет.

Они поженились, перескочив через его политику и ее катехизис, даже забыв о них на время. Затем никогда не потухавший, никогда не отдалявшийся от партии товарищ Л. начал копить деньги и строить собственный домик на окраине окраин, за оазисом белых с красными крышками домиков, которые себе построили и подарили на казенный счет члены местного самоуправления, пятеро старых социалистов-меньшевиков. Все в одном месте, по-семейному.

Ветер их обдувает, население, проходя мимо, плюется. Впрочем, люди живут хорошо, сытно.

Л. работал, работал сверхурочно, ночью, и в праздники бежал на пустырь и с великим терпением и трудом выводил свой дом: по кирпичу, по щепке, по черепице.

Родился первый ребенок, родился второй. Партия ушла в туман, стала теоретическим мирозерцанием, мыслью, запертой в необитаемый угол.

Иногда, в часы домашнего затишья, Л. слушал ее однообразные шаги, ее стояние и слушание у дверей его совести.

Близорукая и работающая жена наконец стала жить в своем собственном доме, шить у своего ярко вычищенного очага, спать в своей собственной постели, растить детей, мыть кафли белой печки, мыть поросят, мыть блестящие полы. По воскресеньям Л. читал уже вслух роман про избалованного и развращенного графского ребенка—из придворной жизни; в конце женитьба.

Двадцать третьего октября утром Л. как раз зарезал свинью к рождеству. Уже спустили кровь в бочку—для кровяной колбасы. В это время началась стрельба. Несмотря на дом, который выстроил своими руками и склеил потом, несмотря на чрезвычайную любовь к жене, коммунист взял винтовку и пошел. Теперь, что случилось дальше.

Его взяли, били и отпустили. Суд через несколько дней. Как же теперь: остаться дома или бежать?

Тот же могучий революционный инстинкт, который когда-то выгнал Л. на баррикады, выгнал теперь этого хорошо устроившегося, обмещанившегося, приручен-

ного немецкого рабочего на улицу, на косые сквозняки пуль, свиставшие из-за углов рабочих казарм, из-за убогих прикрытий — против двух тысяч регулярных войск, бравших штурмом это осиное гнездо и взявших его пустым, — этот безжалостный классовый инстинкт приказал теперь: не уходить больше от партии, не сметь дезертировать, надо идти в подполье и работать дальше.

Но на следующий день после побега дом и все имущество, даже сторожевой пес Лумпи, будут конфискованы правительством. Жена с двумя детьми и третьим, только что родившимся, окажутся выброшенными на улицу. Кроме того, жена теперь почему-то быстро слепнет — она стала опять часто и подолгу молиться.

Все-таки в одну из ночей они пришли к Х. — она без шляпы и без своих очков, — рассказали этому товарищу всю жизнь и даже удивительный первый взгляд, когда-то решивший их судьбу.

На следующее утро Л. убежал.

3. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК, РАДОСТЬ ЖИЗНИ И ВОССТАНИЕ

Собственно, этот портрет не относится к истории самого Восстания. Но ведь в каждой галерее непременно есть «Das Bildnis eines Unbekannten»¹, и часто такой безымянный эскиз больше говорит о неповторимой особенностях своего времени, чем все подписанные полотна.

Надо нарисовать дом, этот потонувший корабль, медленно разваливающийся где-то на дне, в темном перелуке, где его от времени до времени обливают светом белые глаза проплывающего мимо автомобиля. Фонарь над воротами излучает свет, похожий на свечение гниющего дерева.

Смрадная подворотня, окна низко у земли, вечно подслушивающие друг друга.

Спальня, холодная, как полюс, со своим окоченелым стеклом, шкафом и пустующим умывальником, греется вокруг грелки, засунутой под ледяной пуховик. В столовой, она же гостиная, она же мастерская, — густое, но быстро вытекающее тепло железной печки; на лампе пестрый шелковый колпак, похожий на нижнюю юб-

¹ Портрет неизвестного (нем.).

ку-дешевой девчонки; в кухне зловонная раковина, газ и тяжелый запах сырости. Вся эта обстановка свидетельствует о несомненном недостатке рабочего-аристократа и принадлежит столяру-художнику товарищу К. Он занят в одной из крупнейших мебельных фабрик, делающих и подделывающих старинную утварь. Его специальность XVIII век, который он, никогда ничего не читав по искусству, чувствует кончиками пальцев. Закрыв глаза, мастер безукоризненно выпиливает вишневого цвета фанеры со вставками из металла и раковин и мебель, чьи изнеженные, сложные, лениво согнутые очертания выходят из сосновой доски, из сырого и тяжелого куска дерева, попавшего в эти поразительные творческие руки, так же легко, как они возникали в мастерских славного Булля. В каждом из старомодных бюро, на котором бабушки якобы писали свои влюбленные письма, в каждом из ломберных столов, на которых Вертеры, ломая мел, чертили имена своих любезных, поставив свечу возле тяжеловесных пистолетов, мастер К., ради стиля, устраивает потаенные ящики, маленькие тайники, скрытые пружины, которые, если их случайно нажать, отдают в руки восхищенного буржуа пару побелевших записок, пучок сухих незабудок и тончайший аромат чужой тайны. Все это с огромным вкусом и чувством меры подобрано все тем же мастером К.

В нем самом коммунизм запрятан, как шкатулка, полная идей, слов и обобщений, совершенно неприменимых в практической жизни, но составляющих самое ценное и интимное в человеке — его политический стиль.

Нужно ли говорить, что в Восстании К. не принимал никакого активного участия, если не считать, конечно, широкого гостеприимства, оказанного им товарищам после боев.

К. эпикурец. Настоящий человек Возрождения по своей пенистой, неудержимой любви к жизни да к наслаждениям и осязаемой теплой человеческой красоте, предчувствие которой в нем так же безошибочно, как его столярное мастерство. К. верит, что самый процесс жизни, со всеми его физиологическими, глубоко земными отправлениями, когда-нибудь станет основой величайшей и реальнейшей красоты. Эта социальная эстетика роднит его с лучшим, что написал Эдгар По о несуществующих еще на земле садах, о замках, в которых

должны жить мудрецы и поэты. К. их населяет рабочими.

«Если бы случилось вдруг царство будущего» (тоже чисто немецкое выражение: так может выразиться только утопист, не верящий в свою мечту), он выточит удивительные полки, постели, столы и стулья для рабочих дворцов. Это его идеальная, его коммунистическая «шкатулка».

Теперь практика. Почему он не дрался в октябре? Почему улыбается, когда говорят о стачках и разбрасывании листовок? Откуда в нем, при этой продуманной пассивности, при несомненном дезертирстве с поля гражданской войны, это вызывающее высокомерие и вид победителя по отношению к буржуазии? Почему, наконец, этот человек, созданный для больших духовных и телесных наслаждений, считающий коммунизм единственным путем, который он сам и его класс могут пройти к этим наслаждениям, пальцем не ударил, ни разу своей шеей не рискнул во время Восстания?

Оказывается, он ворует, обкрадывает своего буржуа. Ворует почти открыто, откладывая крупные (в масштабе кустарного производства) куши, тянет к себе в карман неслыханные барыши, вызывающе глядя в глаза хозяину и не переставая наблюдать за трусливо помогающими соучастниками.

Затем, после недели жесточайшего труда, с 10-часовым рабочим днем и непрерывным нервным напряжением,— несколько бутылок превосходного пива, маленькая жена Иза, в черном шелковом белье; и из своего военного угла, где пробка Редерера стучается о низкий потолок, как стукнулся бы о косяк этой ямы забредший в нее человек высокого роста, сквозь дымку крепкой сигары, сквозь туман отпотелой и отогретой сырости, сквозь золотые иллюзии, маленькими пузырьками лопающиеся на поверхности глиняной кружки, в которой шипит столетний виноград,— товарищ К. с насмешкой победителя смотрит на обманутую им, так хитро и так смело обманутую, буржуазию.

Это лучшие часы.

Старые гамбургские песни старше и хмельнее наших. В них есть про дочь мастера, которая любила трех буйных подмастерьев, выгнанных ее отцом, и про морских лошадей, и женщин, и про драки, и про портовые кабачки. Он их поет чудно.

Как сказать К., что за крохи, которые хозяин позволяет незаменимому мастеру таскать со своего обильного стола, за каплю ворованного вина, за несколько часов блаженного самозабвения он так же отдает врагу сок своих костей, и жизнь, и дрожание таинственных фибров мозга, именуемых талантом, как любой черно-рабочий — свой пот, мускулы и кости?

ЕЩЕ РАЗ — О ШИФБЭКЕ

Участок Шифбэк, его мэрия, почта, все вообще учреждения и присутственные места, олицетворяющие государственную власть в этом рабочем городке с интернациональным населением, были захвачены коммунистами на рассвете 23 октября при помощи одного карабина и одного охотничьего ножа с зазубренным лезвием и роговой ручкой.

В Шифбэке, как во всем Гамбурге, полицейский участок, набитый вооруженными Зиппо, был взят врасплох, голыми руками, быстро и бесшумно. Во главе всего восстания и военной организации, разработавшей его план и приведшей его в исполнение, стоял С. Гигант, смелый человек, один из тех настоящих рабочих-революционеров, которыми может гордиться современная Германия. Может быть, именно огромная физическая сила, сознание, что одним движением металлических своих мускулов он может раздавить любого противника, выработали в нем очень ценное для вождя чувство осторожности, умение точно рассчитать последствие каждого силового разряда. Он, как паровой молот, может опуститься на наковальню, осторожно расколов скорлупу ореха и не повредив его зерна,— и через минуту расплющить железную штангу.

Его вооруженный отряд, составленный из отборных членов местной организации, стоял и дрался так, как дрался бы сам С., со всех сторон окруженный нападающей шайкой, прислонившись к стене, и одного за другим сбивая с ног эту мелюзгу, не рассчитавшую неслыханного размаха и крепости его кулаков-молотов.

Заняв свой участок, шифбэкские инсургенты не оставались в нем, но, захватив 16 ружей и столько же револьверов, покинули здание, которое могло стать для

них такой же ловушкой, как для только что захваченной и разоруженной полиции.

Скрываясь за кустарником, за беседками и углами рабочих казарм, разбросанных вдоль всей линии холмов по левую сторону центрального шоссе, соединяющего Шифбэк с Гамбургом, один хороший стрелок часами мог держать и держал под огнем шоссе, мост, железнодорожную насыпь, останавливая на почтительном расстоянии противника в десять, сто и, наконец, как во время последних атак, продолжавшихся все утро 26-го, в тысячу раз более сильного. Оставаясь неуязвимым за своим прикрытием, стрелок, или как здесь говорят Scharfschütze, стреляя с большими паузами, каждые пять, десять, пятнадцать минут, одной пулей старался снять не менее одного, а часто и двух человек. Полиция отвечала ураганным огнем на эти одинокие, всегда смертельные выстрелы, выметала пулеметами целые кварталы — перебила множество женщин и детей, случайно попавших в поле зрения ее бессильной ярости. Тем не менее после короткого перерыва опять раздавался холодный, обдуманый, зоркий выстрел, подкарауливший шофера броневго автомобиля, едва успевшего выглянуть из-под стальной крышки, снять меховую рукавицу и с наслаждением закурить, зеленого, выскокнвшего из-за угла и присевшего за почтовым ящиком солдата рейхсвера, как раз остановившего посреди улицы жену трамвайного кондуктора, лицо которой и спрятанный под платком хлеб ему показались подозрительными.

Солдаты рейхсвера набербованы из неуклюжих деревенских парней. Это младшие сыновья богатых крестьян, поколение, возмужавшее после войны и революции. В деревне отцы ими тяготятся, как слишком прожорливыми, ленивыми и избалованными батраками, которые, не рассчитывая в будущем на наследство, не вкладывают в землю достаточного количества лошадиных сил. Эти парни, политически совершенно четвероногие, охотно идут в ландскнехты и на гражданскую войну смотрят как на погром, во время которого без риска можно многое приобрести. Но вместо безоружных женщин и детей, погромляемых в хлебных очередях, вместо трусливой городской черни, о которой с таким пафосом рассказывал им дома пастор, упираясь наливным подбородком в белый свой воротничок, сы-

тые мужички, выкормленные на домашних кровяных колбасах и молочных клецках, наткнулись на рабочие сотни, на хладнокровный, безошибочный огонь старых солдат, вышедших из мировой войны со всеми знаками отличия за меткую стрельбу и саперные работы под неприятельскими пулеметами.

Роли переменялись. Революция в Германии располагает кадрами старых солдат, защищающих свои баррикады по всем правилам военной науки, а правительство — многочисленными, но совершенно неопытными и необстрелянными частями, трусливыми в бою и brutальными, когда перед ними пленный со скрученными за спину руками. Недаром один из офицеров, которому с револьвером в руках пришлось гнать в атаку свой отряд новобранцев, чтобы выкурить одинокого стрелка, засевшего на чердаке своего дома и на пари без промаха снимавшего одного солдата за другим, лейтенант, подгоняя свою пушечную говядину, ругался на весь городок:

— Вы сволочь, вы трусы... С двадцатью такими, как они (жест в сторону слухового окна), я бы справился с тысячами таких, как вы.

Но и без помощи офицера, под командой своего С. и его наопера и начштаба, несравненного Фрица, рабочие Шифбэка (всего 35 винтовок) противостояли натиску регулярных войск. Приспосабливаясь к условиям местности, они неизменно меняли и свою тактику. Там, где над городом господствуют холмы, где дома стоят оазами среди открытых пустырей, они разбили свои силы на мелкие боевые единицы, из которых каждая за свой страх и риск защищалась, нападала, пряталась, меняла одну засаду на другую. Но там, где пустые белые поля вливаются в узкие берега городских улиц, они прибегли к старой испытанной технике уличных баррикад, преградив уличные русла крепкими плотинами, вырыли окопы, помешав таким образом броневикам ворваться в центральные кварталы.

В половине двенадцатого полиция, овладев пустым участком, начала свои первые наступления на Шифбэк. Отряд в 50 человек самоуверенно двинулся по главной улице; свалив несколько случайных прохожих, он приблизился к белому дому, один из выступов которого выдвинут далеко вперед. Мимо солдат прошла красавица Минна, коричневоглазая, показав свои блестящие

зубы и хорошенько посчитав наступающих. Они даже не заметили красного значка на ее роскошной груди. Ее связанный за спиной платок мирно исчез в боковой улице. Мальчик, ученик городской школы, бежавший рядом с ней, обернулся и, икнув, сел на тротуар. Пуля попала ему между бровей.

В лагере инсургентов все еще полнейшая тишина, и только на расстоянии 20 шагов они несколькими выстрелами вынули из наступавшего отряда фельдфебеля и половину солдат.

Через час полиция двигалась уже в числе 200 человек и не в одном направлении, но одновременно с нескольких сторон. Рабочие отогнали ее от своих баррикад и окопов; накрыли наступающих беглым огнем из-за всех прикрытий, разбросанных по холмам. Фриц-стрелок бил по полицейским из-за угла своей казармы, окруженный женщинами, державшими запасы патронов в рваных передниках. Классическая фигура: кепка с большим козырьком, привязанная шарфом к подбородку, куртка в клочьях, под ней толстая серая фуфайка докера. Волосы, о которых красавица Минна до сих пор не может вспомнить без смеха, волосы, как у разбойника, и после пяти минут ожидания — один, всего один выстрел. Которым-то из них Фриц снял четырех человек.

Надо сказать, Шифбэк богат и славен своими Фрицами. Второй руководил обороной баррикад и окопов. Рядом с С. он почти маленького роста. Но если С. вырос как угодно — ветками во все стороны, а добродушной могучей шумной вершиной прямо в небо, то Фриц — приземистый куст, крепко ухватившийся за землю где-то между камней на сильном приморском ветру. Пятки вместе, грудь барабаном, руки в карманы, одно плечо несколько вперед — и при этом плечо тренированного боксера и атлета. И свист, и наглые шутки, и уменье женщину и полицейского одним — снизу вверх и сверху вниз — вогнуть в краску; при этом смелость, доставившая ему непередаваемое прозвище «Didlein» — пренебрежительное и лестное, что значит молодец, шельма, нахал, храбрец, лгун, пистолет, жук, кондитер — вообще хороший человек. Этот Фриц в мирные времена несколько шокировал уравновешенных партийных чиновников своим острым портовым запахом, вызывающим, непокорным духом, но во время боев наворотил чудес. Бро-

сался от окопа к окопу, гнал вперед, удерживал, перебрасывал, ругал, командовал, был тем нервным комком, который спокойную силу С. связал со всеми блуждающими горсточками повстанцев.

В половине второго правительство полезло на Шифбэк пятьюстами человек плюс отряд бронеавтомобилей. Свалка продолжалась до 6 часов вечера. В конце концов, два отличных стрелка могут продержаться долго, но есть же предел мужеству и выносливости. Желая выиграть время, бойцы потихоньку покидали окоп, ныряли в ближайшую подворотню, и через полчаса стальные носы их винтовок выставлялись над краем другой баррикады, по очереди принимая бой в самых угрожаемых районах.

Между тем озадаченный противник все еще поливал огнем примолкнувшую засаду. От времени до времени их пыл остывал; слепая пальба прерывается, и разведчик на четвереньках ползет вдоль тротуара. Но откуда-нибудь с соседнего чердака крикает одинокий выстрел, и канонада по пустой яме, полной пустых гильз, щепов и обугленной земли, возобновляется с новой силой. Так, в одном из переулков отряд полиции в течение двух часов штурмовал пустой окоп. Наконец лейтенант, выхватив револьвер и потрясая им героически, повел своих мушкетеров в атаку. Они свалились, слепо стреляя на воздух и издавая воинственные крики, в пустую канаву.

Начало вечереть. Закат, как часовой, уронил на все улицы свои удлинненные тени, заостренные, как байонеты. На заборах Шифбэка успел появиться плакат, провозглашавший всеобщую забастовку и приветствовавший Советское правительство. 35 коммунистов, обложенных тысячами солдат, были уверены, что за их спиной подымается вся Германия. Впрочем, и без воззваний все население единодушно поддерживало коммунистов. Восемь тысяч человек вышло на улицу, и если они не приняли участия в борьбе, то только из-за полного отсутствия оружия.

Но святая интеллигенция! Следует отметить, что в маленьком Шифбэке, как у нас, как везде, где социальная революция берется наконец за оружие, интеллигенты стреляли вместе с полицией и солдатами. Не профессор — какие уж в Шифбэке профессора! — не учитель — учителя благомыслящи, но боязливы; не аку-

шерка — в Шифбэке жены рожают сами по себе, без намека на врачебную помощь — нет, всего только престарелый школьный сторож постоял за плоды европейского просвещения. Один, покинутый в своем пустынном здании, старый, жалкий 60-летний человек, с головой, объевшейся школьной мудрости, рабочий, научившийся презирать мозоль, запах бедности и молодое мускулистое невежество так же сильно, как презирают его немолчимые аспидные доски, учительские мундиры и гипсовые мудрецы на книжном шкафу, в директорской, — старый сторож, схватив пистолет, решил стрелять в свой класс, в этих учеников, вместо чистописания и закона божьего занявшихся уличными беспорядками.

Стук у дверей. Сторож притаился. Постучали еще раз, затем ворота выехали из петель на сердитом плече С. Тогда, подняв одну руку, как на памятнике Шиллера, смешно и грозно, со всклокоченными волосами, старик выстрелил в широкую грудь рабочего и промахнулся. Тут величавое прекратилось. Сторож — на лестницу, С. за ним. Он лез вверх, несмотря на поднятый пистолет, и рычал на все заведение.

— Старый сумасшедший кролик (каникель). Выносишь ночные горшки за их наукой!

— Кому ты нужен! — и отнял у деда Паулюса револьвер.

Старик горчайше плакал, ибо годы, в течение которых он вытирал белую алгебру и хронологию с досок, сделали его настоящим интеллигентом: это значит отчаянное и оголтелое мученичество и затем бессильная слеза.

С. дал по шее и простил. Было даже так: С., смеясь и страшно ругаясь, держа старика и его несчастное оружие в одной руке, вытирал копоть с обожженного выстрелом лица. Паульхен в слезах принужден был изорвать в клочки свой старый, поруганный партийный билет.

Вокруг: мальчишки, стрельба, смерть и смех.

К вечеру: бои утихли. Рабочие принуждены были отступить, — С. до сих пор говорит об этом с величайшим стыдом и детским сокрушением, — отступить на пятьсот шагов от своих старых позиций. Это со стороны Гамбурга. Но и в тылу войскам удалось продвинуться до главной площади, где богатые жители их засыпали со-

сисками, маргарином и поздравлениями. Кольцо осады сдвинулось, грозя превратиться в ошейник. Отряд инсургентов, шедших на выручку из разбитого Бамбэка, не смог прорвать полицейской блокады. В Гамбурге по улицам в это время уже летали автомобили военного командования: офицеры генерального штаба спешили осмотреть сеть баррикад, расположение которых они нашли превосходным.

На рассвете рабочие снова лежали в окопах, на чердаках, за всеми возможными прикрытиями. Но противник, разбитый накануне в трех атаках, не показался. Кое-где на заводах бесполезно и продолжительно завыли гудки. В конце каждого из переулков, выходящих устьем в поля, правильно сменяя друг друга, расхаживали патрули. Издали они сторожили баррикады, как заключенного в тюрьму. Затем — угрожающая тишина. Сперва ей радовались. Потом смутились. Затем почувствовали огромную опасность, ползущую на Шифбэк с этих молчаливых пустырей, и приготовились ее встретить.

Тридцать пять против пяти тысяч.

Около часу дня со стороны Горна показался отряд из четырех броневых и шести грузовых автомобилей, выбросивших на шоссе многочисленный отряд Зиппо. С севера, из Улендфельда — 26 грузовиков с зелеными. Со стороны Эмсбютеля — кавалерия. Аэро, опустившись очень низко, пролетел над Шифбэком, поливая его изрешеченные стены серым занавесом пуль.

Немецкая армия, битая союзниками, доблестно воюет со своими пролетами¹. Но, очевидно, пример заразителен, ибо теперь и пролеты колотят правительственные войска. Кавалерия, пехота, броневики, аэропланы, даже целый военный флот на загаженной речке Билле — в составе пяти баркасов с водяной полицией — и, насмехаясь над этой техникой, над гнилым и раздутым остовом наемной армии, живущей жирными чаевыми работодателей, горсточка рабочих продолжает держаться до 4 часов пополудни. Наконец, отбросив войска на растянутых, ничем не защищенных фронтах, осажденный Шифбэк, подгоняя перед собой смятые и поломанные колонны синих, зеленых, вообще доблестных цветных солдат, прорывает кольцо засады и с оружием в руках выходит

¹ Сокращенное — пролетарий.

через эту кровавую брешь на волю. Смешно сказать: три стрелка образуют арьергард этой крохотной рабочей армии. Они держат на почтительном расстоянии «морские силы республики», пока С. со своими пробивается в поля через узкую щель между рекой и шоссе.

Затем торжество победителей. Свистопляска доносов, обысков, избиений, арестов и богослужений. Все это длится без малого два месяца. Десятки рабочих переходят на нелегальное положение. Многие арестованы и ждут суда. Их семьи продолжают ютиться в промозглых рабочих-казармах: жен инсургентов одну за другой выбрасывают из фабрик на мостовую. От времени до времени в их жилищах появляется разговорчивый член правления профсоюза: опухший, желтый от йода, с головой, упакованной в белое. Он в дни Восстания был схвачен возле «Оловянных хижин» и по ошибке избит полицией на котлеты. Теперь вставляет выбитые зубы, согладатайствует и посредничает.

Голод, снега, ледяные грязные постели, квартирная плата, окрики дворника и зима, бьющая белыми розгами на пути между собственным логовом, пахнущим газом, уборной и подмерзлой грязью, и бюро безработных. Это бюро — серый дом, ставший навязкой и отдающий честь в пустое поле. Вся его спина заснувшего на посту шуцмана оклеена нашими прокламациями.

От времени до времени к женщинам, отданным во власть всякого насилия и всяческих лишений, является отряд полиции для обыска или чернильный жандарм для допроса. Тогда вся эта беспомощнейшая нищета подымает свои колючки, оказывает власти гражданской и военной, бряцающей звонкими палашами по лестницам, скользким от замерзших помоев, самое мужественное и суровое сопротивление.

Уперев руки в бока, с лицом, красным от гнева, плиты или прачечной лохани, покрикивая на ревущих детей и лохматого пса, бешено лающего из-под продавленного дивана, возвысив голос до пронзительной и едкой высоты, жена шифбэкского инсургента отстраняет протянутые бумаги, как отмахивают со лба вспотевшие назойливые волосы; она с яростью отрицает, уклоняется, нигде и ни на чем не расписывается. На головы уходящих чинов ее брань летит, неотразимая, как горшок с нечистотами. Эти женщины, которым нечего есть, которые завт-

ра будут выброшены из своих нор, мальтретируют полицию, пренебрегают ею, преследуют ее своими прилипчивыми насмешками.

Накануне рождества они собираются вместе, чтобы сшить десяток кукол для детей коммунистов, находящихся в бегах. Х. мастерит кукольные дома из старых ящиков, окленвает их газетами и затрепанными королями и дамами давно растерянных мастей.

Голодные соседи приходят с подарками — куском мыла, куклой, парой теплых чулок.

Наконец, ночью, из Гамбурга отряд рабочих с тачкой муки и маргарина — от американских товарищей. 50 кило жира и 25 фунтов сахара на 70 семей, из которых каждая насчитывает не меньше 3—5 ртов.

За несколько дней до рождества голод достигает своего апогея. По предложению голландской группы межрабпома Шифбэк отправляет 50 своих детей в Голландию для интернирования среди иностранных товарищей.

Стук у дверей — приходят рабочие с неловкими лицами и, ни на кого не глядя, разве только на белье, развешанное над холодной плитой, или на стену, зеленую, как сифилис, спрашивают о погоде, о здоровье, о пустяках.

Мать с отсутствующими глазами осведомляется — кого же они возьмут, мальчика или девочку, и какого возраста? На сборы — четверть часа. Багажа — никакого. Несколько минут ожесточенного воя в трясущихся материнских коленях. Но чулки уже туго подвязаны веревочками, застегнуты деловито все пуговицы, и мать резкими, безапелляционными и все-таки замедленными, исподтишка растянутыми движениями причесывает дочке лохматую косу. Так, в четверть часа, ребенок навсегда отдирается от своего корешка и от разгромленного Шифбэка.

Две матери не пожелали отдать своих детей.

Одна, нагруженная четверьмя мальчиками и двумя девочками (муж арестован, фабрика выкинула, окно с газетой вместо стекла), путем каких-то непостижимых экономий держит шесть ртов над водой. Другая — верх грязи, беззаботности, веселья и физического разрушения. Дети всех цветов от многих пылко, но недолго любимых отцов. Девочки, непрóшенно и пышно явившиеся

на свет, как замечательный золото-желтый подсолнух где-нибудь над помойкой из случайно упавшего на замусоренную землю зерна. Мальчики — здоровые, веселые и предоставленные самим себе, похожие на крепкие зеленые рогатки клена, ухватившиеся приземистой ножкой за плесень и мякоть старой фабричной стены. Среди слез, брани, проклятий своему непрошеному плодородию, среди детского рева, раздавая подзатыльники и стоя на сквозняке, с худой юбкой, облипшей вокруг колен, с младенцем, сосущим не то хвост грязной кофты, не то истощенную голую грудь, — эта мать отказалась послать в изгнание хотя бы одного из своей жизнерадостной и голодной шайки.

Среди этих семей, агонизирующих в усмиренном Шифбэке, есть одна до того счастливая, что соседки ходят вечерами послушать ее необычайную тишину. Маленькая черная женщина, рано состарившаяся, но с самыми черными глазами, с самым смуглым цветом лица, с потрескиванием чего-то южного в голосе, как будто под углями хрустят завернутые в пепел и тепло испеченные на морозе каштаны. Дети ее — четверо детей — как по сговору, или совсем белые с синим, или оливковые с черным. По очереди — маленькие чехи и немцы. Муж, товарищ Р., старый коммунист, битый в армии за польскую фамилию и опасную молчаливость, за которой фельдфебель угадывал пацифиста. Участник группы «Спартак», один из старейших борцов КПД, раненный во время Капповского путча.

В жизни каждого человека бывают периоды, когда скопляется и зреет гной. Каждая царапина: болезнь ребенка, неприятный разговор с мастером, встреча со шпиком как раз по выходе с нелегального собрания — принимает злокачественный, скверный оборот. Товарищ Р., иностранец, обремененный семьей, половину недели безработный, давно известный как коммунист, ясно чувствовал, что каждую минуту со своими четырьмя может слететь под колесо. Они все очень устали, страшно изголодались и остыли.

Бои. Но октябрь не дал победы, в которую так фанатически верил Шифбэк, — этот Верден гамбургского Восстания. Полиции не удалось схватить Р., принимавшего самое деятельное участие в движении.

Из-за границы он прислал своей жене письмо и визу. Одно из редких чудес, которые все-таки бывают.

Все в квартире Р. оттаяло, сдало, перевело дух, заговорило вполголоса.

Письмо из-за границы — как стук отдаленной лопаты, откапывающей этих пять человек из-под рухнувшего на крышу обвала.

ХАММ

Квартал Хамм. По строю своих прямых и широких улиц это предместье чрезвычайно неудобно для уличных боев.

Пустынные его проспекты трудно стянуть кушаком баррикад. Гладкие голые фасады рабочих казарм отвесно обрываются в скользкие асфальты. Стены не дают никакого прикрытия одиночным стрелкам, которые предпочитают выступы, ниши и приподнятые крылечки старинных домов. Лопата и лом сломают себе зубы, пытаясь взрыть укатанную лаву. Чтобы запереть такую улицу, нужно свалить несколько взрослых деревьев. А деревья не растут в кварталах нищеты. Кроме того, улицы Хамма, прямые, пустые и гладкие, похожие на каменную трубу, легко защитить одним пулеметом, поставленным на перекрестке: обнаженные пространства открыты на много километров и безжалостно выдают биноклю всякую скрюченную фигуру, тщетно ищущую прикрытия и защиты в скупой тени этих бесчеловечных фасадов — фигуру в кепке, сдвинутой на глаза, в шерстяном шарфе, обмотанном вокруг подбородка, и с винтовкой в руках.

Все эти неблагоприятные особенности не помешали Хамму стать ареной коротких, но очень напряженных боев. Ослабить их не мог даже смешанный, мелкобуржуазный характер населения: студенты, составляющие значительную его часть, дружно предложили услуги полиции, но не у себя дома, а улизнув в более благонадежные части города.

Вооруженное восстание подразумевает наличие людей, обладающих оружием. Гамбургское Восстание было восстанием безоружных рабочих, которым прежде всего предстояло вооружиться за счет противника.

В округе Хамм пять участков, которые постоянно заняты отрядами Зиппо; кроме оружия, находивше-

гося на руках у полисменов, военная организация надеялась в каждом из них захватить небольшие арсеналы.

Итак, в Хамме, как и в других частях города, борьба началась с захвата безоружными рабочими маленьких полицейских крепостей, охраняемых часовыми, переполненных военной командой и амуницией всякого рода.

Один из наиболее трудных участков был захвачен 12 рабочими при одном старомодном пистолете.

Уже у самых дверей полицейского отряд как будто заколебался. Тогда один из товарищей, имя которого с гордостью можно назвать, — за ним уже захлопнулась дверь каторжной тюрьмы — Рольфсхаген, бросил своим людям: «*Noman los!*» (ну, вперед!) — и, не глядя, следует ли за ним кто-нибудь или нет, перелетая через три ступеньки своими огромными ногами, ворвался в участок. За ним друг, молодой рабочий-наборщик — больше никого. Единственный, и притом незаряженный, револьвер уперся в толпу Зиппо. Рольфсхаген, видя их нерешительность, заорал не своим голосом и многообещающе треснул кулаком по столу. Бумаги полетели, расплескалась священная влага чернильниц, государственная власть пошатнулась в своих устоях.

«*Man los, hier wird nicht lang tackelt*» (Нечего тут долго болтать!)

Полиция сдалась, подняв руки вверх, была обезоружена и заперта подоспевшими товарищами. Что делать дальше? Держаться в захваченном ревьере¹ или выйти на улицу, окопаться, броситься на помощь Бамбэку, откуда доносилась неумолчная стрельба? Между тем связи с центром не было никакой.

Сидя в своем углу на партийных собраниях, посасывая трубку, молча топорщась в тени своей непромокаемой, нахохленной, горбатой одежды грузчиков, Рольфсхаген никогда не болтал, не любил фраз с быстрыми серебряными, как у велосипеда, спицами и призывов к борьбе, коим так предана партийная интеллигенция. Он представлял себе восстание чем-то простым, неуклонным и линейным, без отступлений, без малейшего колебания и отклонения в сторону, как взмах подъемного крана, схватившего добычу, как прямизну ком-

¹ Ревьер — участок.

пасной стрелки и неукоснительный бег корабля. И поэтому, не получая никаких указаний, Рольфсхаген теперь зарядил свое ружье, сложил удобными кучками патроны и приготовился драться и умереть возле окна, выступ которого ему доставлял некоторое прикрытие.

Напрасно товарищи пытались его увлечь за собой, доказывая всю опасность позиции, которая легко могла быть окружена и отрезана. Рольф решил остаться.

— *Dat is Befehl ick blieb* (таков приказ, я остаюсь), — и остался. Через час начался поединок этого человека с полицией, наводнившей квартал. Расстреляв последний патрон, он наконец упал, раненный в голову, грудь и живот, лишившись сознания от страшного удара сапогом в ребра.

Рольфсхаген не умер в больнице, где из его тела вынули шесть кусков свинца. Уверенный в скорой победе революции, он отказался от побега и с усмешкой принял десять лет каторги, на которые его «помиловал» Шейдеман. Уже в дверях суда он обернулся к толпе и крикнул друзьям, вкрапленным в толстый ком буржуазных слушателей:

— Не забудьте начистить мой револьвер, я скоро за ним приду!

Таков был захват участка в Крепостной улице.

Вот *Mittelstrasse* (Серединная улица). Во-первых, Чарли Сеттер, член провинциального парламента, которому было поручено руководство боевым отрядом, который не явился и в течение всей схватки, до самого конца, проявлял постыдную нерешительность, робость и малодушие.

Во-вторых, уже немолодой рабочий, чрезвычайно подвижной, то что называется по-немецки «разбуженный» (*aufgeweckt*), узкое, бескровное лицо которого, как конверт траурной каймой, обведенное черной бородкой, подергивается легкой судорогой невралгической боли. Он всю войну просидел в окопах и, тяжело раненный в голову, ушел из них калекой, подверженный мучительным болям, эпилептическим припадкам и истерикам. Однако увечье не помешало его израненной голове продумать до конца и пересмотреть свои старые убеждения социал-демократа и партийного чиновника. Проклиная войну и рабочую партию, служившую поставщиком мяснику, он мужественно порвал с организацией, к которой принадлежал более 15 лет.

Товарищи боялись положиться на К., которого простые партийные дискуссии доводили до иступления. Но во время Актион он не только оставался в бою, подвергаясь величайшей опасности, но ни разу не дал воли своим разбитым нервам. Его поведение с начала до конца оставалось безукоризненным.

Рядом с К. на штурм участка № 23 шли два замечательных рабочих. Кудрявый великан Рот, по профессии строительный рабочий. Не помню точно названия его бранши¹. Во всяком случае, короткая профессиональная формула, в состав которой входят железо, бетон и уголь. Она звучит гордо, как девиз некоего трудового герба. В ответ на все мои вопросы этот товарищ только помотал головой Зигфрида и отказался сообщить что бы то ни было о своем личном участии в деле. Так на этом лице, суровом и правильном, осталась лежать глубокая тень: как у карнатиды, безгласно поддерживающей целый дом. Рядом с ним Л. — высококвалифицированный столяр, человек исключительной интеллигентности и мужества. Кажется, в смуглом цвете его лица, в южной живости глаз и ироническом романтизме, при помощи которого он постепенно исцарапал и изрезал все заглаженные и покрытые лаком общие места политической фразеологии (так мастер пробует лезвие своего инструмента на краях рабочего стола), слышится славянская, а может быть, и еврейская кровь. Пылкий политический темперамент и холодная внутренняя трезвость, благодаря которым Л., будучи одним из лучших, одним из замечательнейших борцов Гамбурга, ни на минуту не забывает там, у себя внутри, что самые пламенные слова революции все-таки написаны грубой масляной краской на дешевом красном коленкоре. Энтузиаст с небольшим, герметически закупоренным, домашним ледником в душе. Его сознательное самопожертвование, свирепость, с которой он в нужные моменты укладывает на лопатки своего холодного, рационального червяка, гораздо более ценны, чем всякая врожденная храбрость.

Рядом с Ротом и Л. дрались три брата-анархиста. Смелые люди, несколько месяцев тому назад ушедшие из партии из-за ее бездействия и ставшие под ружье, как только раздался паролъ Восстания. Вся их семья состо-

¹ Б р а н ш а — производственная специальность.

ит из коммунистов. 60-летняя мать, сестры, два зятя тоже приняли участие в движении. Словом, семейная ячейка, советский кулачок, каких немало в рабочих нназах Германии. Свой участок эта группа (28 рабочих при двух револьверах и одной резиновой палке) опрокинула совершенно блестяще, обойдя его с двух сторон, разоружив полицию и воспользовавшись запасами ее оружия.

Между тем около 7 часов утра начало светать. Уличное движение приостановилось (в этой части города, правда, только на несколько часов), отряды вооруженных рабочих задерживали и возвращали домой своих товарищей, которые, ни о чем не подозревая, вышли на работу.

— Что случилось?

— Объявлена диктатура пролетариата.

— *Dat kun jo sen, ook io nich wieder gohn.*

— *Dat got wi werra, poshus.* (Возможно, так дальше не могло продолжаться.— Тогда мы идем домой.)

Не на баррикады, не на помощь рабочим сотням,— но домой.

Тоже очень характерно.

Большинство инсургентов, несмотря на отсутствие дальнейших приказаний штаба, бросило опустошенные участки и двинулось в сторону Бамбэка, окутанного дымом и где не прекращалась бешеная стрельба. Инстинктивно была выбрана единственно разумная тактика. Асфальта поднять нечем. Деревьев почти нет. Оружия слишком мало, чтобы двинуть более широкие массы; поэтому вооруженные группы рассыпаются в разные стороны, чтобы по одиночке просочиться в борющиеся кварталы. Отряд — Рота, Л., братьев-анархистов (всего 9 винтовок и 12 револьверов) — двинулся в сторону наиболее сильной перестрелки. В одном из каменных коридоров их накрыл пулеметный огонь грузовика. Стрелки бросились на землю, затем под навесом все более близкого огня нашли прикрытие в боковом переулке. Один из товарищей, встав на колени, поднял винтовку к плечу. Она мгновенно выпала из его рук. Л. помнит, как с тротуара сползла струя крови, унося в сточную трубу брошенную кем-то папиросу. Сбоку раздался грохот второй машины. Не заметив партизан, она широко и самоуверенно встала в конце переулка, повернув к нему свой тяжелый незащищенный борт. Повстанцы буквально его вымели огнем из своих карабинов. Затем

маленький отряд принял форму подвижного каре, в течение многих часов переходившего с места на место и наконец давшего настоящий бой на мосту Серединного канала. Это был складной, растягивающийся квадрат, в нужную минуту сматывавшийся и исчезающий, как вода в песке. В середине его — три-четыре первоклассных стрелка. Они занимают перекресток, центральный сустав нескольких крупных улиц. На всех соседних углах, прикрытые газетным киоском, телефонной будкой, стволом дерева, размещаются дозорные, вооруженные револьверами. Они стреляют только на близком расстоянии, только во время рукопашной схватки и предупреждают карабинеров в случае, если им грозит окружение. Перебрасываясь с места на место, защищая и сдавая все новые узлы, летучий отряд стрелков, наконец, закрепился у моста через Серединный канал, к которому широким веером собираются каменные складки окружающих улиц. Мост слегка горбит широкую спину, чтобы брезгливо перешагнуть через течение фабричного канала, тускло отливающего, как бельмо на глазу. Стрелки ложатся так, что только дула их винтовок выступают над его изгибом. Несколько жалких деревьев, выросших в корсете из железных прутьев, гораздо более толстых, чем их собственные стволы, не сбежавших из этого постылого места только потому, что бетон крепко зажал в кулак их несовершеннолетние корешки, образовали вместе с исхудалым фонарем единственное прикрытие бойцов, расположившихся справа и слева от трех наиболее метких охотников.

Вдоль всего берега нежилые здания сумрачно обрываются в воду. Только изредка в стене, по которой распространилась сырость, открывается окошко подвала. Оно кажется судорожно разинутым ртом, выплывшим на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха и снова исчезнуть. Это — рабочая Венеция; но где дворцы хлопка, сала и железа не знают широких мраморных лестниц и набережных; где кирпич и бетон, омытые ядовитой сточной водой, покрыты налетами царственной красоты, плащами бледно-зеленого, серого и розово-ржавого цвета, более причудливым и разнообразным, чем порфир, мрамор и малахит, кровь, жемчуг и пепел высокого Кватроченто. Вместо времени благородство скалистых тупиков подчеркнуто сверкающим углем. От него тени более трагические, чем писала для цветущей Венеции рука

Тинторетто. Эта лагуна, омывающая промышленный Гамбург, не знает ни гондол, ни романтических ночей. Она несет в море фабричные нечистоты, сырость, холод и все болезни, проникающие через стены в жизнь, сон, труд и кровь миллионов рабочих. Фабричные трубы, как Дожи, смотрятся в мутные зеркала. Дым плывет с их плеч пышными мантиями и, со своим морем, серым, холодным и загрязненным, они обручаются не золотым кольцом Адриатики, но воем корабельных сирен, возвещающих о прибытии драгоценного сырья. В холодной грязи каналов давно перемерли неренды. Изредка мальчишки вылавливают из воды их белый рыбий труп, плывущий вверх животом с мучительно раздвинутыми жабрами.

На этом канале дрались. И вдруг дозорные донесли: автомобили. Пришлось снова переменить позицию. Опять стрелки в центре каре, разведчики по углам. Грузовик, набитый солдатами, неожиданно выскочил из-за угла. Роту одним метким выстрелом удалось повредить механизм. Зиппо бросили машину, унося своих раненых. Отряд снова делает отчаянный скачок — занимает узел соседнего квартала. На этот раз его атакует бронированная машина, под прикрытием которой рассыпается цепь зеленых. Партизаны сбивают лейтенанта — храброго, но глупого лейтенанта, мужественно выскочившего вперед и громким голосом собиравшего своих людей для атаки. Среди Зиппо паника, которая сменяется мертвящей тишиной — тишиной, вообще свойственной призрачному царству необитаемых каналов, подчеркнутой молчаливо реющими знаменами фабричного дыма и отдаленными залпами умиряемого Восстания.

По безлюдным улицам, вдоль остановившихся, остекленелых рек, вдоль бездействующих фабрик, запертых, как монастыри, вдоль домов без глаз и с враждебно сжатым ртом, инсургенты продолжают двигаться, разбивая на перекрестках свой строй, легкий и удобный, как кочевая палатка. Наконец по вымершей мостовой, среди оголтелого безлюдья, снова грохот колес. На этот раз только повозка, груженная газетами. Забыв об опасности, путаясь в плотно увязанных тюках, потом в мягких листах «Фремденблатта», они искали и никак не могли найти единственных слов, которых ждали весь этот день более интенсивно и мучительно, чем своей

собственной победы,— вести о всегерманской революции, о новой Республике Советов. Рот скомкал газету и схватил новую. Л. прочел и стал белым. Отто обернул раненую кисть этим грязным листком, отказываясь верить его сообщениям с пренебрежительным кивком головы. Она лгала. Она нарочно молчала о победоносном Восстании в Берлине, Саксонии, везде. Иначе быть не могло.

Тогда тюки сбросили на асфальт и зажгли. Ветер подхватывал пылающие листы и уносил их в каналы. Там они плавали, как горящие птицы, как подожженные лебеди.

В соседних улицах зашелкали залпы. Отряд медленно отступал, освещенный заревом огромного костра, который солдаты тщетно пытались растоптать и добить прикладами.

МЕНШЕВИКИ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Во время последнего восстания в Гамбурге портовые рабочие, бастовавшие уже несколько дней, не примкнули к борющимся массам. Они бродили по улицам, засунув руки в карманы, и с безобидным любопытством расспрашивали товарищей, возвратившихся из осажденных полицией кварталов, что там и как? Тысячи рабочих, организованных социал-демократами, остались мирными зрителями гамбургских событий. Портовики (за исключением верфей и мастерских, обрабатывающих нефтяные остатки, где заработная плата упала до издевательской цифры) являются аристократами среди остальной массы гамбургского пролетариата.

Они получают больше, чем высшая категория береговых рабочих, например, строители, металлисты, железнодорожники, и, конечно, в несколько раз больше, чем парии гамбургского порта, занятые на верфях. Во время войны этот сытый слой усердно работал на военное ведомство, получал отличные оклады, был освобожден от воинской повинности и в революцию вошел реакционной, расхолаживающей струей, отлично совмещавшей свое мелкобуржуазное, рыхлое, теплое и сытое житье с безобидным билетом СПД. В 18-м году эти меньшевистски организованные массы зажиточных рабочих

всеми силами боролись с Советом Рабочих Депутатов, против его и без того водянистой и двойственной политики. На демонстрации безработных, на запрещение буржуазных газет, на разгром эсдековского листка «Гамбургское эхо», поливавшего свои желтые страницы ежедневной клеветой против Совета, эти массы ответили мощной реакционной контрдемонстрацией, арестом председателя Совета, восстановлением буржуазного сената, забастовкой железнодорожников, помешавшей отправке сильных добровольческих отрядов, которые гамбургский пролетариат мобилизовал на помощь городу Бремену, осажденному офицерской дивизией генерала Герстенберга. Словом, грузчики и рабочие, занятые на бесчисленных портовых складах, уже не в первый раз оказывают ценные услуги германской контрреволюции. Еще бы! Со всего мира стекаются торговые суда в удобную гавань Гамбурга. Корабельщикам некогда ждать, некогда торговаться из-за нескольких лишних пфеннигов. За каждый день простоя им приходится платить пению, сроки поставок не ждут, фрахты и накладные железнодорожников истекают. Благодаря всем этим условиям грузчики и складчики пользуются неоспоримыми экономическими привилегиями там, где другие категории давно потеряли и восьмичасовой рабочий день и половину довоенной заработной платы! В течение двух первых лет революции не перестает сказываться реакционное влияние гавани. Она против социализации предприятий, против ограничения частной торговли, против всякой социальной бури, могущей ослабить кредит вольного города за границей, усилить его иностранных конкурентов, обезлюдить гавани, живущие приливом и отливом мирового рынка. Еще в 19-м году гамбургские меньшевики воображали, что Англия пощадит столицу «Uferland'a» (Поморья) за добродетельное подавление коммунизма. Сейчас от этих надежд не осталось ничего. Антанта дружно дожевывает остатки буржуазно-социалистической Германии и пустила по миру не только коммунистов, но и умереннейших меньшевиков. Их благосостояние пошатнулось, их профсоюзы собирают милостыню, их вожди, вышибленные из большой коалиции, голосуют за диктатуру буржуазии; тем не менее старые традиции еще держатся. Гавань обнищала, но среди нищих она все-таки кормится лучше, без мучительных перерывов. Благодарные рабочие-аристократы помогают полиции при разгроме

баррикад и дружно посещают заседания и митинги СПД. Вчера у них был праздник. Вольный город Гамбург удостоился посещения знаменитого берлинца, геноссе Штампфера, редактора «Форвертса». Сотни рабочих пришли его послушать. Пожалуй, ни у одного русского рабочего не хватит терпения дочитать до конца статью, этот отчет обо всех извращениях марксистской мысли, с которыми испытанный меньшевик осмеливается выступать перед рабочей аудиторией, да еще в городе, где только что засыпаны окопы, пересекавшие предместья во всех направлениях, где дома рабочих кварталов исцарапаны пулями, где десятками считают убитых полицейских и сотнями — раненых, арестованных и избитых рабочих. Но надо себе ясно представить все гниение, все глубочайшее падение рабочей и мелкобуржуазной Германии, растленной пятидесятилетием выхолащенного, обезвреженного лжесоциализма, чтобы оценить, каким актом величайшего героизма именно в таких условиях является вооруженное Восстание Гамбурга. Подняться в этом болоте, в этой трусливой глубоко реакционной трясине было бы в тысячу раз труднее, чем под солдатским сапогом нашего старого царизма, чем против отчетливой и ограниченной, всякому понятной, черной фашистской рубахи.

Доктор Штампфер не старался быть особенно логичным. Он чувствовал себя все-таки в провинции, где хороший игрок, не стесняясь, может передернуть старой, явно меченной картой. Во-первых, все несчастье Германии происходит от бесчисленного множества областных парламентов. Их нужно упразднить и централизовать. Во-вторых, только сильная государственная власть способна защитить рабочий класс от наступающего капитала. Только государство (крики: «Какое? Буржуазное?») может отстоять для рабочих 8-часовой рабочий день. Даже почтенным, с брюшком и сединой, членам СПД стало как-то неловко, но у немецких меньшевиков есть простодушный и всегда успешный ораторский прием: как только галерея начинает свистеть, а старики с беспокойством оглядывают друг друга и замечают: «О, йе! Вот тебе на!», — оратор вытаскивает на сцену Вильгельма. Живого, с усами, в полной парадной форме. Стоит докладчику щелкнуть его по носу, рассказать пару анекдотов про глупость бывшего императора, стоит ему с неслыханным мужеством обругать Виль-

гельма дураком, идиотом, маниаком,— и обыватель блаженно содрогается при виде такого кощунства, и аудитория побеждена. Поплевав на Вильгельма, эсдек переходит к коммунистам.

Оказывается, что именно они разрушили священный сосуд республики. Они, лишённые всякого почтения к законным формам демократии, к благородным и чело-веколюбивым методам парламентской борьбы, запятнали подол невинной девы — республики — кровью своих же братьев-пролетариев.

В глубокую тишину обрушивает Штампфер свое обвинение:

— В Пруссии коммунисты зверски замучили двух полицейских чиновников. Разве бедный Шупо не такой же пролетарий, как мы?

Ропот негодования, протесты. «Пфуй, долой коммунистов! — кричат бюргеры-социалисты. — Пфуй, и да здравствует республика!»

Откуда-то сверху громкий, острый насмешливый вопль, заглушаемый добродетельным хрюканием:

— Долой Шейдемана! На фонарь Эберта!

— Эберт, — редактор «Форвертса» бьет себя в крахмальную грудь, — Эберт, этот сын народа, достигший при помощи своих талантов наивысших должностей в государстве! Немецкий пролетариат может гордиться, что его сын из самых низов проник на такую высоту!

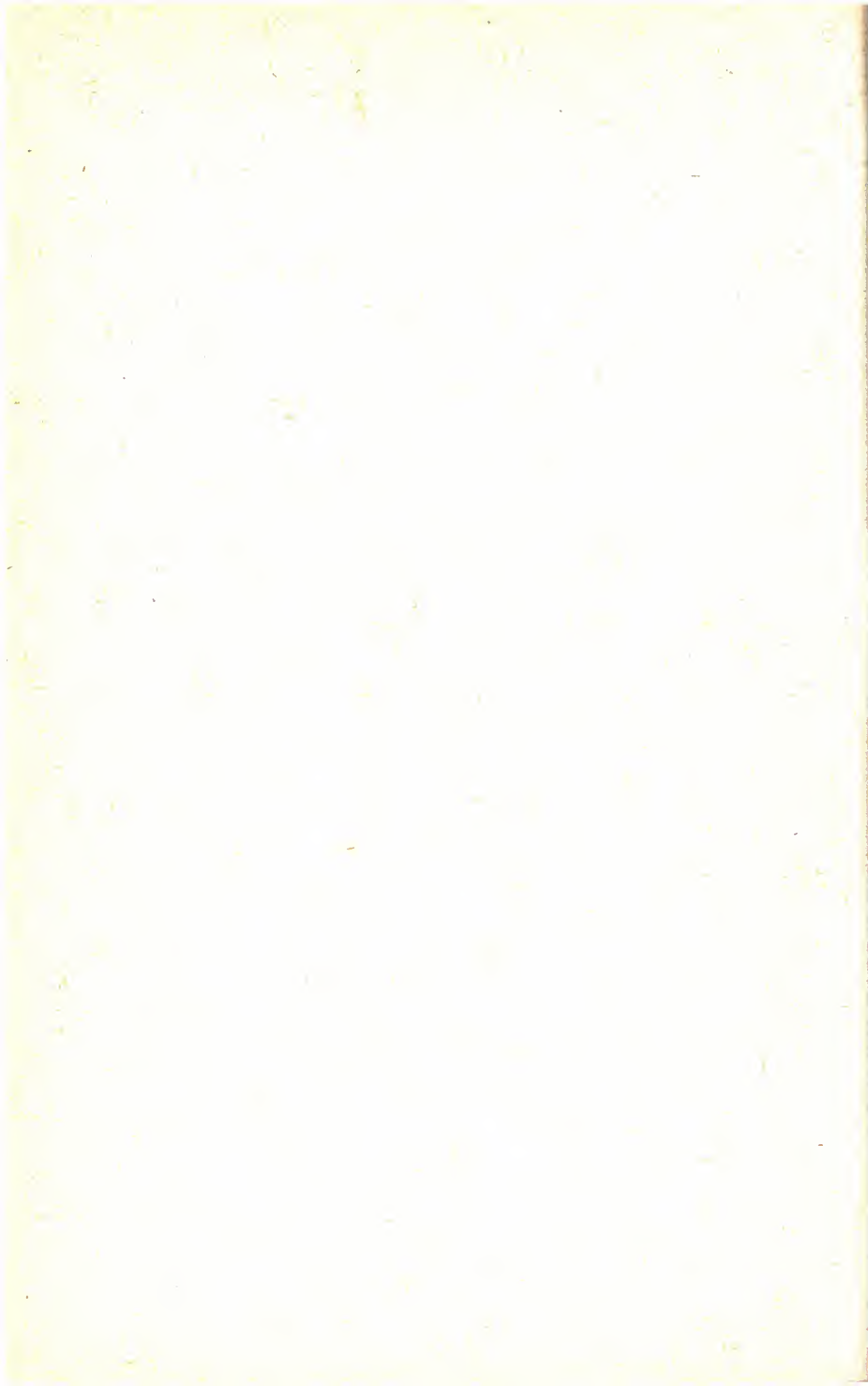
В облаках парламентаризма является папа Эберт. Республика простирает над ним венец победы и указывает на избирательную урну: из миллионов один может выиграть 200 тысяч или стать президентом. Божественная лотерея демократии.

Штампфер сознается в некоторых ошибках партии с обезоруживающей откровенностью. Партия училась. Ничто не дается без опыта и страданий. «Зачем нам все время ругать только свою собственную партию — это обессиливает. Критиковать нужно келейно, с глазу на глаз. Вот, например, я, доктор Херц и Брайтшайд» — тон доверия, интимной простоты. «Они голосовали против вотума доверия правительству Маркса, я был за него. И что же?.. Разве мы из-за этого поссорились? Ничуть не бывало! Ехали в одном купе, о политике не говорили — она у нас вот где (жест пресыщения) — и вместе кушали сосиски на станции. А ведь как спорили во фракции, чуть не до драки».

Избиратели всегда польщены, когда им через замочную скважину позволяют взглянуть в кухню большой политики. Против почтенного «Форвертса» выступили один за другим 10 или 12 ораторов. Они доказывали следующие азбучные истины: 1) социал-демократы вручили диктатуру буржуазии, 2) эта диктатура будет направлена исключительно против рабочего класса, 3) СПД несет за нее не только моральную, но и формальную ответственность.

Всем этим ораторам, прерываемым председательским звонком и мучительно пытавшимся в эти десять положенных скоротечных минут обосновать свое глубочайшее разочарование в партии, свое бешенство по поводу ее преступлений, хлопали, кивали, устраивали громкие овации. И затем, с исключительным единодушием, подавляющим большинством, прошла резолюция доверия парламентской фракции СПД. Пожевав своего депутата, ткнув его носом в грехи эсдековской партии, обнаружив полное понимание всех ее шулерских приемов, — избиратели утерли Штампферу разбитый нос и отпустили домой с вотумом полного доверия. Шулер не должен надувать своих — за это бьют. Но жульничать на пользу родного мещанства, обыгрывать ненавистную революцию — можно и должно.

1923



У
ловъ,
Железо
и
живые
моды
≡



БИЛИМБАЙ

(Рудник)

I

Дорога похожа на извилистый, жесткий корень, на котором «коробок», таратайка, подскакивает ежеминутно и с грохотом. Мокрая земля со своим красноватым, железистым румянцем во мху, в холодной росе, в первых незаметных фиалках. Стволы сосен, светлея вековым загаром, стоят над холмами, как рукояти огромных лопат, воткнутого искателем, и так забыты. За ними веселая синеглазая речка, как будто прошедшая мимо этих лесистых пригорков, даже не взглянув на них, отвернувшись к далеким приисковым деревьям. На самом деле она потихоньку вернулась, просочилась известковыми скважинами, пробилась через глины, увлажняя их тихими подземными слезами, и, наконец, толкая перед собой жидкую земляную кашу, выползла в глубокий подземный коридор-шахту. Стены поддержаны обрубками столетних деревьев, перекрыты могучим тесом. Старинный мачтовый лес продолжает расти, вбитый в эту темную подземную землю, без листьев и корней, без головы и давно без ног,—одними стволами, широкой грудью своих столетних кирас. Он не только стоит и держит землю над собой,—он наступает на обвалы, продолжает тянуться усеченной вершиной к свету, которого никогда больше не увидит. Вода ручьями стекает с подпорок, шелестит в темноте, дробится в воздухе, течет

вдоль рельс, собирается, стоит, бежит дальше, опять исчезает. И вдруг целый ряд стволов, пригвожденных к стене, падает на колени, сломанный пополам, обессиленный, в холодном поту всепроникающей воды.

В конце каждого коридора — маленькая пещера, освещенная керосиновой лампой. Она не коптит, ее дыхание чисто и не отравляет воздух. Но свет мал и слаб, смотрит, как глаз больного из-под надвинутой на лоб подушки. Еще издали в облаке пара виден желток этого тусклого огонька, слышно непрерывное, хриплое, равномерное дыхание забойщика и зубастый стук его кайла. Он стоит на колене, выбивая из-под ног упершейся стены мягкую глиняную скамейку, с которой она должна будет соскользнуть. Выше, над его головой, из стены торчат три рукоятки, указывая место, где будет заложен динамитный патрон. Эти три стержня — три железных пальца, которые шахтер втиснул между зубов этой железной баррикады.

Подготовительная работа закончена. Вся мягкая порода выбита. Катель, набросав ее в корзину, потащил прочь свою вагонетку, согнутый вдвое, мокрый, отпихиваясь ногами от скользких стен, почти волочась животом по лужам и маленьким оползням. Забойщик закуривает, сидя на куче щебня. Спички отсырели и не горят. К пару сырости примешивается пар человеческого тела, которое наслаждается минутой покоя, дымит, как в бане, и курит вонючую «козью ножку». В совершенной тишине, издали, равномерно, как сердце через толстую одежду, стучит кирка соседнего забойщика. Ничто не похоже на эту подземную тишину. Журчанье и шумок незаметно осыпавшейся земли слышится, как будто уши залиты водой, и только железный дятел в соседнем дупле долбит безостановочно — тук-тук, тук-тук.

Папироска докурена. В густых ручьях пота лицо забойщика бело, без единой кровинки, — остыл. Чтобы было светлее, зажигает запасную свечу, вставляет в кольцо и ногтем прицепляет к стене.

Динамит, серый и мягкий, легко режется ножом, похож на дрожжи. Собственно, вставляя в него фитиль, полагается раньше проткнуть дырку, иначе капсуль может взорваться в руках рабочего. Забойщик смеется:

— Мы столько рискуем, работая в этой яме, — немного больше, немного меньше.

Фитили заложены; чтобы не потухли в сырости, их

хвостики разлохмачивают: делают на конце серебристые одуванчики из стальной проволоки.

Ожидая взрыва, рабочие садятся покурить шагах в 30-ти, «на свежем воздухе», где острый сквозняк просвистывается в шахту по «трубке». Невыразимым холодом и затхлостью веет из колодца, соединяющего этот штрек с поверхностью земли. При свете свеч блестят мокрые бревна, которыми он выложен, и мокрые ступеньки деревянной лестницы, отвесно спускающейся в пустоту. По этим гниловатым, сырым и кривым деревяшкам рабочие, смена за сменой, идут в шахту и выходят из нее. Оторвавшиеся камешки с особенным, стучающимся при падении о стенки, совершенно неопишущим шумом срываются в черную трубу. Свеча в руке вяло горит, обжигая ее воском. Тяжелые сапоги, мокрые, глиняные, осклизлые, осторожно переступают со ступеньки на ступеньку. От времени до времени в степи открываются темные отверстия, в их глубине трепещет отдаленный свет; если прислушаться, сквозь непрерывный осенний плач подземных вод доносится глухое долбление кирки и, если забой близко,— горячее, окутанное паром, захлебывающееся дыхание забойщика. Это дыхание — точно оно вырывается не из человеческой груди, а из живой шахты, где по стенкам легких тоже струится темная сырость, где в глубине дыхательных ходов вместо лампочек мерцают тусклые туберкулезные очаги.

Через несколько минут три сильных, но как бы ватных взрыва. Штейгер смотрит на часы. Торопиться нечего. Дым только через полчаса дойдет до нас и лениво потянется вверх по холодному, темному колодцу.

— А правда ли, что нам хотят рабочий день двинуть с шести на восемь?

Секретарь билимбаевской компартии, товарищ Волегов, сам бывший горняк, пришедший в партию со дна этой самой ямы, которую сперва помогал выдирать у бывшего ее владельца, а потом защищал с винтовкой в руках, отвечает не торопясь.

— Будем отстаивать,— может быть, и не двинут.

— А если придется встать на восьмичасовую?

— Встанем...

У молодого забойщика голос срывается, как пустая бадья, летящая в шахту на размотанной цепи, пока не разобьется вдребезги.

— Ты сам здесь работал, знаешь, что не можем мы

восемь часов. Не можем... Вентиляции почти что нет. Все ползет. Лестница, весь колодец, почитай что гнилой. Чинить надо,— а на какие деньги? Выйдешь,— присаживаешься на дороге, пока домой-то дойдешь. Нет, брат, ползти некуда. А прозодежда? Не резина, а холст один. Спирт нам полагается после работы,— где он? Не видели. Знаем, ты бумажки-то исправно пишешь, да толку-то мало. Давай хоть папироску, сукин сын, поживимся от тебя маленько. А восьми часам не бывать! Так и запиши.

Один из рудокопов идет посмотреть за дымом. Уже близко, пора уходить. Колодцем спускаемся еще ниже, на самое дно. Здесь потолки так нависли, что головы не поднять. Все чаще под ногами свежие кротовые кучи оползней, все больше надломленных, скривленных сосен, на которые с неимоверной силой напирает жирная грязь. Наконец приходится ползти на четвереньках между толстых скрещенных столбов, лежащих на боку и со-сновыми плечами поддерживающих друг друга. Здесь рудокоп копошится под самым животом земли, навалившимся, почти раздавившим людей, их фонарики, стук их лопат и игрушечный отголосок взрывов. Дышать нечем. А снизу, под наслойкой из досок,— уже не каплями, не ручейками, но белесоватыми, невозмутимыми полыньями, везде на одном уровне, стоит глубокая, ровная, вечная вода: шахта достигла уровня реки. Напрасно забойщик преследует исчезающую руду через жидкие прослойки глины, через эти тела жирных допотопных моллюсков, расползающихся под его киркой. Напрасно он все глубже вгрызается в пустой кварц, шаг за шагом двигаясь вместе со своей каменной могилой, непрерывно расширяя ее перед собой и за спиной снова застраивая тесовыми перекладинами. Достигнув поверхности речных вод, богатейшие залежи руды исчезают под ними. Чтобы идти дальше, нужны новые машины, электричество, всевозможные технические усовершенствования, огромные деньги. А денег нет, и не скоро будут. Между тем старинный этот рудничок, где прежде работали ссыльные политические, где во время войны пытались пристроить на каторжные работы немецких военнопленных (что не удалось из-за их организованного, мужественного сопротивления), эта маленькая яма, подпертая гнилым деревом и освещаемая керосиновыми копилками, снабжает рудой Билимбаевский чугуноплавильный

завод и является одним из живых производственных колесиков, работающих на возрождение Урала. Его хотели закрыть,— рабочие не дали. В неимоверно трудных условиях они продолжают свою борьбу с водой, глиной и переутомлением. Чтобы не повысить себестоимость, отказались от электрификации.

Наткнувшись на подземное озеро, забойщики, как улиточный домик, волоча за собою свой каменный мешок, пошли на разведку. Весь рудник, руководимый особым охотничьим чутьем, в темноте и тверди еще не тронутых подземелий, угадывает мощный пласт, залегающий где-то поблизости над уровнем воды. Его ищут,— и, вероятно, найдут. А пока все расходы, все бесплодные поиски подземных разведчиков, все напрасные блуждания в сырых, черных, ползучих глубинах ложатся на плечи самих рабочих.

Забойщик за шесть часов своего нечеловеческого труда получает 1 руб. 12 коп. К этому минимуму он может, путем величайшего напряжения, приработать сверх нормы 30—35 коп. Каталь получает еще меньше, копеек 50—70. И то еще не всегда деньгами, которые, в связи с денежной реформой, часто запаздывают или приходят в недостаточном количестве. Так, например, пожертвования, сделанные горнорабочими и рабочими-металлистами Билимбая в пользу голодающих детей Германии (более 500 взносов), до сих пор не могли быть реализованы из-за острого денежного голода. Можно себе представить, как живут рудокопы. Правда, многие из них имеют собственную избу и миниатюрное сельское хозяйство. Но эти же крошечные хозяйства привязывают рабочего к месту, ставят его в крепостную зависимость не только от рудника, но и от собственного огорода и хлеба, от козы, пары поросят и пегого теленка с водянистыми младенческими глазами.

В одном из последних забоев, который мне пришлось повидать, снова спросили о 8-часовом рабочем дне. «Неужели правда? Ну, ладно! Если без этого нельзя,— согласимся. Хотя уж много лет мы эту песенку слышим: потерпите-де еще год, другой — и наладим. Пока не наладили. Хорошего мало видели. Ну, допустим, теперь денежная реформа, и займы нам англичане не дают», — говоривший был коммунист, и поэтому ничего не было удивительного в том, что на дне этой мокрой могилы прозвучал отзвук великих мировых событий,— и

только глубокая бледность человека, говорившего о социальных судьбах мира с киркой в руке, только полное молчание 30-саженного колодца, только клубы пара, окутавшие его стынущие плечи облаком морозной испарины, придали этим немногим словам особенную каменную серьезность, заставили почувствовать всю ответственность партии, которую она несет на себе за исполнение своей социальной программы, во имя которой люди подземелья продолжают нести свой каторжный труд. Каждый взмах кирки на этих дьявольских рудниках совершается в надежде на скорое наступление жизни более человеческой и справедливой.

«Но одно вы, товарищ,— простите, не знаю, как вас зовут,— запишите. Мы очень болеем грудью. Много चाहоточных. Посылают нас в отпуск, лечиться на свои же, уральские курорты. Ванны там с серой, но очень холодно. Солнца нам надо, после этой-то работы. А на теплом море только одного человека в год мы имеем право послать отсюда, и то с заводом вместе. Очень уж мало».

II

Завод Билимбай — старое, стариннейшее промышленное гнездо. Строено было крепостными руками: сперва баре им владели большие, потом купцы нрава дикого и большой предприимчивости. Семь сел крепостных возле завода осело, и много леса к нему приписано. Люди освободились, а бор до сих пор отдан на милость завода. На десятки верст тянутся крепостные леса: ели, сосны, колки веселой белой березы,— в легких зеленых платках дворовых девок, можжевельник-казачок, успевающий шалить в столетней тени, и поближе к жилью — прирученные дворовые породы: рябина, дикая яблоня и белая холодная черемуха — росистая, любимая, из девичьей пробежавшая в сад, да так и оставшаяся, с белыми кистями платка, свесившимися через изгородь. Их вырубают по очереди и без очереди, оставляя на семя одинокие сосны, похожие на колокольни среди погоревшего села.

Старый крепостной барин и завод, и беседку в саду, и конюшню, на коей пороли, и церковь придворную строил под стать своей вотчине: бело, широко, весьма прельстительно спереди — и со всем грязным житейским

мусором и людской теснотой на задах, заставленных от чужого глаза колончатым, соразмерным фасадом стиля русского ампира.

Церковь билимбаевская до сих пор сохранила эту роскошь вида, стоит на зеленом холме, как дворец, белая и залитая солнцем, в зеленом шлафроке березовой рощицы, с белыми воротами, выступающими, как кружевные манжеты, из сочной зелени садов. Только утреннего чайного стола не хватает на паперти, самовара и барыни, разливающей чай мраморными своими, строгановскими руками.

И даже главный фабричный корпус сохранил нечто от тех расточительных, падких до внешнего блеска времен. Какие-то венки еще завиваются на фасаде, нечто вроде декоративных колонок жметя у входа в плавильный цех. Но здесь живет другая быль, менее вельможная, менее беззаботная, поровшая крепостных уже не на барской конюшне, но в государевом остроге; портившая не столь девок, сколь молодых и сильных мужиков; пудрившая не летучей пудрой XVIII века, а угольной пылью; поучавшая не размашистой барской ручкой и не охотничьим арапником, но тюремным батогом и крупной, неуклюжей пулей того времени. Память жестокая и неизгладимая о золотом веке посессионных крепостных фабрик, о тяжелой руке первых русских промышленников из «третьего сословия», хозяйствовавших еще на казенной рабочей спине, но нередко и на вольнонаемных рабах, и с тою беззастенчивой рациональной жестокостью, до которой далеко было даже старому барству с его капризным, но неряшливым и непоследовательным самодурством.

Очень устарели машины билимбаевского завода. Многие в его устройстве и оборудовании покажутся смешным европейски-образованному инженеру, но сейчас старик завод, несмотря на выслугу лет, еще раз призван на действительную службу и в годы тягчайшего для революции экономического кризиса помогает строить и производить. Его старое машинное сердце стучит медленно, но все еще ровно и крепко.

Медлительные локти 50-летних водяных турбин двигаются не спеша, с некоторой старомодной величавостью. Чугунная затейливая решетка, которой они обнесены (таких теперь нигде нет), несколько походит на решетки, какими на старинных барских кладбищах бы-

вали обнесены могилы почетных, давно вымерших семейств. Но ничего, Алексей Алексенч Кашин, хранитель и полновластный хозяин домны, маленький человечек с добродушнейшим лицом, весьма любимый рабочими за совершенную свою уступчивость, но до тонкости знающий дело, умеющий отличить малейшие оттенки угля и руды, спец; ему стоит одним глазом сквозь свое синее стеклышко, засаленное, как и обшлага его тужурки, заглянуть в белый зев печи, где, как листики, как лепестки, трепещут и растворяются в белом молоке чугуна пудовые глыбы металла и угля, чтобы отличить качество сплава; чтобы узнать, не слишком ли много было брошено в этот железный крюшон березы и ели, этих легких, нестойких пород, которым далеко до белого жара, до чистого, неподражаемого пламени, заключенного в твердом, как железо, маслянистом и сочном, как кедровый орешек, безукоризненно стройном теле столетней сосны.

Так вот, Алексей Алексенч, состоящий при домнах уже 35 лет, тот самый Алексей Алексенч, что при Колчаке вместе с белыми должен был куда-то в неизвестность и разор бежать от своих машин, однако же, отбежав верст 17, застрял и совершенно неожиданно оказался на месте как раз вовремя, к выходу чугуна, влекомый к этому черному плавильному котлу страстью более сильной, чем обывательский страх и вздорные политические предрассудки, Алексей Алексенч утверждает, что его машины еще поработают и себя покажут. С гордостью указывал он на поток воды, омывающей какнито особые, очевидно, очень нужные и доброкачественные «перья» старого двигателя, к стыду моему — увы! — очень напомнившие лопаточки обыкновенной водяной мельницы. При электричестве вода, текущая на дне турбины, кажется неподвижной, как лунный свет на полу.

К счастью, Алексей Алексенч не мог угадать этих моих, к делу не относящихся, в высшей степени безграмотных впечатлений и гордо повел нас к самому сердцу домны.

Это — каторжный труд: в котел, до края наполненный рудой, углем, снова рудой и опять углем, — над исполинским чаном, из которого поднимается столб жара, дыма и огня, уходящего затем в открытый колошник (колпак, трубу, дымоход. Ал. Ал., простите, но так понятнее), рабочие непрерывно подбрасывают но-

вые пуды и десятки пудов руды и горючего. Подвешенный как бы к подвижному железному плечу большой совок ходит над пламенем от одной кучи к другой, везде просительно протягивает руку и со всех сторон собирает железную милостыню. Уголь, разбежавшись к огненному обрыву в подвешенном чане, опрокидывается в него в столбе искр,— нескромный, феерический самоубийца. Только по особому приказу старшего мастера добавляется флюс — особые химические составы, очищающие руду. Они как бы нарываюи в огне; собирая вокруг себя всю больную, гнойную кровь металла, золу и вредные составы, соединившись со всем, что есть в сплаве худшего, эти очистительные элементы вскипают прежде, чем созреет чугун. Их выпускают наружу вместе с кипящими отбросами, которые они выводят наружу, как бы жертвуя своим самостоятельным бытием.

На горячем пепле эта лава стынет, как выпавшие из котла красные внутренности огня. Возле печи стоит тропический жар. Но спины рабочих обдувает ледяной сквозняк. Ночи Урала холодны, почти морозны. От взмокших рубах идет пар. Лица в поту, тело то растворяется в нестерпимом жаре, то стынет и трясется, как после долгого холодного купанья.

Что хорошо для домны, железную рубашку которой снаружи все время поливает холодный душ, то смертельно для рабочих.

Оплачивается этот труд по 4, 5 и 6 разряду с некоторой сверхурочной добавкой, то есть мизерно, и тем не менее нигде на заводах, до сих пор виденных мною, не пришлось встретить такого глубоко сознательного отношения к жестокой политике, проводимой сейчас рабочим государством по отношению к своему правящему классу, обреченному на каторжные работы впредь до налажения хозяйства. Рабочие отлично понимают, что за счет их скудной зарплаты, ценою все большей интенсификации их труда заполняются зияющие прорехи бюджета, недостаток денег, отсутствие нового оборудования, удешевляющего производство.

За их счет, их потом и трудом удешевляется черный металл. Производительность отдельного рабочего во многих местах, в частности, на Билимбае, достигла довоенных норм и даже через них перешагнула. Каким образом, какой ценой? Ведь штаты рабочих сокращены. Где раньше стояли трое, теперь работает один. Машины

за десять лет износились, их продукция должна была пасть? Палки, которая прежде выколачивала «прибавочную», не стало. Рудники истощились, и понизилось качество руды; а между тем старинный билимбаевский самовар, садясь набок, пыхтя пыльными ноздрями своих воздуходувных машин (одна из них вовсе старая, лежащая мамонтиха, более не употребляемая), орудя печными заслонками, через которые наблюдает течение вдыхаемых домной и выдыхаемых ею газов, не бросающихся к выходу только из уважения к нашей дисциплине,— билимбаевский самовар не только исполнил свое «квартальное задание», но, вместо заданных 46 на сто пудов руды, ухитрился дать 46,47 чугуна на выход. Технические усовершенствования? Да, отчасти. Но гораздо больше — неслыханное мужество рабочих, несмотря на все протесты и неудовольствия, на своем горбу вытаскивающих Россию из экономической трясины. И не надо забывать, что это мужество — на голодный желудок. Лебеды и крапивы 1919—1920 годов уже нет, но и мяса рабочие не видят месяцами.

Одно, о чем они спрашивают, отложив на время молот, лом, гигантские щипцы, вытирая лоб угольным рукавом: «Скоро ли?..»

Что им ответить?

Между тем наступает час «выхода», повторяющийся ежедневно и тем не менее всегда радостный и тревожный в заводе. С особенным, только ему одному свойственным, спокойным величием течет кипящий чугун в приготовленные ложницы, наполняя их сот за сотом, медленно подергиваясь первой пурпурной тенью.

Рабочие то подгоняют огонь к своим грядкам, то загораждают его течение.

Похоже на игроков, особыми длинными лопаточками собирающих на игорном поле потоки жидкого золота.

РЕВДА

I

«В Ревду воровская шайка злодейственно, — доносили в 1774 году священники духовному правлению, — вступила генваря 28; чтоб не впасть тем злодеям в руки, для сохранения себя отъехали в Екатеринбург, где и пробыли до 28 февраля».

Единоновременно доносил Петр Демидов, владелец Ревдинского завода, в берг-коллегию: «По случаю усилившейся злодейской около Ревдинского завода толпы бывшие в оном приказчики и сторожа, оставя Ревду, спаслись бегством по лесам, но таковыми разбойническими усилиями Ревдинский завод злодеями действительно разграблен и опустошен... в прежнее действие привести вскоре никак не можно, ибо немалое число мастеровых и рабочих людей при многократных сражениях злодеями досмерти побито или к означенным передалось».

Однако преждевременно сиятельный был обеспокоен. Уже 20 генваря доносил отважный капитан Ерапильский, что, «быв уведомлен от пришедших к нему с Шайтанки трех мастеровых о слабости занявших оный завод воров, предводитель коих, отставной солдат Белобородов — полковник Пугачова, теперь претерпевающий во всем бедность, имея последнее средство разжиться грабительством, решился сделать небольшой над ними поиск, вследствие чего отправил туда... конных до 20 человек — здешних мастеровых, и в резерв — сер-

жанта Маркова, 100 человек при двух солдатах, да с Ревдинского завода до 50».

«Злодеи собрались противиться, а наши, увидав их, расположились в боевой порядок. Бунтовщики, сколько им робость и страх позволяли, расположились против наших кучами, прикрывая взятую с собой пушку, но как наши люди были к ним очень близки, то уже и не дождались исполнения своего распоряжения, принуждены были с ними схватиться. При начальном с нашей стороны залпе злодеи рассыпались по лесу и также стреляли, что принудило и наших расстроиться, и особенно и по неспособности места... при всем том, не без урона злодеи к продолжению сражения остались, и многие из наших не только их подстреливали, но и брали в полон. Но, хотя 21 числа полковник Бибиков, приняв рапорт, и счел возможным всем, бывшим в сем деле по мере их храбрости, за верность и усердие ее императорскому величеству нашей всемилостивейшей государыне, из казны награждение дать повелел, однако, на злодеев еще партию... с военною командою и казаками двинуть. А вся оная компания составила из нижеописанного числа людей и орудий, а именно: поручик Костин с двумя обер-офицерами; военной команды 60, здешних мастеровых 216 и из крестьян до 202 человек при 4 малых фальконетах и 2 пушках.

23-го числа, в 7 часов, выступили все на злодеев, которые, наконец, из лесу выступили вдруг, но рассеяны были... выстрелами пушек по лесу, однако артиллерию свою имели также прикрытою. Наши, наступая на них в должном порядке... преследовали рассыпанных воров до самого завода, и беспрестанно стреляя из пушек как на оных, так и на собравшиеся толпы, около четырех часов. Злодеи же из лесу против наших показаться не смели, но одна большая пушка у них от собственного сильного порыва разорвалась, то и принуждены были, от нас отстреливаясь, отступить; однако ж, кроме 8 человек, они не могли легко наших ранить. Сколько же побито сих извергов по человечеству нельзя без внутреннего движения и сказать; но зло, причиненное ими государству, заставило бросить их в презрении...»

Так двести с лишним лет тому назад была погромлена одна из частей уже погибавшей пугачевской вольницы, а с нею деды и прадеды рудокопов, угольщиков и мастеровых людей, и поныне питающих старую Ревду.

Сто лет спустя обстоятельный и многограмотный мужик Умнов, сперва казачком бегавший при заводской конторе, потом в господский дом взятый за отменное перо и чудный, церковные стены сотрясавший бас, записал в изумительном своем дневнике еще одну страницу Ревдинской крепостной фабрики. Жил он долго, писал не часто, но все важнейшее, чем отмечен был его тяжкий век, внес в книгу. Все, кроме освобождения крестьян. Мимо окаянного 61-го года прошел в гневном молчании, даже близким своим запретив говорить «про это». Начинали тогда историю с француза. И вот:

«1812 г. Была Отечественная война. Наполеон I приходил в Москву.

1830 г. Сентября 1 на 2 часа шел снег и продолжался целую неделю.

1835 г. Апреля 13 спихнуты баржи, отправлены в ход 17 дня.

1836 г. Его высокоблагородие Алексей Петрович Демидов выехал в С.-Петербург.

1840 г. Мая 2, в четверг, пополудни зачался пожар. Выгорело домов 510.

1843 г. После полуночи сгорел на охотном дворе манеж (стоящий 4000 р. с.) и господский театр.

1844 г. Апрель 22. С утра шел снег и продолжался до 17 мая».

И наконец:

«1848 г. В понедельник фоминой недели зачался бунт — в 15 мая было решение, стреляли боевыми зарядами, убито мужчин — 160 чел., женщин — 5 чел. и 2 девочек и мальчиков двое. Раненых собрано 48 мужчин, и всего было убито и ранено 256 ч. Солдат было 200 ч., командиров: берг-инспектор и горный исправник, а командовал полковник Степан Парфеныч Кураев...»

Так кратко сказано об этом отклике великого 1848 года, запоротого на барской конюшне, возле пожарной каланчи, близ угольного сарая, хлопающего на ветру оторванной ставней, над устьями двух каторжных рудников, ныне залитых водой, против Сороковой горы, синеющей справа, против лохматой горы Волчихи, на которую, 10 лет до того, поднимался Гумбольдт, определив ее высоту в 2271 парижский фут, по нашему — 2420.

Второй Умнов, отец нынешних двух, которые оба были добровольцами в Красной, оба коммунисты и из

старого, страшного гнезда давно выселились, утопил летопись в описании драк, несметного пьянства, в приказчиных заметках про пожары, погоду и убытки. Обрывает он рассказ, вышедши из поножовщины великой мобилизации, проводив своих рекрутов на станцию в пьяном бреду, с черемухой у картуза, с неистовой гармошкой и последней дракой на перроне, под плясовую, вой баб и матерщину. Дальше нет. Умер в 1915 году.

С сорок восьмого — еще век. Советская Ревда — на старом месте; контора и фабзавком — где, по Умнову, в белом доме-дворце жили грозные владыки Демидовы. Псарня и прачечная, устроенные под садом, обвалились, от дома жив только нижний этаж, верхний обгорел до круглых бровей над узкими окнами. Но вход в завод как раз между старой конторой и запасными воротами, у которых расстреляли тех 260 человек.

Ближе всех ко входу — кирпичное отделение. Женщины жалуются: не любят его ни заведующие, ни спецы, ни завком, редко кто-нибудь заходит в этот рукодельный цех, всю фабрику роняющий своими кустарными приемами и пачкотней. По температуре этот цех — среднее между оранжереей, в которой пухнут мягкие кирпичи, и кухней, где их стряпают. Все, от начала и до конца, вредно для человеческой жизни.

В первой мельнице, где два сумасшедших колеса дробят каменную муку из огромных обломков кварца, работают два напудренных, белых мельника, сгребая в кучу и просеивая через решето песок, который машина непрестанно отскабливает железным ногтем от грохочущей, скачущей, дымящейся ступы. Дышат им и задыхаются. Во второй дробилке машина четырьмя чугунными ногами, поставленными в ряд, топчет более мелкий щебень. Во рту и горле — шершаво и сухо, как промокательная бумага.

В отделении — огнеупорную глину, похожую на грязный творог, месит, смешав с толченым каменным сахаром. Нестерпимый воздух сырого, едва достроенного дома, непросушенного и так сданного внаем. Смесь мокрой извести, сырости и холода. Работают исключительно женщины. Наконец, кухня: низкое двухэтажное здание, баня, теплица, тюрьма, прачечная, подавившаяся своими собственными испарениями, — все вместе. Полки, уставленные рядами сырых кирпичей и труб, — полых, с отверстиями по бокам, — всяких. Здесь не теряют

ни минуты. На огромного обжору, на ненасытного едока — самое мартеновскую печь — стряпают десятки стряпух. Для ее огненной утробы, испепеляющей все самые стойкие перегородки, катают на столах глиняный хлеб, раскатывают сырые колбасы, густым белесым тестом наливают кирпичные формы.

За первые 260 пирогов повариха получает в день, в долгую 8-часовую смену, 52¹/₂ копейки. Столько же за 60 труб плюс надбавка за все лишнее. В скобках: в этом цехе работают исключительно вдовы и одинокие с 3—4 детьми на руках. Почти все — члены партии. Две пожилые работницы 45—49 лет записались еще во время войны. Старшая из сестер потеряла двух сыновей — добровольцев в Красной.

— Сколько вы вырабатываете?

Розовый «уполномоченный» отвечает из глиняной ямы: «Триста» — и укатывает с тачкой глины, предназначенной для особой мясорубки. Вернувшись: «80 пудов глины перетаскаешь и... Мыла вы нам почему не даете?» Заведующий заводом организовано отступает. Товарищ Наташа, которую весь завод знает и любит, грозит ему кулаком из своей дыры. «Зажали наше мыло. Неправильно, неправильно, обязаны дать. Не лопнет ваша себестоимость от корочки мыла...»

Обжигательные печи. Одни наполняются, и возле них приготовлены магнезитовые кирпичи, красные, как мясо, другие — горячие, как преисподняя, стоят взломанными или разгружаются. Похожи на корку, в которой запекают ветчину. Вокруг сухая и душная жара. Говорят, нет летом работы более утомительной.

II

Он действительно имеет право пренебрегать кирпичной кухней, всякими углевыжигательными самоварами, порубкой дров, — всей этой примитивной работой, еще только ждущей своей механизации, — гордый черный цех прокатки и литья. Техника не знает труда более сложного и квалифицированного. Человеческие руки не только не вытеснены машиной, они-то и связывают в единый производственный процесс отдельные его фазы, требующие от рабочего величайшего внимания, быстроты и умения.

Нагревательная печь накаливает слитки металла, прежде чем они лягут под механический нож; но мастер, подведя под восьмипудовый обрубок лопату, похожую на гигантский ключ от сардин, поддерживаемый с боков двумя помощниками, одним взмахом, надвинув щит на глаза, сажает ее в белую печь. Он же ведет быстрые и опасные роды металла, которые могут быть испорчены малейшей проволочкой. Наложив страшные щипцы на красный и мягкий череп новорожденного слитка, он одним движением вырывает его из пылающей матки и бросает в железную колыбельную тачку, обшитую стальными пеленками. Рядом, в черной детской, полной грохота исполинских гремушек, молодой металл делится на куски, и рулевой, оператор, защищенный от горящих плевков особой будкой, издали руководит взмахами своего ножа... У печи — рабочие в перерыве между двух судорог, опрастывающих ее всегда полное чрево.

— Получаем? Старший — двадцать семь рублей в месяц, остальные — восемнадцать и девять.

Девять, это — мальчик, подымающий заслонку, маленькая юркая ящерица, едва успевающая отпрыгнуть то от шипящей свинки, то от пылающих инструментов, бросающихся к воде, чтобы потушить свою красную загоровшую голову.

— За месяц сапог сробить не может. Сапоги — двадцать четыре. Берегись!..

Черная очередь к огню. Сотни слитков лежат в ряд. Спина со спиной чугунные овцы, которых толкач проталкивает в печь ударом железного сапога. Из нее они передаются в первую прокатную машину, которая из визжащего красного обрубка вытягивает воспаленный, все еще пылающий, но прямой и длинный ствол. Схватив за загривок щипцами, его тащат под резец. Три удара, — сзади остается красный, сквозь первые пепельные тени похожий на окурочек сигары, огненный отброс. Из следующей прокатной машины выскальзывает уже узкая, гибкая, красная змея. Но едва выглянет из пресса ее бешеная пурпурная головка, рабочий берет ее за шею двумя пальцами клещей и втискивает назад, в следующую нору, еще более тесную. Хвост стальной гадины свищет вокруг его ног, судорожно обвиваясь вокруг железных крючьев, предохраняющих мастера от пылающего прикосновения. А из желоба уже ползет вторая,

третья ждет, наполовину выскользнув из черного кольца, извиваясь в руках помощника.

Но одна из полос застревает в горле машины. Бьет колокол. Остановка. Ее остывшее, уже помертвелое тело, скрутившееся судорожными узлами, как змею на конце шпаги, выбрасывают из машины. Мастера сумрачно отмечают потерянные секунды. Машина безучастно отдыхает. Мимо проносят на носилках искривленный горячий слиток, похожий на обгорелого человека.

В мастерской скандал. Заведующий заводом товарищ Юшков вывесил объявление: мотки проволоки весом меньше 2 пудов не принимать. Рубить не на три, а на четыре части, это значит: лишний момент напряженного внимания, более короткий, быстрый темп работы.

Облепили Юшкова со всех сторон и напали так, что у него все взъерошенные белые волосы встали дыбом. Через шум он выкрикивает в придвинутые уши и прямо в белые лица, с потоками пота, стекающего, как через щетину, сквозь редкие, блестящие, как бы вымытые им бороды; в лица, освежаванные жаром, красные от огня печей, возле которых сменяются каждые полчаса меловые, с отливом в костяную желтизну, лица старших рабочих, несменяемых, незаменимых, облизанных зноем, с мумизированной кожей, которая уже не пропускает ни пота, ни краски, ни волнения.

— Пусть объясняет как хочет, — не согласны!

Между тем заказчик, могущественный трест, вернул несколько вагонов неполновесной проволоки. Интенсификация труда, а если нет, — разорванный контракт. Выбирайте!

Старая бунтовщицкая кровь нелегко уступает. Они тоже знают производство. Доводы и возражения, как шипящая проволока на столб, кольцо на кольцо наматываются на Юшкова. Что скажет фабзавком? Козырина! В старину они так же звали: Козырина, Горланова! Эй, Мокрецова с братьями! Старинные в Ревде имена, не раз их поминает умновская летопись по драке, по бунту, неистовой гульбе, по расправе, чиненной над «добрым» приказчиком, да так, что доказать барин ни на кого не мог, хотя всю деревню перепарывал. Теперь — мастер и заведующий, председатель завкома и чернорабочий, стоят друг против друга, — ближайшие товарищи и ожесточенные враги в этой трудовой схватке. Стенка на стенку. Между ними — завком.

— Довоенные нормы хотите? А где мясо? С пустым брюхом, на одной картошке?

Товарищ Юшков не уступит. Не может уступить.

— Нельзя? Врете, я сам на этих станках работал!

— Зато тебе и спускаем, что работал. Другому давно бы морду набили.

— А у нас советская или старая?

— Нет, не согласны. В рекап (РКИ) шли своих граммофонов с наказом,— будем говорить.

За Юшкова — спящая толстая тетрадь протоколов Уралпромбюро... Сухие циферные отчеты за истекшую четверть года. Неумолимые итоги, короткие, в три строки приказы по трудовому фронту, спокойные замечания и еще более сухие и редкие, почти незаметные на этих деловых страницах, сдержанные похвалы.

Над головой Юшкова, коммуниста, хозяйственника, красного директора, угрозой висит графа прокатки, где не хватает 27,25% исполнения, несмотря на суточную производительность сверх нормы, несмотря на 29 трудовых единиц, брошенных на бухгалтерские веса ценой величайших усилий.

За прокатный цех: его переутомление, молодость и сравнительная неопытность мастеров, тягчайшие условия труда, плохое питание, и, наконец, триста лет непрерывного, неустанного, сперва рабского, потом хуже чем рабского, и, наконец, добровольного и по-прежнему неумолимого труда.

Вечером Мокрецов, один из самых измученных и ожесточенных рабочих, сидя у себя за воротами, изредка прерываемый назойливым звоном одной из трех колоколен, у которых пропитой голос старых фабричных котлов и лицо, как торт с объединенными украшениями, загибая пальцы, излагал все огромные минусы своей и заводской жизни. Изредка он нагибался и отгонял свинью, упорно подрывавшую ближнюю березу, зябко завернувшуюся в свой зеленый оренбургский платок. От неловкости, от того, что нечего было ответить на все эти «почему» и «доколе», зачем-то вылез глупый вопрос:

— А вы сами свиней не разводите?

— Так ведь их тоже чем-нибудь надо кормить!

Мимо прошла гармонь, мимо проехала бочка с удобрением, со зловонием, медленно идущим вслед за дорогами, как родственник идет за своим покойником.

И холодные вечера на Урале.

Потом Мокрецов спросил:

— Вы все это будете печатать?

— Буду.

— Хорошо, пусть все знают.

Спустя немного в его голосе, как кончик папиросы, которую он потушил плевком, потухло все злорадное.

С глубоким сознанием ответственности:

— А может быть, сейчас иначе и нельзя.

ШАЙТАНКА

Жара дышит, как ветер. Под полуприкрытым веком дверцы мерцает его закатившийся, неподвижный белок. Согнутые пополам, надвинув на глаза стальные козырьки, рабочие руками бросают в белую щель куски старого железа, бесформенную заваль, сваленную кучей. Как охотники, загнавшие в яму огромного белого зверя, к которому еще не смеют подойти и издали добивают камнями. Но все старое и мертвое, попав в тело мартеновской печи, вскипает ее дыханием, становится частью белой крови, текущей по огнеупорным жилам стальным молоком. Старые металлы молодеют, ржавчина становится оттенком пламени. Отжившие, пораненные, исковерканные формы радостно растворяются в огне, чтобы выйти из него для новых воплощений.

В течение шести часов полную печь кормят и оберегают, как беременную накануне ее гигантских родов. К концу смены старые мастера по оттенку бесцветной лавы, по силе зноя, давно превзошедшего все доступные человеческому телу границы, угадывают время полной зрелости сплава. Рот печи снова открывается, мальчик дергает веревку, продетую сквозь ее верхнюю губу, и на пол, металлический, как палуба броненосца, течет ее воспламененная слюна. Она быстро остывает, принимая какой-то неописуемо бледный, лунный цвет. Мастер смотрит и отрицательно качает головой.

— Нет, еще не готово.

Рабочий, отбив кусок остывшей стали от пола (так зимой скалывают лед), бросает пробу назад в огонь

движением рыбака, швырнувшего обратно в море позадохшуюся окоченелую рыбу.

У печи — все сильные, молодые, здоровые люди. Как ни жарит мартен, жить под чистым уральским небом все-таки легче, чем в вонючей тесноте нашей Выборгской.

Удивительна присущая высококвалифицированному рабочему способность каждую паузу, каждую передышку в труде использовать для максимального отдыха. Пока печь в тяжелой пищеварительной истоме оспливает дымящимся животом последнюю грудку металла, обливая ее желчью огня, они, закутив, стоят поодаль, придав своим отдыхающим телам гибкую и небрежную, в поясе едва перегнутую ленивость, которая каждую минуту готова выпрямиться и войти в работу, и между двух затяжек табака, все видя и замечая, дремлют, стоя с открытыми глазами. Так же, верно, с рукой, упертой в бок, с неопределенной усмешкой, стояли они где-нибудь на перекрестке деревенской улицы, когда, страдая от бесчеловечного обращения господина владельца, Ефима Александровича Ширяева, искали от него так или иначе избавиться. Часто, собравшись в кучу, говорили между собой: «Довольно было бы богомольцев за того, кто убил бы Ширяева». И в конце концов господин был убит по наущению и с ведома фабричных известным на Урале разбойником атаманом Рыжанко.

Последняя проба. Старший печной, подручные, наборщик шихты — все на своих местах. Сам в кожаном, по горячим углям шагает директор. Инженеры заглядывают в печь с уверенностью молодых врачей, однако очень оглядываясь на безграмотную, но опытнейшую повитуху — старшего печного. Из сплава достают ложку самого чистого и ослепительного сияния, чего-то ни с чем не сравнимого, кроме несуществующей человеческой души. Это блистательное нечто, эта белая радость льется в маленький чугунный стаканчик с легким шипением стального шампанского, по нем бьют обухом, оно розовеет, и под страшными ударами молотобойца показывает всю свою твердую мягкость.

Кипящее вино руды обратилось червонцем.

Набат.

Артели бегут по своим местам со свистом, с улюлюканьем, — как раньше на пожар, или бить конокрада,

или спускать на Чусовую, заигравшую весной, первый караван баржей.

Все окна освещены, в них ходит большой свет, как прежде в играющем бальном зале демидовского дома.

И не свечи проносят мимо них — целые деревья из света, и по дорожкам из пламени белые павлины играют жаркими искристыми хвостами.

Ее величество сталь выходит белоснежным ручьем, молочная, пеннистая, играющая, и встречена такой игрой огненных фонтанов, таким фейерверком, какого самому графу Петру не придумать было в честь царицы Екатерины Алексеевны. Как на большом пиру, наполняет руда один пудовый кубок за другим, шумя и вскипая со дна, как источник, и убирая чугуны края венками искр. Точно великаны собираются поднять эти в ряд поставленные, вместо льда пеплом охлажденные, чаши за мощь и радость труда.

Нигде и никогда не бывает металл дальше от своего темного рождения и ближе к нему, чем на празднике выхода. Ничто в минуты кипящего просветления не напоминает о шахте, о сырой и черной билимбаевской яме, и уже через несколько минут на обугленном полу остаются исчерна-сизые, тусклые слитки, покрытые тем налетом металла и угля, от которого на руках горнорабочих образуются несмываемые перчатки.

Представление кончено, барский театр сгорел, и, одев старое посконье, крепостные актеры разбежались: кто в кузницу, кто на скотный, кто на барский двор.

Сталь переходит в следующую фазу своих трудовых воплощений.

ЛЫСЬВА

Ветер отчесывает волосы дыма с фасада заводской конторы, которая возвышается над площадью, как лоб, пожелтевший от лихорадки. Перед ним тяжеловесная церковь, напыщенная святая София, из грязного кирпича, крытая даровым домодельным железом, ничего не стоившим жертвователю.

Кинематограф «Триумф» показывает ей свой экран, обложенный известкой, как белый нездоровый язык.

Под сенью рынка, злобно и мелочно торгующего в тени трехэтажного кооператива (кстати, лучшего на всем северном Урале), мирно пасется стадо коз и хрюкают свиньи.

Низкие облака идут домой с утренней смены, не успев смыть угольной пыли с лица. Стоя среди мусора и ухабов, стальной гриб водокачки хмуро отмечает их приход. Брезгливо отступив на несколько верст от этой грязи и суеты, покоится Урал, пологий, синий и седой.

Тревога в конторе, тревога.

Старший бухгалтер с видом спокойной безнадежности (папки его подтянуты как пустой живот) толкает упирающуюся дверь Ивана Дианыча.

— Денег? Слава богу, пятьдесят рублей в кооперативе одолжили. Живем, ничего.

Осаждают Мыльниковы: хоть два рубля в счет майской получки...

К широкой кисти листопрокатчика приделана крошечная рука, которая выступает, как взволнованный свидетель.

— Что было, то я проел. Дети голодом сидят. Думаю, развернуться как-нибудь из положения можно же? — Рука делает несколько беспокойных движений над письменным столом.

Денег нет. Как-то этот разговор кончается.

Но телефон: жестепрокатный цех бузит!

Завком? Кильдебаков?

Иван Дианыч держит трубку, повернув боком широкий ломоть загорелой шеи, свою круглую деловитую голову с хитрым мягким носом. Ах, лукав этот Дианыч, и осторожен, и настойчив, хоть губы у него от улыбки гнутся концами вверх, как хорошие стальные коньки для фигурного катания. Башковитый мужик, говорят рабочие.

Из окна видно: люди бегут к жестепрокатному. Женщины связанными, маленькими шагами, — по шпалам, мужчины — через рельсы и лужи, не разбирая, с руками, глубоко засунутыми в карманы. Грязное, мокрое, скверное утро. Что же, жестепрокатный так жестепрокатный.

Рост человеческий измеряется шириной плеч, мощь завода — работой его основных цехов: доменного, мартена и прокатного.

При Колчаке Лысва потеряла много людей и похорила две мартеновские печи. Людей положили в братскую могилу, станки удалось спасти, — их нашли под откосами, далеко от завода, и вернули в родные цеха, — но печи погибли. Зрелище величайшей печали: в самом сердце живого завода — бескрышные стены, груды лома, обломки погибших машин, среди которых пробивается трава и осмеливаются расти какие-то жалкие полевые цветки. Между развалин лазит Герин — инженер, в неизменной кепке, с наостренными ушами, серо-коричневый в своем плаще, как умное насекомое, окрашенное под цвет ржавого железного листа, по которому ползает. Все они тут гуляют — от директора до ученика фабзавуча — по этому угрюмому пустырю, одержимые горячкой восстановления. Иван Дианыч (улыбка — полукруг вниз, концы вверх), любовно осмотрев машинное кладбище, предается вслух необузданным мечтам:

— Третью печь пустим еще в этом году. Спрос на нас есть... Потом сломаем весь этот балаган, правый конец восстановим, крышу...

Возле здоровых печей, из которых только что выдоили парное железное молоко, дымится толпа изложниц, с их оттопыренными железными ушами, надерганной рукой подъемного крана. Жар вибрирует над грудой шлака, к которому рабочие успели примостить свой чайничек. Кран бежит далеко, в другом конце этого длинного зала, над которым еще не целиком восстановлена крыша. Скрежеща, он снует высоко под потолком, похожий на исполинский челнок, пробующий заткать его пробоину.

У номера второго идет завалка. Печной приоткрывает дверцу, и рабочие как бы сами бросаются в огонь вслед за лопатой, нагруженной железными отбросами. Они откатываются, ослепленные, с пылающим лбом, с соленым вкусом пота на губах. Старинный, варварский, давно вышедший из употребления способ работы, от которого мы по бедности пока не смеем отказаться. Белокурый крепкий человек отнимает руку от глаз, вскипевших на этом жаре, как яйца, брошенные в самовар. Его рыцарская рукавица, отдыхающая на лопате, дрожит. Это Ермаков, Александр Терентьевич, построивший печи двадцать восемь лет тому назад. Только раз за всю жизнь уходил он от них — с Красной, в восемнадцатом году — и уж от Вятки шел обратно отбивать у белых эти четыре пещеры мартена, которые нянчил в дни их недолгого машинного детства, на которых сжег три четверти своей жизни. Но невредимыми застал только две.

Сутунка занимает целый дом. Это — длинная, злая гадина, плоский огненный солитер, который без конца проходит через стан, становясь все длиннее, тоньше и раздраженнее. Она летит через весь цех, приподняв щею, цепляясь за все шероховатости пола своим телом червя, подтягивая хвост к голове и свиваясь золотыми петлями. Ее тащат щипцами сперва обратно в стан, потом через все здание к стальным валам, вделанным в пол и образующим как бы ручей, которым распаленная сутунка плывет к резцу. Ножницы откусывают от нее кусок за куском, медленно втягивая в рот длинное тело горячей змеи. Один из рабочих скользит, но ставит свое тело на ноги судорожным напряжением мускулов, извернувшись, как кошка, выброшенная из окна. Падение — смерть. Замедление — смерть. Неловкость — смерть. Этот цех приговаривает только к высшей мере наказания. У металла, извивающегося в 800° жару, нет

оттенков; у него один цвет — цвет ожога. Но высшее мастерство возвращает людям беззаботность. Они неторопливы, уверены, сдержанны и только никогда не опаздывают. Каждый делает свое — перескакивает через красное железо, чтобы взять его за шиворот и послать двадцатипудовую ленту в машину, как летом бросают в реку большого ленивого пса; схватывает сутунку и подтягивает ее к ножницам, причем пылающее железо тащится сзади, обнюхивая дырявые легонькие лапы, бегущие перед самым его носом. Но все вместе связано, как волокна провода, по которому бежит трудовой ток. При размеренности всех движений, которая чужому может показаться сонливой, рабочие все время напряженно наблюдают друг за другом, и именно в решающую минуту — не раньше и не позже — чья-нибудь рука непременно разделит тяжесть, отведет огонь, предотвратит удар.

Через год вместо двух станов будет три.

ЖЕЛЕЗОПРОКАТНЫЙ И ЖЕСТЕОТДЕЛОЧНЫЙ

Сперва — как он вообще выглядит, этот великолепный и мучительный цех, где люди всего искуснее над грязными шумными машинами с вонючим дыханием и никогда не мытым черным ртом, с ядовитым потом, выступающим на чугунах и стали. Цех — колесо.

Первый из огромных маховиков стоит возле входа, за двумя станками, из которых один работает, второй, разобранный, пустует. Со своими четырьмя короткими столбами он напоминает допотопную могилу.

Второе колесо в сумраке паров, плывущих от прокатных станов. В грохоте трудового дня он порождает странную иллюзию сырого вечера, ползущего с болот, туманного и густого. В неопределенном мерцании испарений вращается медленное и бесшумное колесо нажима. Может быть, у него тоже есть свой голос, но в шуме этого цеха он тонет, как скрип штурвала на корабле, когда с людоедским лязгом разворачивается и падает якорная цепь.

Великолепная артель у этих станов. Крупные, сильные люди, достигшие полного расцвета всех своих сил, почти все выше среднего роста и той мускульной стройности, которую машина воспитывает в своих прибли-

женных. Старший дублировщик отдыхает, поставив на пустой ящик свой железный сапог, которым во время работы прижимает к полу горячую жесьть. Белокурый его лоб, наполовину прикрытый черной, без козырька, шапочкой, истекает потом. Едва слышен голос, высыхающий в шуме, как капли воды, которыми обрызгивают воспаленные суставы машин.

— За смену пропускаю от восьмисот до тысячи пудов, маломерки до чстырех тысяч.

— Сколько?

Ветриков кричит прямо в ухо:

— Рубль шестнадцать за смену.

От его рубахи, покрытой широкими мокрыми пролежнями, исходит запах, как от железа во время химических реакций. У стана — катальщик Кураев, один из превосходнейших рабочих этого цеха. Легкий стук его клещей о металлический пол заставляет поторопиться замешкавшегося печного. Его белые лапти и онучи (белая крестьянская береза в рабочем лесу) осторожно избегают летящих навстречу тетрадок красной жести. Кураев отрывает от поданной стопы первый лист. Это — уже совершенство движений: искры едва успевают зазолотиться и потухнуть на куске металла, с бешеной скоростью вылетающем из машины и отбрасываемом назад, под валы, этим бойцом с расстегнутой грудью, в валенках и старой красноармейской шапке, сдвинутой на затылок. Через мгновение он висит на рычаге, меняя степень нажима, и рвет его, как медведь дерево. К концу своих тридцати минут, после которых его заступает Ветриков, Кураев течет, как в бане. Одна рука в кожаной рукавице неколебимо тверда на клещах, но другая, обнаженная, желтая, как и залитое водой лицо, начинает медлить и дрожать. Машина, как наглый курильщик, обдает его голову облаком горького пара, и коммунист, доброволец восемнадцатого года, хрипит среди хрипа, скрежесет среди скрежета, кричит вместе с кричащей жостью:

— Нет, лучше на фронте, чем здесь гореть...

Но это — только минута, только один из молниеносных оборотов машины, одно из слов, неразличимых в победоносном вопле металла. Пусть только посмеет чашница, пушинка какая-нибудь приклеиться к оголенному листу, Кураев смахнет ее беззаботным движением руки, едва защищенной рваной перчаткой.

Бешеное умножение продолжается. Каждая раскатанная полоса складывается пополам. Из одной — две, из двух — четыре, из четырех — шестнадцать. И после каждой прокатки, как после допроса, остывающий металл возвращают в печь на пытку, и после каждого нагрева машина вынуждает у него все новые и новые уступки. Там, где уже абсолютно нечем дышать, среди яда и грохота, между кипами готовой жести, на которые из станов насливаются все новые листы; между умалишенной каруселью маховика и мостовым краном, покачивающимся над этой преисподней, как пьяный гигант, к стене прибит белый листок: «Помните о Ленине».

Горизонт здания теряется в тумане угольных испарений. Как бы надвигается ночь, озаренная кострами, на которых кипит масло.

Прокатка кровельного: очаги с железными бровями, низко надвинутыми на глаза из темно-красного пламени. Колесо и кран. Толпа рабочих ведет 250-пудовую вагонетку, как конюха — горячую лошадь.

Палкин — уполномоченный цехом. Коммунист. Короткий, узкий нос, сточенный, как напильник. Круто сложенная кость подбородка, опаленная кожа со свежими следами ожогов. Усы над верхней губой, рыжеватые, как окалина на металле. На ходу он дожевывает хлеб, переступая с лаптя на лапоть, и беспокойно трогает рукой фартук в дырах.

— Мастер не годится. Мастер груб и незнающ. Вон, вон, вон!

— А кого ты мне дашь?

Хитрый мягкий нос Дианыча в полном соответствии с его круглой шапочкой. Но Палкин понимает все тонкости: слабого на это место поставить нельзя. Между двух грохотов они договариваются. Над рулями нажима, едва их не задевая, проносятся краны, неся охапки готового кровельного. На одном из них в свое время потел, нацеливаясь на жирные болванки, этот самый Иван Дианыч, ныне директор Лысьвенского завода.

Рядом с прокаткой чистая комната паровой машины. Сюда сбежала и спряталась тишина. Здесь отчаянные люди, ведущие огромный завод без гроша в кармане (с деньгами каждый дурак справится), с великолепной наглостью обсуждают вопрос скорой электрификации.

Но еще три строки о жести, чтобы кончить беглый очерк этих цехов, составляющих мощь производства и почти одновременно заболевших острой лихорадкой недовольства, вызванного снижением зарплаты.

Итак, жечь. Она еще раз возвращается в тяжкий, мутный огонь обжигательных печей, выходя из него с просветом на середине каждого листа. Обугленные края чернеют вокруг неопределенного серебристого изображения, которое металл вынес из пламени и не сумел сохранить.

В отделку!

Товарищ Шадрин, с умным маленьким личиком стареющего рабочего, сидит на табуретке перед валами и, как кассир, считающий деньги, бросает в машину одну железную бумажку за другой. Он работает с необычайной быстротой, от времени до времени прерываемой дымным кашлем.

— Сiju здесь с четырнадцати лет. Раз, раз, раз,— летят подачки, но сколько ни бросай застановщик, он всегда останется у машины в долгу.

Своими раздутыми масленистыми губами негра вал с неумолимою жадностью глотает железо.

— Ранен был три раза, вернулся домой в семнадцатом, в гражданскую в мае пошел стрелять и стрелял до самого двадцать первого.

Кашель. Клубок гари, выброшенный машиной, рассеивается. Шадрин затирает угольный плевок.

— Хотя месяц в развитие получаю, то сразу мне легче. Пора переходить на другую работу. Горшков, делай!

Горшков — комсомолец, бравший Пермь и Омск, многие города уральские бравший, повисает на стволе, регулирующем наводку валов. У него крупное лицо, выпуклые губы, глаза без тени, большие прямые руки. Весь человек вообще сосновой прямизны.

— Партия? Всяка работа проделанная доказала, что при наличии большинства в нашей партии нам будет лучше жить. Потом Ленин сделал призыв.

Товарищ Шадрин за смену прогоняет через стан тысячу пудов железа. У него двое детей, и он получает за день 93 копейки, считая, конечно, приработку. Но ведь с ней так: чуть возрастет производительность труда, норма повышается, закрепляя за собой завоеванный уровень. Сверхурочное становится обязательным, а надбавка забирается куда-то еще ближе к пределу человеческих сил.

Но скорее назад, в жестепрокатный цех. Там работы уже остановлены, и началось общее собрание.

Кто хочет видеть завоевания великой революции, пусть пойдет в завод в дни беспорядка: не в мирные трудовые недели, а именно в часы, отмеченные в трудовом календаре бужой, волюнкой, или как ее еще называют. При первых признаках возбуждения, овладевающего фабрикой, ее хозяева во всем мире посылают за солдатами. Через окно, у которого председатель фабзавкома сейчас наблюдает беготню лысьвенских рабочих, когда-то наблюдали ее старые инженеры, с перекошенным лицом висая на телефоне, проволока которого на другом конце была намотана на казацкую шашку.

Правда, товарищ Маслянников (профсоюз) не совсем спокоен. У товарища Кильдебакова (завком) вид человека, разорванного пополам распрей рабочего с рабочим государством. Дианыч пока что усмехается, — рогульки его улыбки кверху. В жестепрокатном стане уже стали. Стало колесо и не дышит, — совершенно мертвая вещь, ни в одном атоме не сохранившая следа своего бесконечного кружения.

Начинает директор — о валах, приходящих в негодность.

— Что ни валок, то женский род. Не успеешь оглянуться, а он уже с трещиной.

О том, что новые заказаны и идут в Лысьву; что мастер при них будет знающий, выписанный из Чехословакии; что профессор Пыжнов — превосходный специалист и враз сэкономил заводу 1500 пудов мартеновских слитков — все эти рассуждения перелистываются, как предисловие: умное, но никем не читаемое. Рабочие ждут паузы, чтобы начать молотить.

Рваное пальто и шапка в пятнах, сидящие высоко на колесе, дают вопросу ту логически нелепую и вместе с тем единственно правильную формулировку, в которой он и должен обсуждаться.

— Вот у нас жалованье сбавили, а работы, между прочим, прибавили.

— Мало жалованья? Хотите опять получать миллиарды?

Это тоже нелогично. Никакого прямого отношения к делу не имеет, — но под ложечку.

— Если теперь полетит он (рубль), мы не удержимся.

Дуновение задумчивости и ответственности. Как столб, вбита отправная точка. Положение, из которого все исходят, которое никем, никак, ни при каких условиях не оспаривается. Краткая социальная аксиома: власть советская должна быть.

Прислонившись спиной к этому крупному колу, Дианыч наглеет. Задевает больные струны — конкуренцию с Югом, притязания далекого северного соперника — Гужона — на более низкую себестоимость. Этого не надо было говорить. Спор вспыхивает снова, пока на частных.

— А лесничим сбавили?

— Сбавили. Долго я пыхтел над ними!

Дианыч думает, что отделается лесничими. Ну, нет. Шутки в сторону.

— А почему в Англии продукт производства дешевле, а зарплата выше?

Внимание. Колеблется синий чад. Крупные снежинки сажи садятся на лица.

— Эдаких надо маленько счистить!

— У нас в литейном техноруки — руки в брюки. Десятками ходят...

— Один стан шлепал без спеца, — ничего, не хуже других.

Опять голос, ведущий к колдоговору, сегодня перезаключаемому на самых невыгодных для рабочих условиях.

— Своих-то не надо давить!

— Ставки сбавили, а цены на продукт поднимаются.

— Рабочие усердием свое возьмут, а еще не сбавлять! У нас и так руки опали.

Глубокая горечь прорывается наружу, упреки справедливые, на которые трудно отвечать. Дианыч барахтается. Но из рядов ему — беспощадно и высокомерно:

— Ты записываешь на бумажку, а у меня в башке все избито, — а то бы я тебе накрутил...

Сзади — вздорно и запальчиво:

— На один стол по одному спецу.

— Врешь, я сейчас один на три стола сижу. По-твоему, так набавить придется. Нет, милый.

— В потолке-то избито да измучено. Он вон как заливает. Почему десятник семьдесят рублей получает, а который человек горит, — убавили?

— Не согласны на ваш договор, не хотим! Вон!

Черным лесом стоит негодование. Смотри, Дианыч, дальше нельзя,—назад. Круглая голая голова все еще посмеивается, но глаза внимательно ловят каждый бросок. Привык мальчишкой бегать среди горячих листов, не обжигая пяток.

Уступка.

— Мастер, можем мы обойтись без десятников?

— Давай цифры!

Их зачитывают.

«Маломер: 1020 листов — семнадцать рублей сорок восемь копеек; 1100 листов — двадцать три рубля десять копеек; 752 листа — одиннадцать рублей одна копейка».

— А где артель Суханова?.. Где три рубля, так нам ее не надо?

Наконец буря разражается.

— Недопустимо! Сбавили полцены!

— Завком, что смотришь?

Товарищ Кильдебаков стоит, как после потасовки, в своей избитой кепке.

— Мы, как добросовестные граждане, подняли производство. Нельзя оплату трогать! Несправедливо! Кое-как домой дойдешь,—рубаха пополам трескается.

— Крупчатка была два рубля сорок копеек, а теперь три рубля пятьдесят копеек.

— Зачем нам союз? Он с нами должен идти, а играет с администрацией. Глаза завешали!

У Дианыча даже нос несколько набок покривился.

Раздосадованный каталь, сидя высоко на машине, встает и, потягиваясь по-медвежьи, когтит рукавичные угольные лапы на ближайшей балке. Его спина, стянутая кожаным кушаком, выражает избыток силы и усталости. Наверху, на плече молчащей машины, три пробужденных раба Микеланджело, подперев голову, слушают с лениво курящимися папиросами. Много кричит старик: борода — уголь пополам с седой рудой. Круглое злое лицо, которым он лягается, как копытом. Полосатый кафтан, как-то равномерно загрязненный.

— А когда мы вас перевыбирать будем? Два месяца как в ленинский набор вошли, а ни до чего еще не допущены. У нас есть кого посадить. Мужики с головами. А этих старых заправил назад к молоту, тогда запросят прибавы, пойдут с нами в одно.

— Нехорошо, видно. Сам жмурится, стыдно глазам-то.

— Стачку!

— Валки новые без рук работать не будут.

— Стачку! Угрожаете закрыть завод,—нет, рабочие никогда не позволят!

Сверху, с колеса, шапочка без козырька и меховой кочковатый воротник в третий раз подымает общее над частным. В третий раз люди, бросаясь за этим спокойным и негромким голосом, натыкаются на светлую, стеклянную стену ответственности.

— Тяжело будет перенести рабочему классу! — Этими пятью словами колдовговор, пожалуй, уже припят. Приняты многие месяцы удвоенного труда, бурных жениных попреков, тяжелой зимы и возрастающей цифры долгов. Тяжело будет перенести рабочему классу! Это значит: помните, ни одного лишнего дня этой тягости, ни одной копейки, отнятой здесь и отданной на ненужное. Берите, но не забывайте, чего стоит каждый день и час неслыханных тарифов. Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, всей этой стае мелких цифр, накладных расходов, обременяющих каждый пуд угля и руды, лежащихся непосильной ношей на всякую лысвенскую ложку и плошку.

Прекрасная речь Маслянникова. Все, что можно сказать в защиту настоящего — во имя будущего. Его слушают и на него смотрят. На кожаную фуражку, отливающую металлом, на черную рубаху с белой пуговкой у ворота, на высокие сапоги горняка — эту военную форму заводского Урала, какую-то, черт его знает, неподкупную, что ли, негнущуюся, строгую. При виде ее всегда вспоминается или фронт — годы кожаных курток, или вход в шахту — черную, как небо у злых собак.

Если судить по ругани и крику, — буза еще продолжается.

— Народ обессилеет и не станет работать!

Но до сих пор не видно было всего цеха, безмерно большого, налитого испарениями, туманом, синеватой пустотой. Теперь он вдруг есть. Скорлупа неудовольствия и нервного внимания, отделявшая собрание от всего остального, разжалась, перестала быть. Дымом уходит в дым, в курящееся ничто. Шум проснувшихся забот разнимает последние паутины. В резолюции... принять, но просить через фабзавком...

Пожилой рабочий, утомленный стоянием, направляется к своему станку. У него на голове дырявый ко-

телок. Крыша цеха тоже дырявая,— еще не смогли починить.

Разряды полетели, прибавочные полетели, спецодежда, масло в цехах, вредныя для здоровья,— все сдвинулось и переползло на ступень ниже. Колдоговор! Основные цеха взволновались. Что же говорить о механическом заводе (посудном), где вся работа делается бабьими руками и притом по самым низким разрядам, от первого до пятого.

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Рано, часов семь. В эмалировочном сухо и тепло. Жар равномерно разлит по всему светлomu, просторному зданию. Не сразу почувствуешь его страшный гнет, который сперва ложится на плечи, как хорошо сложенный удобный ранец. Горячий пол очень постепенно разогревает подошвы, пока во всем теле не разольется горячая усталость, готовая к каждому столу прислонить тяжелую глиняную голову. Только бы уснуть!

Между тем труд здесь непрерывен, мелочен и заботлив. Посуда, такая ленивая, такая склонная к стоянию на одном месте,—уже на полках для просушки, усаживающаяся, как в буфете, какими-то оседлыми рядами,— требует от рабочих большой подвижности и внимания. Беготня с ней. Стоя лицом к особому умывальнику, прижав живот в отсырелом переднике к его краю, макальщица в течение восьми часов опускает в густую эмаль кастрюльки, горшки, тарелки, миски, ложки, все эти обыденнейшие вещи (у всякого они есть, и никто их не замечает, как прислугу), которые не хотят войти в долгую кухонную жизнь без белой подкладки, без этого ослепительно чистого передничка, выдаваемого чернорабочей посуде один раз — и на всю жизнь — в день ее скромного рождения. Восемь часов подряд макальщица сажает в эмалевую ванну тяжелые и легкие предметы, бережно и осторожно, как грудных детей, чтобы они не глотнули воды. Затем в течение двадцати, пятнадцати секунд трясет влажную посуду, одной рукой опираясь на косяк или придерживая тяжесть щипцами, тряся, размахивая и переворачивая ее в воздухе, пока синее платье и белый фартук, которыми одета новая вещь, не растекутся равномерно по ее пузатому телу и не под-

сохнут. Все эти маленькие, на вид такие тщедушные, а на самом деле неутомимые женщины ругаются на чем свет стоит. Мало того что зарплату уменьшили,— еще и фартуки отобрали. Хуже, чем отобрали. Макальщицам, работа которых несколько чище, чем у их помощниц, прижимающих мокрые горшки к груди и бедрам,— им спецодежду оставили, как знак отличия, как привилегию за тяжелый и квалифицированный труд, разламывающий плечи, поливающий ноги огнем, который едва затихает к утру, после нескольких часов неутолительного сна. И вот между мастерицами и помощницами возгорелась гражданская война. Обтиральщицы ходят сердитые, нетерпеливо подняв на плечо доску, уставленную сырой посудой, уперев руки в бок, бранчливо шлепая босыми ногами.

На Шурочку — свой фабзавком — только фыркают. С Кильдебаковым разговаривают воинственно, но он им отвечает с той щепоткой насмешки и превосходства, на которую так обижаются женщины и которую втайне любят. Одним словом — как мужчина.

Они ему:

— Должны постараться вы. Мыла нет. Эмаль самая едущая, садится прямо на тело. В баню придешь, как шкурка снимается.

— Поневоле из газеты вычтешься...

— Нигде леготы не видно!

Но едва Маслянников или Кильдебаков за дверь — Шурочку на клочки:

— Мыла! Спецодежды! Слишком хладнокровное отношение,— не знаем, сколько зарабатываем. Пятнадцатиминутный перерыв на обед, так что и ноги не успевают отомлеть!

Делегатка им:

— Вы упрек зачем на меня накаливаете? Я тут ни при чем.

— А мы, может, сердце отводим.

— Да, на завком не можете горе изъять, так на меня!..

— Ты мимо меня ходишь, я к тебе по-соседски и подступаюсь.

К жалобам женщин, особенно того цеха, относятся не очень серьезно. Между тем даже старая макальщица, на месте которой не каждый мужчина выдержит, получает по пятому-шестому разряду.

— Эх, бабы!

У печного волочащийся гладкий шаг, и развинченной грации, с которой он подталкивает к печи и вынимает из нее противнь, уставленный шаткой посудой как бирюлками, — дивится весь цех. Обе смены жмутся около него, приходя и уходя с работы, — якобы с жалобами.

Красавец щурится, свистит и всех выслушивает:

— Эх вы, яги!

ЦЕХ ШТАМПОВАЛЬНЫЙ

Холоден, шумен и черен. Сквозные двери его длинного сарая стоят открытыми друг против друга. Между ними — сквонзьяк и рельсовая дорожка, та самая, которая в 1905 году стоила рабочим бурной забастовки и устройства которой вынудили у господ Шереметевых неделями ожесточенной и победоносной борьбы. Справа и слева от прохода скользящие ремни льют водопады сил на сотню станков, придающих грубым горшкам их форму. Станок почти бесшумно берет вещь в работу. Встретив сопротивление ее шершавых боков, он сдирает с них грубую кожу и взвизгивает только тогда, когда готовая штука сваливается в корзину.

Вдоль окон сидят женщины. Машины, которыми они пришивают ручки к чайникам, чашкам и горшкам, очень напоминают швейную. Только вместо нитки строчит огонь, вместо иглы — толстый металлический палец, каждое прикосновение которого сваривает металлы.

Товарищ Шилова работает у своего аппарата семь лет. Семь лет — много или мало? Лучшие годы жизни, всю молодость, все, что человеческая жизнь может вложить в семь весен, в семь зим — любви — удач — потерь. Семь лет за то, чтобы пришить миллионы ручек к миллионам сковород и ночных горшков. Искры летят на ее суровый фартук, платок и маленькие руки. Товарищ Шилова сидит на чугунном табурете, который трясется, как лафет пушки во время пальбы, и с годами вызывает какую-то сложную женскую болезнь. За смену, за каждую тысячу штук получает 85 копеек.

— Если быстро натужиться, наработаешь. А если с отдыхом, — а он нужен, понимаешь, маковка, нужен, — то и не наработаешь. Но у нас несравнительно — нельзя замедляться.

Машина неистовствует, каждое прикосновение — ожог и блеск отдаленной зарницы на грязной стене.

— Эх, горит на нас все.

Товарищ Мушкина — мужественная женщина. В ее лице цех сработал себе тонкого, стройного человека, со станом и грудью восемнадцатилетнего мальчика. Одна из немногих, несмотря ни на какие сокращения, не отказавшихся от выписки газет, за которые платит 2 руб. 30 коп. Шьет чайники.

— Через великую силу гнешь их больше тысячи. Нет, Марусенька, на крупной посуде никак не можно!

Все эти станки — аристократы машинного царства. Стоя на месте, они не связаны в своих движениях, разнообразных, как движения рук. Возле них штамповальная — груба, настойчива и монотонна, как дикарь, закрепощенный фабрикой. Ничего не видя, ничего не понимая, она с животной страстностью наносит свои удары, придавая железным кускам смысл и форму жизни. Она сидит на корточках, как первобытный гончар, и с шумом сбрасывает со своих колен черную, тяжелую посуду.

Кривой, оборванный человечек в лаптях и старой кофте послушно кормит ее железными лепешками.

— Нет, — говорит, — в партию нам рано. Пусть жисть вперед покажет.

И, недоброжелательный, жует трубку, как корешок.

— А вы, товарищ?

Прерываемый громом молота, припадающего к куску железа, отданного в его власть, заугленный человечек произносит великие имена:

— ...но их окружили под Октябрем — сорок тысяч казаков пошло в плен.

Освобожденный из колчаковской тюрьмы, воевал он, Секирин, в Грузии. Коренной вояка, старая узловатая коряга, выкорчеванная революцией из северных болот, он подводил под республику мятежный Дагестан. Тверскому, говорит, отряду мы сделали пересечку и крепость Гуниб ходили выручать — и выручили. Двадцать второго года сделалась мобилизация. Теперь жена, трое детей и жалованье в месяц идет по пятому разряду — 17 руб. (с премиальными до 30).

— Ну, брат, останавливай, надо направить!

Штамп в последний раз с неукоснительной силой опускается на кусок подставленного железа и, помедлив,

его отпускает. Тарелочка со звоном скатывается в корзину, помеченная его варварским поцелуем.

Не всякая усталость горит гневом и дымит словами. Человек с плечами, раздавленными трудом, может вдруг опустить все ветки, стать тяжелым, залиться печалью, как водой. Ядовитые цеха — без них не обойтись. Как ни механизирован труд, — кто-то должен дышать серой, стоять в лужах, в течение двух часов разъедающих подошвы, должен присутствовать при купании жести, переходящей из ванны в ванну. Наука говорит: самое большее — три года, четыре. Больше человеческие легкие выдержать не могут. Но там, где статистика ставит многоточные и подводит итоги, вовсе не пустой лист бумаги, а живая жизнь людей, даже не подозревающих о каком-то роковом пределе и мирно продолжающих дышать желтым ядом четыре, пять, сколько придется лет. Этот труд, как и всякий другой, оплачивается по ставкам, повысить которые сейчас невозможно. Отнято масло, являющееся единственным, хотя и не очень сильным противоядием, разряды урезаны. Как ни странно, но в этих цехах, самых тягостных, новый колдоговор прошел как-то менее шумно. Есть предел, за которым притупляется чувствительность. Сквозь облако пара, вызывающего кровотечение из носу и острую боль в сердце, жизнь должна выглядеть совсем не по-нашему. Сера и олово делают все относительным, разоружают волю к борьбе. Головокружение, такое мучительное вначале, превращается в однообразное и привычное опьянение.

Пощады этим цехам! Они первые должны быть открыты воздуху и свету. Им самое солнечное окно, самый сильный поток свежего воздуха в новой, будущей фабрике. А пока эти жизни донашиваются, как старое платье. Его уже нечего беречь, в праздник никто не надеет, а на каждый день еще хватит.

Ни людям, ни даже металлу воздух круглой залы, прикрытой влажным куполом, не проходит даром. Подъемник двумя руками купает жечь в горячей сере и воде. После ванны — проползание через горячее олово, из которого она выходит блестящей, красивой и мертвой, а люди — с розовыми пятнами на скулах, с волосами, склеенными потной слюной. Последнее превращение — апофеоз металла, наглого и дешевого, созданного для консервных банок, грошовых игрушек и ложек, дерущих рот в бесплатных больницах.

Проходя через алебастр и опилки, он попадает в быстрые руки товарища Горбуновой, которая на минуту превращает жест в царственные зеркала. Первое, что кусок видит, — это белый платок, бесподобные брови и плечи женщины.

Но ведь жест мертвая и ничего не понимает.

Если муж был красноармеец; если он убит в гражданскую войну; если после него осталось двое детей; если в день зарабатываешь 60 коп.; если фартук на животе промок и сгорел на сере; если стоишь чистильщицей в обжигательном цеху, то есть вылавливаешь из бака с кислотой всякую посуду, чистишь ее песком, опять окунаешь в воду, опять чистишь, так что из-под ногтей кровь идет, несмотря на резиновые соски; если весь день дышишь густой и зловредной вонью и стараешься при этом так себе, не очень (кто же станет особенно стараться на этой однообразной, мокрой, глупой, бабьей работе?); если в цех ходит комиссия, справедливо доказывая, что при всем напряжении своих сил чистильщица Сорокина могла бы за свои 60 коп. пропустить еще несколько сот горшков; если при этом сама Сорокина вошла в ленинский набор и отлично понимает, что отдать надо, но все-таки бережет и жалеет какую-то крупицу своих сил, — из чувства самосохранения спрятанную в ее мускулах и костях на черный день, на случай крайней нужды и болезни, — понятно, что лицо у Сорокиной отнюдь не веселое, а от вечных комиссий в душе стучат друг о друга бешеные крышки кастрюлек. Кто с ней ведет переговоры?

Переговоры ведет Балкова, уполномоченная цехом. А кто такая товарищ Балкова? Это — человек небольшого роста, который питается одним хлебом, обмакнутым в помоеобразный кофе без ничего, цветет, как лето, носит набок свой черный платок, отчего имеет вид разумной зайчихи, с одним, несколько приподнятым ухом, а также пользуется доверием всего цеха.

Это — настоящая работница, с мужем и прежней семьей, оставшимися где-то на перекрестке исторических дорог, которыми прошли голод, тиф, Колчак и революция. Один из тех самостоятельных людей, которые без посторонней помощи нашли дорогу к партии и книгам, спокойно бедствуют, работают, делают жизнь своего цеха более выносимой и, не замечая, весело тащат на плечах большой и нужный кусок заводской жизни.

КЫТЛЫМ

(Платина)

I

Кытлым по-вотяцки значит котел. Он и есть котел, большая горная чаша, поставленная в вечные снега. Облака перелезают через его зубчатые стены, оставляя на них клочья своих пенистых, пышно взбитых подолов. Кроме туч, издавна ходили горами охотники — на пушнину, на медведя, на птицу. А впрочем, — немного: из-за трудных дорог, из-за лесных пожаров, из-за помещика, ревниво оберегавшего свой кусок тундры. Какой прок в этом Воробьеве? Сидит он на земле, рядом с господином дю Парком, и воюет из-за дороги. Если, говорит, ты землевладелец и дворянин, — руби себе отдельную. Многие дни, таким образом, дворянин и кавалер проводил в кусту, поджидая дю-парковский бубенчик, вороную тройку и кузовок, чтобы всадить в него добрый заряд дроби, а промахнувшись по соседу, то хоть французова борзого кобеля, бегущего рядом с повозкой, хорошенько ошпарить. Со своей стороны дю Парк от кытлымской жизни очень уставал. Сидит, сидит в своем доме безвыездно и вдруг, обложившись подушками, нет-нет и пролетит по запретной воробьевской дороге, рыская по ухабам, нагнув на уши меховую вотяцкую шапку и защитив сидалище особой периной. Однако пробивали сию перину дробинки господина Воробьева. Был он добрый охотник и свою амуницию лил в собственном доме из беловатого

металла, в изобилии находившегося на пустырях, а также во мшистом болоте, составлявшем большую часть его бесполезных угодий. Конечно, не сам же дворянин бегал по дебрям, собирая свое серебро не серебро, но раздавал мальчишкам по копейке, за что и наносили они его в помещичий дом кулками, из которых барыня большую часть на помойку приказывала выбрасывать. Не терпела сей домодельной дрови в супружеских карманах: будучи неблагороден, этот металл отличался чрезмерной тяжестью и самые прочные новые карманы в полдня продырявливал. Так или иначе, но воробьевская дробь была жестка, глаз же и рука метки, вследствие чего дю Парку действительно пришлось прорубить дорогу через непроходимое болото. Господин Воробьев все равно радовался, ибо француз денег на постройку пожалел, тонкий настил из бревен вскоре прогнул и обвалился. В первый же год один славный жеребец совершенно сломал себе левую переднюю ногу, провалившись в болото. В том же году приказчик господина Воробьева неожиданно скрылся, приобретя — по пьянству своему и невежеству — у крестьян мешок белой дрови за 50 коп. Дуракам счастье. Вскоре распространились слухи об его богатстве, приобретенном неизвестно каким образом. Жизнь в тайге еще года два мирно сосала свою медвежью лапу, пока вдруг господин Воробьев не совершил неслыханной сделки. За три рубля серебром приобрел он у охотника секрет. Первое: что металл, коим били искони рябчиков, а также тарантас и борзого кобеля соседа дю Парка, не что иное как чистая платина, белое золото, драгоценнейший из драгоценных металлов. И второе: во всех соседних ложках, на Северном и на Сосновке, где ни плюнь, везде лежат ее богатейшие россыпи. Со всех соседних гор пенистые речки сбегают в кытлымский котел, и каждая из них несет с собой платину, чтобы небрежно ее спрятать и забыть, кое-как прикрыв тонкой настилкой моха, забросав камнями или просто опустив на дно светлого ручья. Большие деньги дали Воробьеву англичане и французы за его голое каменье. Говорят, до пяти тысяч рублей наличными, квартиру с дровами, освещением и сухим отхожим местом, еще пожизненное обеспечение в виде должности «для особых поручений» при компании. Затем Кытлым, отгороженный от мира подоблачными горами, лесистый, болотный, трущобный Кытлым потряс мир славой своих

платиновых месторождений, легендой о богатствах, разбросанных на десятки верст, об этих речках, играющих миллионами, о болотах, на которых варвары стреляют диких уток пулями из чистого золота. Не чьи-нибудь, — всеисильные уркартовские руки взялись за создание платинового королевства на Урале. Вошел в компанию и русский капитал, но в незначительном количестве. Ему милостиво было разрешено присоединиться к триумфальному шествию акционеров. Пять драг перевалило кытлымский перевал. Каждая из них стоила более трехсот тысяч золотом. Их везли медвежьими тропами, и железные фургоны на каждом шагу проваливались в трясины под неимоверною тяжестью двигателей, колес, ящиков и котлов.

Машины совершали свое путешествие с роскошью, которой прежде отличались только свадебные поезда мелких ангальтцербстских принцесс, ехавших к нам на царство откуда-нибудь — из Риги или Ревеля, в золотых каретах, с коленями, обернутыми собольим мехом, которого они в отечестве не видели, и с последними ценами на нюхательный табак, мясо и овощи, занесенными в девический дневник. Но шествие машин! Перед каждой повозкой по двести лошадей, а вечером лагерь, разбитый возчиками, напоминал привал странствующего Могола. Еще год спустя тайга горела на сотни верст кругом, запаленная часовыми, которые бросали в темноту горящие ветки, чтобы разогнать свой сгустившийся страх и мрак коротких волчьих ночей. В 1904 и 1905 годах компания начала высасывать из земли сказочные дивиденды. Чуть ли не в первый год окупилась все машины, все расходы по доставке их в Россию. В то время как страна переживала свою первую революцию, — в год неслыханного финансового краха и полного развала всего хозяйства, — раз в неделю бешеная тройка неслась через тайгу, унося из Кытлыма его семидневную добычу — около миллиона рублей. Не этими ли легкими деньгами ссужала затем Европа наше императорское правительство, побиравшееся у ее дверей? Апогея своего хищническое хозяйство достигло в годы, предшествующие войне: 1912, 1913 и 1914. Буквально на кытлымские миллионы и миллиарды подготавливалась мировая война, за которую нам теперь предлагают заплатить еще раз. Добыча достигла фантастической цифры — двадцати-двадцати одного пуда в год. Россия завоевала мировой рынок,

доставляя 90% всей добываемой на земном шаре платины. Платиновый ливень становился все гуще, все тяжелей, все обильней. Опытные геологи произвели разведку соседних гор. И хотя результаты этих экскурсий хранились в величайшей тайне, слух о том, что все вокруг Кытлыма — и глина, и леса, и болота, и камень — все чистая платина, распространился очень скоро. Безумие овладело кругом. Открытие Тылая, Косьвы, Сосновки, Ободранного Ложка быстро следуют друг за другом. Вокруг равномерно работающих драг садится армия старателей, варварски ковыряющих землю. Половина из них разоряется вдребезги, попадает в лапы скупщиков и полиции, пьет, режет, находит и, не имея средств, чтобы вести более тщательные работы, ревниво прячет свои находки, заваливая мохом и листвой одинокие шурфы, похожие на могилы. Однако не все, дышавшие воздухом платиновой лихорадки, становились ее жертвами. Россия в те годы уже была заражена ядом более сильным. Как ни пенился кытлымский котел, — в самом его сердце сидели люди, делавшие искательскую работу, как всякую другую, лишь бы купить на выручку кусок хлеба и несколько книг: на первых драгах, пущенных в ход компанией, работали, строили и учились будущие кытлымские партизаны, его комиссары и хозяйственники.

И наконец, геолог Дитковский — большевик, которого компания спокойно посвящала в свои планы и открытия, не подозревая, конечно, что этот чудак, обуреваемый идеями социального равенства, — а впрочем, знающий специалист, — через каких-нибудь три года нанесет жестокий удар царственной концессии.

До сих пор иностранцы забыть не могут 1917 года. Такие прибыли! Такие перспективы! Благожелательное правительство, присущая колониальной России дешевизна рабочих рук, тайга и 500 рабочих, оторванных от мира, находящихся в полной власти предпринимателя. И вдруг — всему этому конец.

Зачем Колчаку было идти в Кытлым? Мостить болота трупами, дышать гарью лесных пожаров, чувствовать со всех сторон уколы партизанщины, проваливаться в трясины со своими пушками и обозами? Но по полемому телеграфу, по стальной бечевке, висевшей от сосны к сосне, из Парижа и Лондона шли длинные и повелительные приказы.

— Черт возьми, адмирал, для чего же мы вас принимали?

Телеграф икал от иностранных слов, от этого взбешенного *urgent, urgent, urgent*, с которым Европа стремилась к серебристой платине, мирно дремавшей в земле, под оборванным пологом из моха, хвои и снега. Пришпориваемые из-за границы белые в декабре 1918 года действительно приблизились к Кытлыму. Рабочим, осмелившимся на целый год лишиться кучку иностранных проходимцев их сказочных барышей, был преподан жестокий урок. Расстреляли: Орехова, Сергеева, Иканина, Шумаева, Наймушина. Потом еще: Грибенкина, Ярославцева, Исмогиловых — отца и сына, молотобойца молодого Касаткина, Зенкова, пекаря Коробкова, Хомутого, Белоглазова, Дылдина, Новоселова, Старцева Александра, Крюкова слесаря, старателя Полозникова, Покрышкина, Рогачева, Мансурова, Сергеева Ванюшку и Колодкина. Видя такие расправы, народ приисковый озлобился и поднялся уходить. Тронулись целые горные села с детьми и скотом. Вся Сосновка встала, несмотря на зиму и лютый снег. Однако везти огромные обозы было нечем, содействия им дали всего пять лошадей, — кытлымцы сами запрягали. Семьи вернулись, мужики пошли. Тогда-то Дитковский и организовал свой отряд особого назначения. Правда, ребята у него были — рылокрылы. На все войско десять винтовок, остальные — без оружия, с одним лбом. Спустились в долину, но оказалось поздно, — пересекли их Соликамским трактом. Выход из котла закрылся. Пришлось зимой прямым сообщением идти по двухаршинному снегу. В связи с плохой дорогой отряд наполовину рассыпался. На Косьве, после встречи с первой дутовской разведкой, бросили обоз. Отряд разделился, конница и пехота по одной линии, а семнадцать человек с Дитковским — по другой. Рассказывает об этом товарищ Ермаков, рослый человек с круглой крепкой головой, обсыпанной белокурой стружкой: «Время вышло, где нам опять встретиться? Сажень за сто, однако, слышим — свищут пули. Продолжаем идти дальше, не замедляясь. Спутников никаких не попадается, и нас никто не достает. Снег. Лес. Съели лошадь. Снег оглубел. Поставили мы на месте коней, которые дальше идти не могут. Остались при них старички. Сказал Дитковский Саканцеву: «Ты будешь начальник над этими лошадьми. Мы выберемся и за то-

бой прибудем». Вместо лошадки мы несколько обрубим. Лыжи натесали, сырые, но употребить можно. Пошло нас дальше тринадцать человек. Сам не знаю как, но идем. На шестые сутки слышу выстрелы. Все были в таком состоянии, что не понимают. А Дитковский: «Как хочишь, пулеметы трещат!» Ну, ладно. На это направление держимся. Еще сутки целые идем. Утром опять: слышим отлично. Идем, идем и на дорогу Молчановскую пересекаем. Тут уже лыжи к черту, а Дитковский опять нам дает направление: кто знает, дескать, кто здесь!

Вдруг стрельба на нас. Ребята от жалости плачут, а берут свои лыжи тяжелые. Однако слышим скрип. Идет обоз. Куда? В Косьву. Кому? Армии. Какой? Красной. Тогда он дал две буханки хлеба на тринадцать человек, но больше воспрепятствовал. Сажень не доходя, где их начальник был, Силин, разводящий, сообщает: «Так и так. Идет какой-то отряд». Встретили нас как следует. Пулеметы рассыпали, цепь. Видим, баба печку затопила — шаньки пекти. Пока Дитковский документ доказывал, пали на снег, огонька хорошего сделать не смеем, наклонились, на дыму греемся, черные все и страшные. Выходит начдив и кричит: «Тех-то давай». Подняли беспамятных. Врач им бульону вливал. Живое мясо, а не солдаты!»

Через год республика во второй и последний раз заняла Кытлымский прииск.

II

Процесс добывания платины безобразен, нелеп и возмутителен. Подумайте, тайгой, непроходимыми болотами и перевалами, в трущобы волокут великолепные машины. Водворяют их в горном котле, где десятки верст болотной грязи замешаны миллионами пудов камня. Посредине роют яму с грязной желтой водой, на которую спускается плавучая платформа. На этом плоту двухэтажная землечерпалка, приводимая в движение электричеством, со скрежетом и визгом пережевывает от 90 до 140 кубических сажен камня, грязи, моха, песка и воды, чтобы в конце концов оставить на влажном войлоке шлюзового отделения едва заметную горсточку металла. Драги скребут и глотают день и ночь, пожирают горы земли, обломки камня, деревья и рощи; вся долина пре-

вращается в кладбище ради нескольких крупниц, которые человечество почему-то решило считать драгоценными. Если на минуту забыть об этой относительной ценности, — создается картина сумасшедшей расточительности.

В стране, где производство страдает без электрификации, почти три тысячи киловатт брошены в болото, в яму, полную глины и помоев, зимою необитаемую, летом покрытую облаками и тучами комаров, вредную, холодную, обложенную вечными снегами. Целый материк пахотной земли ковыряется домодельными плугами, а пять гигантов, плавая в мутных ямах, как слабоумный в собственных испражнениях, перекапывают трясину с упрямством маниака, пожирая свои собственные берега и заваливая их за собой ровными грядами обглоданных, переваренных и изверженных наружу камней. При этом драги играют в какую-то странную игру. Окруженные с четырех сторон толщами болот, на сотни и тысячи верст обложенные землей, они на своих унылых лужах изображают мореплавание. Кричат голосами настоящих кораблей, бросают и выбирают якоря со своей палубы, которая мечется от берега к берегу, смотрят на сушу высокомерным капитанским мостиком. Серые широкоскульные черпаки непрерывно спускаются к воде, подняв на голову железный мокрый подол. У самой воды они приседают и, перекувыркнувшись, ныряют с небольшим плеском. Неутомимые, упрямые стальные жабы, выплывающие на поверхность с полным ртом, набитым грязью и камнями. Собственно, вся драга состоит именно из этих черпаков и огромной металлической кишки, которую они набивают землей. Потоки воды с яростью хлещут навстречу каждому новому ковшу. Они обливают цилиндр, который медленно подставляет под душ свои дырявые бока. Песок, как сквозь сито, просеивается сквозь них на особые лотки и под водой оседает на войлочных тюфяках. Пищевод драги, не торопясь, подталкивает камни к выходу, пока резиновый ремень не выносит их к берегу, длинный и узкий, как хвост, из-под которого сыплются съеденные драгой обломки гранита. Это тот же старинный золотоискательный станок, но только в гигантских размерах. Горы земли перевариваются в брюхе драги, целая река выполаскивает из них несколько фунтов платины.

Отделение, в котором производится окончательная

промывка, называется шлюзовым и от остальных работ ограждено решетками. Дверь на замке и под печатью. В конце каждой смены ее снимают. Контролер-коммунист садится на перекладину, над самым промывочным столом, свесив вниз непромокаемые ноги и руку положив на револьвер. Второй — у двери. Почти безлюдная драга наполняется рабочими. Артель, зашитая в брезент и кожу, как водолазы, входит в эту львиную клетку, в которую заперты всего-навсего невидимые, потерянные в грязи, платиновые зерна. Из мокрой водяной постели поднимают засоренные тюфяки и окунают их лицом вниз, в главный бак. Вода бьет фонтанами и плюется пеной, пока крадут и перебирают ее жесткие одеяла, пока выбивают из них семена, оставленные рекой. Краны заперты, поперек желобов опущены заграждения. Водворилась бы тишина, если бы драга не продолжала работать с шумом землетрясения, если бы черпаки не ползли снизу вверх и сверху вниз, визжа и чавкая, как железные свиньи.

Лихорадка искателей бьет все отделение. Артель, сама не замечая, пьяна близостью воды, прикоснувшейся к золоту. Пьяна видом столов, с которых катится вода, унося легкие камни и оставляя тяжелую, непомерно тяжелую грязь. Пьяна вдребезги, скрытно, без вина, — угорела артель, как угорел весь Кытлым. Ведь все здесь запойно и неизлечимо трясутся старательской трясучкой. Коммунисты от нее обкладываются книгами, читают Ленина поздно ночью, после долгого рабочего дня, когда электрические аллеи Кытлыма блещут в трущобной уральской ночи; коммунисты глотают Ленина, как хину от лихорадки. Все больны. Крестьянин, пришедший на Кытлым ради высокой зарплаты, чтобы подработать на лошадь, на новую баню и плуг, и на другой год возвратившийся на прииски, сам не зная почему, притянутый платиновой похотью. И он пьян, и рабочий-коммунист, который был в государственном университете, блестяще учился, но, не имея средств для того, чтобы содержать свою семью, упал назад, в казарму, безнадежно, — и он тронут и навсегда помечен платиной. И странный рабочий — не рабочий: или разжалованный за грехи чекист, или сосланный уголовник, ожесточенно заливающий горло горячим кирпичным чаем, желтым, как моча, и ковыряющий советскую власть с выдержанною злостью вычищенного, — и он принадлежит Кытлыму. И сотни ра-

бочих, спящих на вонючих и клопных нарах своих казарм оглушенным сном, поставив промокшие слюнявые сапоги на общую плиту, вытянувшись на своих досках, накрыв голову полушубком и выставив голые ноги, замороженные дражной водой, — и они все дышат платиной, из-за платины, ради платины. Кто же свободен от нее? Кроме небольшой кучки рабочих-коммунаров, которые спасаются, следя за великими мировыми событиями сквозь мутное и кривое стеклышко еженедельных докладов; кроме этих людей, которые со своих болот, со своих драг, за десять верст бегут на собрание ячейки, чтобы прочесть отчет областной конференции, этот единственный, для верности приделанный к столу экземпляр, кроме этих немногих людей, которых партия отвоевала у платины, — кто же еще свободен?

Может быть, только Гурьян Мальцев, старейший игрок и авантюрист Кытлыма. В шлюзовом отделении только он сохраняет спокойствие. Его нельзя не узнать: оттопыренные ночные уши и на влажном столе светлые, чувствительные руки игрока, осторожно и страстно перебирающие песок. Он один видит невидимую платину в куче грязи. Скребок его играет с необычайной смелостью. Вычесав последние камушки и бросив их течению, он вдруг весь остаток, все, что уцелело от бесконечной промывки, равнодушно размазывает по столу, дает слиться и унести в воде. Потом щеткой, простой кухонной щеткой, чистит края своего латка, и осторожно, как белые кошки, его руки гонят серебряную мышь назад, под гладкий, мягкий, скользящий поток воды. Все еще платины не видно, а он с ней поступает все бережнее, играет с ней в воде, как с любовницей, щекочет ее, как ребенка, гонит и ловит, как дичь. Можно часами смотреть, — и вся артель смотрит как очарованная, — за этими удивительными пальцами, у которых изощренное осязание, как у десяти белых слепцов, бегающих без поводыря, как у десяти белоснежных гончих, идущих по следу серебряного оленя. Наконец он держит ее, платину, и треплет ее, рассыпает, как распущенные волосы. В воде собирается синевато-белая горка с тусклыми искрами. Она лежит спокойно, и никакое течение ее не унесет; тяжелая как железо, еще тяжелее. Люди дрожат, когда контролер ее подбирает совком и сушит на огне и встряхивает, как лабазник муку.

Гурьяну же совершенно безразлично. У него беско-

рыстное лицо игрока без счастья, игрока, переставшего играть. Всю жизнь Мальцев искал платину и много ее находил. Мелочь он не трогал, за большую добычу схватывался с казной и оставлял у нее на зубах половину, а другую терял на следующей неудачной ставке. Мальцев бежал от огня и убегал. А это ведь совсем не легко.

Тайга горит вокруг Кытлыма ежегодно, — никто не знает отчего. Пожар бежит и возвращается. Обьест сотню верст и без совести вдруг вернется, чтобы обрушить мачтовую сосну, чтобы сломить зеленые пальчики елки, клятвоенно поднятые, хотя ноги ее в огне. Пожар — у него свои прихоти, как у зверя. Сегодня не тронет, а завтра задерет. Растянувшись на обгорелой земле, заложив руки под голову, он спокойно докуривает какой-нибудь ствол, искривленный, как трубку, и смотрит за своими детьми, за огненными белками, прыгающими по соседним верхушкам. Пропустит мимо пешехода и всадника на испуганной лошади, пропустит, — и дым его саженного чубука мирно плывет над спаленной тайгой. Но нельзя верить огню. Он — смерть. От ничего озляется и вдруг высовывает красное, чудовищно злое лицо из ствола упавшей березы, из белого ствола, в котором копался целый день, пережидая дождика. Как матрос, бросается вверх по стволу, перебирая красными руками, чтобы поднять на верхушке и размотать по ветру свой длинный дымный флаг. Вокруг — побоище. Тысячи деревьев с обгорелым корнем, с ободраным стволом, охнув, падают поперек таежных тропинок. Есть леса, как едва зажившая рана, подернутая тонкой зеленой кожей. Вместо старых сосен растет молодой лиственный лес. От времени до времени мертвые деревья издают скрипучий стон, — им падать. В память пережитого пожара лес разбрасывает маленьких черно-белых бабочек, черно-белых, как особые марки, изданные в память несчастья. У них крылья белее бересты и чернее угля. Такими ожившими лесами огонь овладевает с особенной радостью. Он возвращается, как орда завоевателей в только что взятый, сожженный и покинутый город, чтобы переловить спасшихся, чтобы схватить беглецов, неосторожно вернувшихся на развалины. Он отыскивает свои старые стоянки, свои дозорные костры, поросшие розовым шиповником, места побоищ, где еще не успели сгнить гигантские остовы деревьев. Куропатка не уйдет, заяц не выскочит, лошадь не вынесет.

Гурьян видел пожары и уходил от пожаров. Ходил по платиновому следу, — и за ним ходили. Но в 1917 году, в революцию, его охватила великая тоска перемен. Старатель перестал быть старателем и пошел искать где лучше. Воевал, попал в Сибирь, ничего не нашел, оглох, вернулся. Может быть, старый охотник искал обновления жизни как случайности, как новой богатой россыпи. Копнул в одном месте человеческую породу, нарвался на грязь, на камень, на воду — и не стал искать дальше. Во всяком случае, к старательству Гурьян не вернулся. Революция оскопила платиновую лихорадку. Старик пришел и стал на советскую драгу. Его лицо игрока с совершенным спокойствием наклоняется над пенистой, влажной, взрытой постелью платины. Он берет ее бесшестипальными руками, обнажает и моет, как новорожденную.

Около шестисот рабочих живет в Кытлыме, в его казармах, таких грязных, гнилых и тесных, что о них не хочется писать. 600 человек, отрезанных от мира, на иждивении дрянного кооператива, где нет ни крупчатки, ни изюма, но зато дамская пудра и краска для волос. 600 человек в горах, в болоте, на оглушительных драгах. 600 человек всегда мокрых и часто больных, ибо климат Кытлыма жесток и изменчив. Как же они?

Казармы тяжело ропщут, и нечего греха таить, — еще мало ропщут, потому что совершенно правы. Нельзя, невозможно держать рабочих в старых, от компании унаследованных бараках. Это значит сэкономить гроши и проделать такую контрреволюционную агитацию, какая не снилась никаким белогвардейцам. В двух шагах от казармы живет платиновый вор, старатель, заведомо накрававший несколько фунтов, — живет чисто и светло. в каменном доме, ежедневно выпивает с семейством двух толстых коров, гонит бражку и тянет двухрядную гармонь. А рядом коммунист, партизан Дитковского, умиравший с голоду, сидя на золоте, в 1920, 1921, 1922 годах, получивший суставной ревматизм или туберкулез на драге, мирно гниет в немыслимой казарме и не может себе наробить на избу. Леса горят кругом, на сотни верст, на миллионы рублей, не справляясь ни с какими разверстками Главлеса, а рабочий не может добиться бесплатного или очень дешевого теса на постройку.

Действительно, нелепость какая-то. Сидят люди в тайге, где деревья тысячами мрут от старости, где их ру-

бить некому, некому с земли подбирать (так называемая очистка лесов, к которой мы пока только стремимся как к идеалу, состоит в том, что упавшее дерево очищается от ветвей для того, чтобы оно вплотную прилегало к земле и таким образом могло скорее сгнить), а рабочий забит в клопиную щель, потому что мы вдруг решили спасти подорванное революцией лесное хозяйство. А что будет, если где-нибудь рядом с Кытлым появится хотя бы уркартовская концессия, даст рабочим сапоги, в двадцать четыре часа нарубит светлого строевого леса, поставит глазастые солнечные дома, привезет прозодежду и консервы?... Люди сбегут или нальются ядом зависти... Один старый кытлымский рабочий, тоже из партизанских сотен, говорил мне об этом с потрясающей серьезностью, как о надвигающейся контрреволюционной опасности. Ведь мелочь: по Уралу бегают так называемые горнозаводские железные дорожки, игрушечные штуки, расхлябанные, медленные, которым ничего не стоит сойти с рельсов из-за коровьей плюшки, из-за семечковой скорлупы. Валяются они под откос ежеминутно. Нету ни одного порядочного уральца без шишки или шрама на лбу. Но не в этом суть, а в том, что эти знаменитые дороги ежегодно стоят республике несколько миллионов рублей золотом. Есть такой декрет, кем-то и где-то изданный: на трубы локомотивов непременно надевать особые намордники от летящих искр. Никто их не имеет, никогда не одевает и купить не может из-за отсутствия «таковых сумм». Бюрократическое кольцо замыкается с чувством глубокого удовлетворения, и старые керосинки продолжают свою колоссальную кампанию поджогов. А рабочий за бревно платит 18 рублей, получая в месяц, скажем, 11 рублей 50 копеек (ученик), он может радостно трудиться, откладывая в месяц минус 6 рублей 50 копеек.

У нас всегда работают скачками, с судорожным напряжением в какую-нибудь одну сторону. Добились изумительных результатов на производстве. Не только своими силами наладили старые, но пустили две новые драги. Силовую станцию с 1400 киловатт усилили до 2900 и при более коротком рабочем дне сохранили максимальную производительность, установленную компанией в 1913—1914 годах. Что еще важнее, из прииска Кытлым стал производством. Платина загнана в кровь. Вместо хищнической авантюры движущей силой стало

ясное, трезвое и интенсивное хозяйство. Добыча потеряла острый шальной привкус. Она ведется в атмосфере спокойного обладания и чистыми руками. Они не крадут, — вот и все. 60 человек спокойно бедствуют, сидя на этой ничьей— советской,— всем и никому не принадлежащей платине. Ее плоть убита, ее грешный, с ума сводящий запах, ее до крови лакомая белизна все-таки умерщвлены 5 лет тому назад, когда кытлымские рабочие, еще не разбираясь в программах, голосовали по шестому номеру. Уже тогда, мучимые тайною мыслью о национализации, они не дали правлению отвести Дитковского.

— Промолвка тогда пошла: быть голосованию о большевиках. Видим, дело идет к шуму, к завязке дело идет. Акционеры ему нажим дали, стали выгонять. Заступился народ, провели его председателем совета. Сделали подписку рук, он нам нужен был — драги взять в свои руки. Вся подпись пошла за него.

Здоров Кытлым с этих пор, — за этим смотрит Шляхтин, секретарь ячейки, партизан Соловьев, начальник милиции, бывший матрос-каторжанин, человек исключительной стойкости и чистоты, товарищ Гаврилов, пом. директора; но все, что касается быта рабочих, в полном пренебрежении. Рядом уживаются самая строгая дисциплина, чувство ответственности и фантастическое неряшество, все границы переходящее пренебрежение к тому, что при самых малых затратах люди могут и должны получить новый быт. Не в упрек Кытлыму будь сказано,— он несколько не хуже в этом отношении такой промышленной столицы Урала, как великолепный Надеждинский завод...

Старателей вокруг Кытлыма сидит и работает до 200 человек. Это наш приисковый нэп.

Во-первых, нет денег на новые драги, хотя даже дорога, соединяющая Кытлым с силовой станцией, проложена по сплошной платине. Это целый материк, целая медвежья Америка, погруженная в болото. При свете бессонной уральской ночи ее леса и воды, камни, травы и трясины стоят в немеркнущем белесоватом сиянии, светятся платиной, серебрятся белесым снежным блеском неизмеримых богатств, погруженных в жидкую землю, у нас пока нет денег, чтобы за каждый рубль, брошенный в это болото, взять сотню или тысячу. Нет

свободных трехсот тысяч, чтобы дать в долг этой земле под чудовищные ростовщицьи проценты, под поручительство четырех горных рек, четырех гор чистого дунита и всего Кытлымского котла, полного платины. На мелкие прииски, расположенные высоко в горах, вообще не стоит тащить драги. Месторождения поверхностны и не окупают, может быть, механизации добычи. Всюду, где мы сейчас не можем или не хотим ставить драги, работы производятся артелями старателей.

Болота распространились на вершины самых высоких кряжей. Болота на Косьве, на Конжаке и на Сосновке. Старые горы страдают размягчением черепа. У них жирное, мокрое темя, замешанное камнями. Лошади карабкаются, как собаки, с камня на камень, низко опустив голову и вынюхивая, за что бы зацепиться копытом. Только в конце июня, когда уже коростель тархтит и тянет в лесах и рябчики садятся парить яйца, тайга начинает пропускать пешеходов. Тогда товарищ Соловьев вскидывает за спину винтовку, берет серебряный свисточек для приманивания дичи и начинает объезжать старательские гнезда. Идущие с прииска девки, которые про все знают и молчат, встретив его на болотине, узнают и кланяются с веселыми глазами. Старый контролер на Косьве, бывший приказчик Абамелек-Лазаревых, тонкий, ни разу не пойманный вор, с елейным святым лицом, угощает его ухой. Но лошади у старичка нет. «Мы проедем прямо на прииск,— говорит Соловьев и дает своей сибирке нагайкой,— а вы идите пешком, здесь ведь не больше трех верст». И хотя лошади идут легкой рысью и ровным шагом, старичок поспевает на «американку» минут через пять после нас. На его шафрановом лбу едва проступает несколько капелек лампадного масла, иконописные уста усмеваются, и артельный старшина бархоткой своих цыганских глаз слизывает с них пыльцу молчаливого уговора.

Соловьев привязывает лошадь легким узлом, чтобы всегда допрыгнуть, трогает револьвер и идет смотреть стан.

Медленно работает эта артель и с животным упорством. Ленива на розыски. Платину тащит, как медведь малину: лишь бы найти богатое месторождение, сесть на нем и огребать, не двигаясь с места. Старший велит вести разведку, рыть новые шурфы, мыть пробы, но старатели, все молодые крестьянские парни, едва слу-

шаются, копейки не хотят поставить на неизвестность, истощенное поле будут рыть с бычачьим упорством, только бы не менять старое на новое. В этой охоте за невидимой добычей, где все в инстинкте, в чутье, в отгадке, они, упираясь, плетутся за своим старшиной, ценя его тайные знания и смертельно ненавидя за воровскую подвижность, за беспокойство, за непоседливость. Так коренной мужик ненавидит кочевника.

Сегодняшняя добыча выше среднего и почти вдвое больше указанной во вчерашних ведомостях. Но доводчик лжет со спокойной наглостью: участок-де слаб, с десяти кубов всего столько-то золотников платины. С десяти кубов или с пяти? Соловьев не повышает голоса, но парни, в послеобеденной истоме разбросавшие ноги вокруг костра и наблюдавшие за весами контролера с деревянной пристальностью, вдруг садятся и переводят на него жадные глаза.

— А кстати, — говорит Соловьев, — у нас будет новый контролер, коммунист.

По ту сторону жаркой реки кустами пробирается красноармейская шинель с портфелем и револьвером. Из-под вспотевшей фуражки видно загорелое лицо с квадратным подбородком. Артель не шелохнется, — вся шайка, живущая по-звериному, без потребностей, без каких бы то ни было интересов, кроме тех, которые умещаются на роговой скорлупе карманных весов, едва переваливается на бок, чтобы оценить, сколько стоит олицетворяемая им опасность.

С чужими артели трудно. Старые опытные мужики зарываются в землю всей семьей, с сыновьями, с женами сыновей, впряженными в тяжелые старательские тачки. Их рабочий день кончается с наступлением ночи. Двужильный труд упорен, мелочен и терпелив; не прерывается ни говором, ни песней, ни отдыхом. Бабы с замкнутыми алчными лицами рвут землю, как сухие сосцы больной коровы. Мужики с остервенением рубят породу; они ненавидят эту продажную землю, которая отдается всякому и подолгу остается бесплодной.

Совсем старые старатели-одиночки похожи на алхимиков. Высушенные солнцем, ставшие легкими, как оброненное птицей перо, от вечных перемен счастья, они сидят на краю шурфов, свесив ноги к воде, со скептической миной, и понукают к тяжелой работе неопытных учеников: «Ниже копай, Митюха, ниже, под водой бе-

ри!» И Митюха, обливаясь потом, подгоняемый своей молодой жадностью, вынимает куб за кубом, моет сито за ситом и, не найдя ничего, набрасывается на болото с новой яростью. А старичок курит и усмехается суете сует. Даже великое счастье не даст ему ничего: ведь они с жизнью давно перестали играть всерьез. Она нигде не записывает его жалких долгов, но и своих проигрышей не платит.

Никого бог не обманывает так, как верующего. Чаше всего это не русский, а вотяк. Он бежит за платиной с бесконечной преданностью, терпеливо снося ее пинки и измены. Десятками лет терпит неудачи, уверенный, что когда-нибудь судьба сжалятся и сразу исправит все причиненное зло. В конце концов старый старатель с радостью принимает и любовно копит все новые и новые поражения; каждое из них увеличивает головокружительную сумму, которую счастье забрало у него в долг. Каждая потерянная надежда дает право на выигрыш. Каждая обида приближает дни чудес. Так проходят десятки лет униженного, ничем не вознагражденного трудолюбия. Старатель вполне одинок — и все еще отгоняет от себя непрошенных компаньонов. К чему чужие люди? Он не хочет дарить им ни одной доли из того клада несчастий, который когда-то превратился в самородок неслыханной величины. Но болото по-прежнему — болото. Вода день ото дня холодней, и глаза, запущие на искусанном комарами лице, тщетно ищут в грязи серебряного урожая. Наконец в жаркий день, когда топь дымится и преет, и, покрытая зеленью, положит горло влюбленным птичьим криком, вотяк стоит перед иконописным контролером на толстых, раздутых ревматизмом ногах, просит места в больницу и плачет.

Он уверен, что на дне последней ямы, которую он сегодня принужден оставить, теряет свое нареченное счастье. Судьба останется там, в дыре, где плавают свалившиеся в нее лягушки, широко разбросав по воде весла задних лапок, и лопаются ленивые болотные пузыри.

Пичугин, знаменитый сосновский старатель, похож на конокрада. У него цыганские, неизреченной хитрости глаза и борода цыганская. Когда он облизывает кусок папиросной бумаги, чтобы скрутить папиросу, то похож на большую черную бутылку с приклеенным к губе бе-

лым рецептом. На допросе держится с мудрой осторожностью. Как умный зверь, едва обнюхав вопросы, он отступает от капкана, неизменно ступая в свои собственные следы. И, отойдя на безопасное расстояние, смотрит оттуда с ласковым виляньем в глазах и с настороженными волчьими ушами.

Едва за товарищем Соловьевым закрылась дверь, он оборачивается ко мне с бесшумным смехом старой охотничьей собаки, с улыбкой, у которой добродушие висит вдоль белоснежных клыков двумя слюнявыми обвислыми губами.

— А знаете, сколько у меня на самом деле платины? Двадцать фунтов. Найдет Соловьев — его, а не обнаружит, — пусть не пеняет.

Обычно старатель, как только разбогатеет, сейчас же ставит себе каменный дом с зеленой крышей. Пичугин удержался в старой избе, семья его неизменно хлебает пустые щи, и с женихом дочери он на всю округу ведет жесточайший торг из-за приданого.

— Как же вы живете в этой грязи, Пичугин? Неужели не хочется на волю?

— Зато сынам и внукам хватит.

Он с любовью подумал о семействе, которое из поколения в поколение будет жить в скупом мужицком достатке, с этой платиной, спрятанной под полом, как придушенный младенец, с куском кислого хлеба, обеспеченным на сто лет, с правом для трех поколений пройти жизнь с медленностью и спокойствием сытого клопа, ползущего по стене.

— А знаете, товарищ Соловьев, ведь у Пичугина двадцать фунтов. Он сам мне только что признался.

Цыган снял шапку, отыскал портрет Ленина, повешенный в углу вместо икон, повел глазами, полными веселья, чувства безопасности и насмешки, и, прекрестившись:

— Что ты, матушка, выдумываешь? Вот те Христос, никогда я ничего не сказывал. Разве кто-нибудь может доказать?

УГОЛЬ ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ

(Кизелстрой)

Зеленые леса открылись посредине, как книга. И чтобы она не захлопнулась, между двух листов положена синяя закладка — ясная, веселая уральская речка Косьва. Горные плечи ее берегов, — все, что кругом дымитесь синим дымом пространства, — уголь и руда, руда и уголь. Этот естественный склад пока еще мало исследован, — промышленность слаба и не пожирает половины того, что ей уже теперь могли бы дать мощные Егоршинские копи, колодцы Кизела, Губахи и Челябинска. О расширении пока думать не приходится.

Через 20 лет Медвежьи горы Кизела станут великой промышленной столицей: сейчас это — тайга, где вместо угля собирают малину и вместо руды рубят стройную строевую сосну. Пока во всем районе работают только Кизеловские копи. Правда, это огромное предприятие, имеющее в своем центре три колодца, сильную шахту в Половинке и три — в Губахе, верстах в 20 от Кизела. Такими расстояниями считаться нельзя, подземные работы здесь измеряются десятками верст, годовая добыча — миллионами пудов. Кизелкопи — целое подземное царство со своей столицей — «Лениным»¹, опускающимся на 200-саженную глубину широкими и пологими ходами; со вторым колодцем, где пласты ложатся капризным и тонким слоем, с низким потолком, с шахтами, в которых работают, не разгибая спины, упав на колени,

¹ Название колодца. (Примеч. ред.)

с опущенной головой, нанося углю коварные удары снизу вверх. У Кизела есть свои центры и окраины — отдаленная Половинка, свои подземные шоссе, по которым носятся электровозы с типичным трамвайным звонком; проселочные дороги, свои тропинки, затерянные в черной подземной тайге, где в вечной ночи бредет близорукая лошадь. Есть площади, окруженные 2½-саженной стеной богатейшего топлива, блестящего, как кираса, правильного, как гранит набережных, охвативших берега угольного озера. У Кизела свое время, своя вечность, непохожая на денную. Там нет солнца, нет дня, нет ночи. Есть только труд, всегда черный, всегда ночной, разломанный на 3 равных восьмичасовых куска, из которых каждый весит сотни пудов. Наверху, где зеленое и белое, свет и лето, начало дня отмечено падением росы. Роса подземная не высыхает никогда. Земля непрестанно потеет; штольни увлажняются все больше и больше, по мере того как опускаются. Перила становятся ледяными и влажными, как порочные руки; к молчанию земли присоединяется сперва равнодушное и звонкое падение капель, потом легкий лепет, потом громкая болтовня расходившихся ручьев и, наконец, холодное и угрожающее шуршанье вод, непрерывно льющихся в глубину. У Кизела подземного — свое время, свои росы, свои воды и, наконец, свой огонь. Под землей пламя и вода живут дружно, они помогают друг другу против людей. В самых мокрых забоях огонь спокойных горняцких лампочек вдруг начинает дрожать, тревожно пригибая к решетке свой желтый язычок: его тревожит едкое выделение подземной гари. Назойливое тепло поливает людей двойной влагой: водой и потом.

И воздух у копей тоже особенный, ни на что не похожий. Как бы ни заблудился шахтер, если он станет и прислушается в темноте, то среди плеска, шороха и молчанья различит едва слышное шипение воздуха, вытекающего из воздуходувной трубы невидимыми дырочками. Потух фонарь, — все равно, протянутая рука в темноте найдет и нащупает эту глотку, эту длинную, вытянутую чугунную шею, по которой воздух вдувается в подземелье. Она вездесуща: в «ходовой» штольне, рядом с бешено заломленными перилами, поднимающимися к свету из пропастей, в болоте мокрых забоев, в тупиках, где вода и молчание, в жару штреков, сжигаемых невидимым жаром; везде, где человек заносит кай-

ло или вонзает в уголь гарпун скрежещущего механического лома; везде, где он в изнеможении подымает фонарь, чтобы сосчитать над своей головой непройденные ступени; везде, где труд железными когтями машин выдирает уголь из пустой породы; везде, где он отдыхает, облитый потом, с грудью, вздыбленной разрывающим ее дыханием, готовой треснуть от прилива крови на скрипящей клетке ребер, ставших горбом, — везде рядом с горнорабочим идет в бой против черных сверкающих стен этот его неизменный союзник — животно-рящий воздух.

Машина, нагнетающая живое дыхание под землю, живет высоко, в одном из светлых аристократических этажей, в покойной, чистой комнате. Люди сделали все возможное, чтобы она, драгоценная, не чувствовала своего плена. Дом ее залит светом. Потолок высоко поднят над головой. Уголь покрыт бетоном и не смеет переступить порога этой белой тюрьмы. На целую версту мокрый и тяжелый мрак согрет сухим, здоровым теплом заживо погребенной машины. Земля, тяжело напираящая со всех сторон, сквозь вечный свой сон смутно различает непрестанный, могучий и радостный трепет силы, исходящей из одиночной камеры компрессора. Вечная ночь, шатаясь и жмурия свои залитые сыростью глаза, отступает перед божественным сиянием электричества, брызжущим из дверей этого одинокого жилища.

Но силовые станции Кизела изношены и перегружены. Их энергии едва хватает на то, чтобы проветрить работающие легочные мешки Кизелкопей. Все чаще становятся перебои, остановки, поломки, которые, правда, удается выправить после нескольких часов лихорадочной работы, но все чаще на дне копей забои и штреки плавают в густом, зеленоватом дыму: это — ядовитый газ взрывов, медленно переползающий со ступени на ступень, на четвереньках ползущий вдоль стен, мотая из стороны в сторону низко опущенной дымной гривой. Фонари штейгеров тревожно отступают перед ним. Есть в этом сладковатом, ванильном и горьком запахе что-то насильническое, хватающее жизнь за горло душными и злыми лапами. А на станции опять заминка, — вентиляция не действует, копиями овладевает головокружение. На «Володарских», где работают не подымая головы, где люди, как елки на рождестве, с упертой в потолок, мучительно-согнутой верхушкой, фонари тревожно бе-

гают от забоя к забою. Нет тока! Напрасно углекопы наваливаются грудью на рукоятки радиолаксов. Их оружие слабеет и бессильно выпадает из раны, нанесенной угольной глыбе. Жаркая лень расползается по забоям, раздраженные и задыхающиеся люди курят, лежа на угле. Кровь часто и громко ударяет в висок, как заваленный шахтер, который обстукивает стены, ища и не находя выхода. Бросая работу, старики прикрываются рукой, как будто их ударило по глазам, и ползут сажен на сто выше: напиться и подышать. Молодые, раздраженные недостатком воздуха, сбрасывают рубахи и подставляют голову и грудь сернистой воде, текущей со стен, от которой кожа сперва краснеет и собирается, как слюна от лимона, а потом раздается и дает трещину.

Опять нет тока!

Насосы пресыщенно и неохотно тянут воду, которая шумит и прибывает. Вся гора в припадке астмы.

Первые припадки удушья в Кизелкопях начались еще во время гражданской войны. Может быть, тогда их меньше замечали за голодом и тем равнодушием, которое его сопровождает. Кроме того, работали не так напряженно, как теперь: только бы не погибнуть самим и не дать погибнуть копям. Но теперь, когда вся шахта от каталья и до директора участвует в борьбе за увеличение производительности труда; когда на угольном рынке вдруг появился кузбассовский кокс, пробежавший тысячи верст по железным дорогам и ухитрившийся сохранить свою дешевизну, когда копь в две недели принуждена была скинуть чуть не три копейки с пуда, чтобы устоять, — теперь всякая остановка в работе — катастрофа. Время стало ценным, и ценность эта непрерывно растет. И вдруг копь, охваченная тошнотой, принуждена бросить лопату и ползти к выходу, чтобы не потерять сознания.

Воздуха, воздуха, воздуха.

Наконец на днях Половинка едва не стала совсем. Инженеры с часами в руках держали пульс больных машин, высчитывая час их остановки. Висели на телефонах, нарочные загоняли лошадей, электрики круглые сутки не выходили из копей, занятые срочным ремонтом.

Маленькая станция еще продолжала хлопотать, но все неравномернее, все слабее. В минуту крайней опасности, когда вода и удушье начали заливать нижние забои, по дряблым старушечьим проводам Половинки

хлынула мощная омолаживающая волна электричества. Откуда?

Два года тому назад, в самое голодное и тифозное время, верстах в 20 от Кизела, на той же необъезженной горячей речке Косье, которая очертя голову бежит с гор, была заложена мощная районная электростанция. Прежде всего она должна была прийти на помощь одряхлевшим машинам копей, но задумали ее и выстроили не ради тех 600 киловатт, которыми она уже сейчас прикармливает Половинку и Губаху, и даже не ради тех 6000 киловатт, которые у нее возьмет весь трест в целом.

Строя этот силовой колодец в Медвежьих кизеловских горах, республика обеспечила себе дешевую энергию для целого промышленного округа с радиусом в 300 верст. Возникновение Кизелстроя, или, как гласят ее инициалы, ГРЭС, не только обеспечивает удешевление тех 40 млн. пудов угля, которые товарищ Сажин в этом году надеется извлечь, но рождение ГРЭС предопределяет возникновение в ближайшем будущем нового угольного района, целого ряда копей, рудников и заводов с высокомеханизированным производством и дешевой продукцией.

Со стеклянной крыши ГРЭС видно на много верст вокруг. Слева, на горе, покрытой щетиной лесов, светлеет широкая просека — воздушная дорога, по которой электричество пойдет к Кизелу. Через 5 лет эти леса исчезнут; там, где сейчас, как земляника в траве, краснеет крыша больницы, этой жалкой походной больницы с деревянными койками, на которых за два года померло больше 300 рабочих-строителей, на место этого барака, может быть, станет завод или железнодорожная станция. Справа тянутся стиснутые ряды рабочих бараков, где люди спят, едят и задыхаются в грязи, где семьи валяются впережку с холостыми, не имея, таким образом, ни минуты покоя, где вообще живут так, как живет пролетариат по всему Уралу, если не по всей промышленной России, нищенствуя и печеловеческими усилиями вытаскивая из нищеты советскую промышленность. Что же будет на месте этих казарм — завод, новая шахта или дворец труда? Если в годы этой нищеты русский пролетариат не поскупился заплатить 300 человеческих жизней за великолепную станцию, которая в течение ближайших десятилетий будет ему выкармли-

вать новорожденные заводы, то что же будет, когда он немного отдохнет, отъестся, отстроится и подучится? Можно ошалеть от гордости, бегая вокруг этого великолепного серого здания, уставившегося саженными окнами на лохматую тайгу, изрубленную, отброшенную на тот берег, напуганную громом топоров и машинными голосами.

Станция еще не совсем подчистилась. Вся площадь вокруг нее завалена следами и остатками строительных родов. Изможденные китайцы-рабочие, пошатываясь, сносят мусор на носилках и сжигают его. Из воды еще торчат мокрые головы свай, которых не успело снести половодье: это воспоминание о самой трудной части работы, когда надо было рыть канал длиной в 200 метров на 5-саженной глубине, чтобы ввести реку внутрь станции. Устройство бетонного лотка велось ниже уровня реки, при сильном напоре горных вод, на пайке и жалованье лютого 21—22 года, почти без помощи машин, без спецодежды и без денег, притом в Кизеле с его суровым, переменчивым климатом, в котором до сих пор, несмотря на лучшие условия жизни, 90 процентов детей родится с ясно выраженными признаками туберкулеза. Внутри здание заканчивается. В зольном отделении, несмотря на тихий пепельный дождь у подножья четырех котлов и сильную примесь серы в угле, светло и хорошо дышать. В котельном—радостное столпотворение свежих лесов. От пола, осыпанного бетонной пылью, до стеклянного потолка, до самого верха двухрядной залы стоит белый сосновый лес, облепленный людьми и трепещет под тяжестью машинных частей, доставляемых наверх. Только половина дворца занята четырьмя котлами (Бабкок-Вилькокс, морского типа 17 года, площадь нагрева 350 квадр. метров), другая половина пустует, готовая принять вторую шеренгу котлов. Светло, огромно, как в детской у гигантов: выдержит любое расширение, любой рост. Вагонетки с углем пока еще забегают в самое здание, чтобы опрокинуть в рот печей свои жалкие 5—6 пудов. Печные с неудовольствием убирают мусор, занесенный в светлый машинный дом грязными подолами вагонеток-поденщиц. Скоро они будут изгнаны. Уже достраиваются башня и железный рукав, при помощи которых уголь механически будет поступать в топки. Полки чернорабочих осторожно проносят тяжелые части машин. На мостках, среди де-

рева и сырой извести, пил, молотов и гибких деревянных ребер, поют плотники. Маленькая временная кузница гремит целым водопроводным заводом. Стройный монтер в высоких уральских сапогах осторожно пробирается наверх, где в особых баках выстаивается запас выдерживаемых вод. Только поднявшись на самый верх, чувствуешь всю великолепную, 18-саженную высоту этого здания. Но и тут к торжеству и лихорадке последних работ примешивается полевая горечь деревни, хвойный шум о пашне и хлебе, а не об этом барском доме, в котором будет жить одно электричество. Каменщик потихоньку ропщет, отделявая свой карниз: «Вкруг все здание обошел за эти два года. Из наших тут старик Якимов был, с ним на полустанке фундамент вели под самый цоколь и на бетонах. Простыл, говорю, и помер».

«Я хочу назад в Казанскую, — кто из земли родился, в землю и надо. Если все пролетарцами будут, кто же хлеб сделает?» Так накануне трудовой победы на вершине своей постройки работает и жалуется о земле мужик.

Турбогенераторы. Черные, блестящие, каждый на 8000 вольт, покоятся, как лев и львица. Их помост держат бетонные столбы, опутанные ветвями воздуходушных труб. У каждой машины свое биение и свой голос, но ничто не сравнится с ровным гулом силы и спокойствия, которым турбины наполняют весь дом. Им некогда ждать, пока высохнут полы. Им ничего не нужно, кроме фундамента, способного нести их царственную тяжесть и неприметную вибрацию, способную расшатать скалу. Пусть внизу бетонщики заканчивают мокрый пол; едва переступив порог, едва сбросив тяжелую дорожную одежду, турбины уже начинают работать среди голых стен, у подножья огромного окна, наполненного небом.

Рабочие в этом отделении — не крестьяне на фабрике, а настоящие пролетарии. Бетонщики-штукатуры. Товарищ Шеврин брал Перекоп, а потом рыл канал на Кизелстрое. В армии ему больше не быть. Ревматизм расслабил и раздул его кавалерийские ноги. Товарищ Аняпов бился за Полоцк, потом строил перекрытие в зольнике, наводил полы, крепил фундамент ГРЭС. Теперь эти два солдата в холщовых передниках каменщиков, густо посыпанные минеральной мукой, готовят пол, на который через пару лет обопрут новые 16 000 вольт.

Теперь о святой святых Кизелстрой, о его главном распределительном щите, о щите собственных нужд, о замкнутых камерах, в которых живут «Umformer'ы»; как описать невежественному и самонадеянному журналисту тихие залы, где ни к чему нельзя прикоснуться, где стены покрыты сплетением синих, красных и белых жил, проводниками движения, силы и света. Нужно быть техником, и техником высококвалифицированным, чтобы оценить стол измерительных приборов, понять дрожание стрелок с их одинаковым отклонением, выразительный язык циферблатов, окружающих розовый мрамор щита толпой белых подсолнечников. Светлые и безлюдные комнаты, небольшие хрупкие машины, от которых веет теплым ветром силы, налагают особый отпечаток на занятых возле них людей. Глядя на молчаливые фигуры у столов, каждые полчаса заносящие в книгу жизни трепет этих непостижимых для профана вольт и амперов, на лица, синеватые от напряженного сияния, сутулые плечи и тонкие руки математиков, пожалуй, не скажешь, что и они — старые солдаты революции, по четыре года таскавшие винтовку. Вот товарищ Олехов, дежурный по щиту, коммунист 18-го года, солдат 5-й армии, прошедший с ней от Глазова до Байкала.

Вот Пшенников, заведующий управлением всех приборов, дравшийся в Уфе, и много еще других, два года по щепке, по волоску собиравших эту станцию, занявших наконец каждый свое место в бесшумных залах, где благоговейная тишина как бы разрезана этими 6000 вольт, которые ее пересекают стволами проводов, тщательно завернутыми в шелк.

Товарищ, стоявший во главе Кизелстроя, так же как люди, занятые у щитов, соединяет в себе редко соединимые вещи: коммунизм и опыт блестящего инженера. Это товарищ Тишевский, старый член ЦК и один из лучших польских электротехников.

Среди груд мусора, сжигаемого теперь возле станции, есть небольшой деревянный дом, который часто по мере надобности перетаскивали с места на место. Это завком Кизелстроя. Товарищи не только работали в этой переносной скорлупе, но многие из них там же жили, чтобы в любой момент быть возле постройки. К сожалению, недостаток места не позволяет мне остановиться подробнее на работе каждого из них, работе ис-

ключительно трудной (начатый в 1922 году Кизел достроен в 2 года не только хорошо, но и безукоризненно быстро). Вот один из этих людей, ухлопавших на ГРЭС все свои силы, вышедший инвалидом из двухлетней трудовой войны. Это товарищ Польшгалов (член или предзавкома). Характерно, что товарищ Польшгалов совершенно не замечает, как он измучен и нервен. Его трудовой и партийный стаж: в партии с 17 года, с августа — в Красной гвардии, потом в 30-й дивизии Блюхера. Поход от Богоявленска уже помвоенкомом 263-го полка, в 21-м году Польшгалов — военком отряда по борьбе с бандитизмом, в 22-м году — на Кизелстрое, в 25-м — или отпуск и санаторий на год, или конец.

ПОДЗЕМНИКИ

Есть предел, где рвется последняя нить, связывающая человека с поверхностью земли: теряется врожденное чувство направления.

В забой № 46 надо ползти на животе, цепляясь коленями и руками за столбы, которые шагают куда-то в ничто, упершись деревянным затылком в гору. Где белый кусок света, сомкнувшийся над головой, где выход, где поверхность? Навстречу ползет ручей пыли, щебня и теплой духоты. От времени до времени по деревянному желобу рушатся сбрасываемые сверху большие обломки угля. Головы поднять нельзя,— потолок лежит на плечах, между грудью и скользящим, текучим, осыпающимся угольным ложем едва помещается прицепленный к куртке фонарь. Земля, преследуемая людьми, бежит вверх, вбок и, наконец, поверженная набок, жаркая, черная, уступает кирке углекопа, который входит в ее недра, как коршун в раздутое брюхо павшей лошади.

Михаил Матвееч — заведующий шахтой. (В лице — твердое и пушистое. Он известен своим умением ладить, жить и работать с татарами.) Михаил Матвееч вешает свой фонарь рядом с другими, прицепившимися к балке черным когтем, вниз головой, как светлые летучие мыши. Кто говорит, кто спорит, кто закуривает? Лица нет. Прямо в мрак вделаны глаза, красная влажная губа и узкая, как рассвет, полоса, обозначающая лоб. Это забойщик Василий Михайлович Котельников.

— Два раза руками трубы свертывал,— словом, ко-

роткий и сердитый разговор о том, как не ладится работа.

Прежде артель была занята на широком, удобном Ленинском пласту и еще не успела приспособиться к узкому, скошенному. Выработка ее сразу упала до смешотворной цифры. Было бы легко объяснить неудачу чисто внешними причинами. Кто хоть четверть часа пробыл в этой горячей щели, без всяких объяснений поймет, что достичь нормы или превысить ее здесь бесконечно труднее, если не невозможно. Но пока рабочие чувствуют, что дело не только во внешних причинах, но и в неумении приспособить к новым условиям свое дыхание, удары своего сердца и движения рук; пока «вина» на их стороне, — никто ни слова не скажет. Такова своеобразная горняцкая этика. Завтра человеческое тело справится со своей невыносимой тягостью, играя перешагнет через поденщину, — тогда, и только тогда, забойщики потребуют более справедливого вознаграждения.

Второй углекоп отворачивается от стены. Его лицо наполовину в угле, а наполовину бело, как будто этой стороной оно приросло к горе и только что от нее откололось. В губах папираса, или это уголь тлеет? Ламповый огонек мучается и прыгает под своим колпачком. Его душит запах неясной гари. Курильщики осторожно заплывают пепел папирос.

Внезапно встав, согнутый пополам забойщик подымает топор руками, которые кажутся непомерно длинными, и гневно вонзает его в низкую балку. Фонари просыпаются и беспокойно облизывают потолок копящими язычками.

— Добровольцем на фронте с восемнадцатого года. Прибыл домой в девятнадцатом, был арестован по доносу. Вылетел из партии...

Это старая-старая обида за то, что пришлось грузить картошку вместе с «элементами», за молокососа, который надзирал. Еще долго звучит гневное ворчание рубщика. Издали освещенный забой кажется клеткой, в которой с молотом в руках мечется заживо погребенный.

Конец пласта, забой № 25. Сырость, влага и мрак. Здесь работает изумительный человек, товарищ Деревнин. Он еще молод, лукавые белые зубы блещут сквозь угольную маску. Ему едва минуло 34 года.

• Это — фанатик, доброволец горы. Это — подземник, которому не нужен дневной свет, не нужен ветер, не-

приятны зеленые покровы, одевающие землю тенью, влагой и шелестом. Ни за какой блеск солнца он не променяет глубокого молчанья шахт, этого мрака, который везде неотлучно следует за фонарем рудокопа.

Революция вызвала Деревнина из-под земли. Красные и белые оспаривали друг у друга право поставить этого человека под ружье. Он поочередно дрался то с одной, то с другой стороны; обе оставались ему совершенно чужды, непонятны и ненужны.

В теплушках, на разведке, в лазарете, на уроке политграмоты — то с преподавателем-коммунистом, то с лихим начетчиком из Осваги — забойщик не переставал думать о горе. Хорошо, если бы всю эту суету и мучительство залило тихим мраком подземелья. Ветер земли беспокоен — то ли дело глубокое, сырое дыхание колодезцев. Успокоительная толща стен вместо пустоты открытого пространства, безопасная теснота подземных улочек вместо этих никому не нужных праздных полей с выюгами, пулями и опасностью. Тут зима, худые шинели, жгучие от холода ружья в замороженных руках. Там вечное тепло земли, забой, где в крещенские морозы воздух жарок, как в засуху, где никогда не кончается время урожая, но всегда, изо дня в день молотят и жнут на черных полях, сбросив рубахи и обливаясь потом.

Можно себе представить, как он воевал.

Сам говорит: «Вогжался так себе, шибко не приходилось...»

Несколько раз мобилизованный и вечно состоявший в бегах, товарищ Деревнин, наконец, ухитрился окончательно спрятаться туда, куда людей веками ссылали, как на казнь за тягчайшие преступления: в угольные копи, в Кизел, в свою милую яму.

Там наверху был трус. Здесь Деревнин — страстный солдат подземной армии, настойчивый, неутомимый, выносливый рядовой. Там робкий и близорукий, здесь зоркий охотник, ни разу ни бросавший кайла. Идя впереди штурмовой колонны углекопов, он искренне считает себя укрытым, спасенным, достигшим наконец полной безопасности.

— Здесь видишь, что над головой висит, — и отойдешь, а там разве можно отодвинуться?

Страшно не любит посторонних посетителей. Всегда боится, что это за ним пришли — тащить наверх, к све-

ту. В тени угольной скалы его настороженное лицо вечного дезертира белеет, как кусок тонкой бумаги, вырванный для куренья.

В Володарской копи,— гораздо ниже пологой, гладкой ходовой штольни, по которой так незаметно падаешь на стосаженную глубину; гораздо ниже подземного скита — тихой, сырой динамитной камеры, где отшельник-китаец при свете электрической лампы где-то глубоко под землей плетет из белой бересты влажные, чистые, свежие лапти и от времени до времени боязливо, как лист к солнцу, протягивает к динамиту свою голову в меховой ушастой шапке на длинной сухощавой шее; гораздо ниже влажных деревянных ходов, где такой воздух и такие пухлые клочья пены цветут на потолках, точно по ним только что прошумело наводнение,— еще гораздо, гораздо ниже, в забое № 61, карликовой зале, где ни один человек не может выпрямиться во весь рост, где стены тверже агата, где узкий, упрямый угольный пласт прячется в каменную щель из гранита, где свет меркнет в тумане мельчайшей угольной и водяной пыли,— можно видеть настоящих хозяев Кизела. Они как раз окончили подбойку. Крепкий выступ, подрытый снизу, все еще стоит и не валится. Механические сверла работают с рвущим, но ровно пульсирующим шумом, от которого дрожит свет и лопаются барабанные перепонки. Похоже, что в этом подвале заблудился паровоз, и, упершись в стену, продолжает идти полным ходом, не трогаясь с места.

Товарищ Моторгин стоит перед радиолаксом на коленях, со своей сгорбленной спиной, покрытой стеганой душегрейкой, с мокрыми подошвами черных лаптей, и продолжает шарить в открытой под утесом щели железной рукой машины. Иван Егорыч — человек уже пожилой, лет 50. У него низко упавшие плечи, борода, как бы вымоченная в угле, совершенно черные руки, на которых ногти розовеют, как кончики пальцев в прорванных перчатках. Среди разорванной одежды белеет кусок груди с такой глубокой, бледной впадиной посредине, как будто бы это не грудь, а ступенька, стертая ногами многих поколений, или место, где рабочие выбили ямку своими головами, устало прислоненными к стене.

Этот товарищ стыдливо, с чувством величайшей внутренней неловкости, вспоминает о своем исключении из партии. От времени до времени он прерывает рас-

сказ, пристально наблюдая работу двух каталей, которые убирают и никак не могут убрать всей груды навороченного им угля. Слабый свет блестит на их шуршащих по полу лопатах, на козырьках кожаных фуражек. Иван Егорыч продолжает:

«Партия, мы ведь все стремимся к этому. Но я человек пожилой, придешь домой с горы,—прикладываешься. Я всеобуч проходил, месяц целый старался, да ведь другой раз в праздник сутки целые не работаешь, а харкнешь — и все у тебя сажа идет».

Одним словом, старик не соблюдал партдисциплины, пропускал собрания, не ходил на занятия, может быть, избежал несколько обязательных субботников. Перерегистрация его механически вычесала. Вероятно, ненадолго: за нарушение дисциплины можно и должно выбрасывать молодых,— и то в шахте их небрежность имеет много смягчающих обстоятельств,— но не Иван Егорыч. Людям «сверху»,— коммунистам веселой, светлой земли,— никогда не понять безграничной усталости подземников. Надо видеть смену, когда она подымается наверх по окончании работ; один горняк за другим высовывается из люка, задувая свое бледное пламя. Сами они совершенно похожи на затушенные, померкшие фонари. У каталей, которые сталкивают уголь по желобам, сидя на них верхом, держась руками за деревянные края и ногами, спиной, задом, всем телом толкая вперед упирающийся уголь,— у каталей сзади к одежде пришит еще кусок бараньего меха. Они бегут в этой своей прозодежде через солнечный день, подслеповатые и сонные, как вынутые из-под земли усталые белые звери. Нелегко тут с дисциплиной!

Один из простых и блестящих приемов, при помощи которых была поднята производительность Кизеловских копей, заключается в том, что на помощь вымирающему племени старых забойщиков Сажин сумел двинуть целый слой молодых рабочих сил. Как командный состав Красной Армии в большинстве своем вышел из рядов старых фельдфебелей,— так сотни и тысячи каталей, переведенные в категорию забойщиков, пополнили и усилили их ряды. Где-нибудь в глухом углу копей еще сейчас можно наткнуться на молодого рабочего, который, разгрузив свою вагонетку с необыкновенной быстротой и выиграв таким образом несколько минут, как сумасшедший набрасывается на любую стену, долбит ее

и крошит, пока его усталая лошадь пытается вздремнуть, низко опустив голову к безобразным коленкам. Это каталь, чтобы подучиться и стать забойщиком, пробует на черной кости свои молодые щечные зубы.

Но чем меньше настоящих стариков, тем они ценнее. Это люди, для которых время и история почти не существуют. Земля лежит над их головами, как море, на дне которого нет ни бурь, ни перемен. Даже уменьшение рабочего дня с 12 и 10 до 8 и 6 часов, это великое облегчение, которое коснулось каждого живого существа на дне Кизела, — даже оно безразлично этим патриархам угольного царства. Никакая мера времени не ускорит и не удлинит их труд. Они владеют искусством ритма, который уплотняет или растягивает рабочий день, как резину. В 4 часа они могут вместить 6, в 6 — 8-часовую добычу. Мастера и искусники, у которых работа бежит по солнечному кругу, как хорошо выезженная лошадка в туго натянутых вожжах.

Молодой инженер шага не ступит во время разведки без этих стариков, обоняющих уголь на расстоянии, чувствующих его, как старые люди погоду, по ломоте в пальцах. Ну, куда они денутся без Татарникова, 27 лет подпирающего головой штреки и забои Ленинской копи? Как проживет Кизел без своего старого штейгера, этого высокого старика, которого знает и чтит вся копь. Характернейшая фигура! У него вытянутое темя, проступающее горкой сквозь круглый старомодный картуз, огромный лоб, над самыми бровями прорезанный тремя глубокими рывинами. Далеко наверху, вокруг чутких, прижатых к черепу ушей, редкий лесок желтоватых волос. Пристальные глаза, однако, почти бесцветны, как свечи, зажженные днем. Длинное тонкое тело продето сквозь кожаный пояс, как салфетка через кольцо. Если поднять выпуклую крышку этого черепа, — там, конечно, вся копь, нарисованная теми ломкими, угловатыми знаками, которые делают карты горняков похожими на рисунк, сложенный из спичек.

Насчет революции и партии старики слабы. Очень неосторожно прийти к ним в забой и спросить: товарищи, а кто здесь партийный? Покроют сочным и ветвистым матом. То же самое относительно участия в гражданской войне. Такой Никита Фадеич только усмехнется: мобилизовать его! Разве есть на земле место, где он

нужнее со своими знаниями и опытом, чем именно здесь, в забое?

Из всех велений революции до Татарниковых дошло, пожалуй, только одно, — сделавшее забойщика единственным законным владельцем копей. И как ни старятся старики всякой политики, как ни жмутся, как ни увиливают от прямых вопросов, этот ввод во владение совершился почти помимо их воли. Полноправный хозяин заранее заботится о наследнике, потихоньку готовя его и приучая к хозяйству, — так точно, еще тщательнее, ревнуя глупых молодых к своему старинному тонкому ремеслу, готовят старики поколения молодых забойщиков.

— Мы, старые, собьемся, — тогда худо будет. Молодых-то кто будет учить?

Наемник так не скажет. Ему безразлично, кто бы ни долбил стену после него.

Между тем именно на низших ступенях горной иерархии политические убеждения играют величайшую роль. Инженер может быть беспартийным, начальник спасательной команды — просто мужественным, находчивым и знающим человеком, но трудно себе представить, какое огромное значение имеет принадлежность к партии на младших командных должностях. Именно штейгер-коммунист наращивает вокруг старых забойщиков свежий слой рабочих, не только технически квалифицированных, но и зрячих политически. Там, где во главе копи стоит штейгер-коммунист, старое племя подземников, образующих совершенно замкнутую касту, которой нет никакого дела до остального мира, обречено на безжалостное вымирание. Молодые унаследуют их знания, примут из их рук вечный фонарик и кайло рудокопа, доведут начатый ими штрек до конца, но непримиримая ненависть к солнцу, это совершенное равнодушие к земле и ее легким делам уйдет в могилу вместе с ними. Совсем иной новый дух в коях, управляемых живыми людьми.

Володарская, например, и по роду работ и по качеству угля считается одной из самых трудных. На протяжении всей копи нет места, где бы человек мог выпрямиться. Ее нижние этажи плавают в воде или задыхаются от жары. Все самые тяжелые стороны горного дела сказываются здесь с особенной резкостью. Тем не менее в забоях, самых душных и низких, в ответ на политический вопрос реже услышишь матерщину, чем в сравнительно легкой Ленинской. И здесь устают, но и уста-

лость и страдания носят, если можно так выразиться, более квалифицированный и сложный характер.

К товарищу Миндулаеву надо идти тихим лесом, угольной тайгой, обитаемой мраком. Он сидит в тупике, соединяемом с соседним штреком низким и извилистым ходом. Обернись,— в нем так темно и тихо, как будто мрак за спиной тихонько закрывает одну черную дверь за другой. Никогда, за всю свою жизнь, не видела я человека с более веселой речью и более утомленным, землистым взглядом. Коммунист с 19-го года, красноармеец, старый шахтер, разбуженный революцией, взятый ею наверх, попробовавший вольной человеческой жизни, пристрастившийся к солнечному свету, к вину, взявший себе жену из белого племени надземных людей, но в силу профессиональной и партийной дисциплины возвратившийся в шахту. Зарабатывает он мало, несмотря на все старания,— спускается под землю в 6, выходит наверх в 4 и 5 часов. Каждое свое слово товарищ Миндулаев держит на привязи, каждую раздраженную шутку тушит, как окуроч, чтобы она не наделала пожара. Сидя в этом забое, нужно или страстно любить свое дело, или отупеть, или быть терпеливым и добрым в работе, как татары, или держать себя в таких ежовых рукавицах, в таком повиновении, как этот алчный до жизни и радости человек, добровольно отделивший себя от солнца сто-саженными толщами.

Говорят, по-настоящему храбры только трусы, идущие вперед, несмотря на истерическую дрожь своих нервов.

Так вот, если Кизел в этом году действительно выбросит на рынок 45 миллионов пудов угля, уронив себестоимость с 14 до 11 копеек, если при этом окрепнет и возрастет его партийная организация, то только благодаря работе таких людей, как товарищ Миндулаев, продолжающих колоть свой уголь и крепко верить в коммунизм, несмотря на разочарование переходного времени, скепсис и усталость.

— Пора обойтись как-нибудь иначе. С девятнадцатого года ждем облегчения.— Но рука его сильно и медленно прогуливает ручку радиолакса. Возле самого лица, как бешеный конский хвост, вьется струя пара. Ветер встает от движения машин, пыльный и загрязненный углем. Поставленные на пол фонари смотрят, присев на корточки,— золотые жабы этого сухого подземелья.

На широком и твердом лице товарища Суслова,

старшего штейгера Володарской копи (коммуниста с 17-го года, фронтовика и горнорабочего), за 2 года подземных работ еще не совсем потух загар 20—21 года. Наверху, при солнечном свете, он выглядит как солдат после тифа,—крепкий организм слегка только тронут бледностью шахтеров. Под землей при свете фонаря, это — заблудившийся партизан, крепкий, приземистый, и широкоплечий, как сосновые обрубки, поддерживающие потолок. Он не только безупречно знает копь с технической стороны, но наизусть помнит ее людей. Ленинский набор для такого штейгера, как Суслов, то же самое, что работа в горе во время пожара или наводнения. Под землей, рассеянные по забоям, зарываясь в уголь во всех возможных направлениях, копошатся 300 человек. Каждого из них штейгер знает как самого себя. Знает трудоспособность забойщика и условия его труда; знает, сколько влаги на стенах его забоя, сколько пыли и жары во вдыхаемом им воздухе, сколько сажен породы над головой, сколько дома детей, есть ли корова или коза, и какие мысли—тяжелые или легкие—перебирает этот человек за свою смену. Ленинский набор на копи — это тревожный сигнал, призывающий всех, без различия возраста и национальности, всех подлинных рабочих выйти наверх и стать в ряды партии. Штейгер должен помнить каждого рабочего, услышавшего этот призыв и поднявшегося наверх, и каждого, оставшегося внизу.

— Человек остался в горе,—для горнорабочего нет слов, более волнующих. И только штейгер может определить, вызвано ли отсутствие рабочего несчастием или просто усталостью, слабостью и неохотой. Он один знает, как далеко идти до света со дна сырых и черных ям, как много нужно времени, чтобы среди грохота машин и за великим молчанием земли расслышать робкий голос жизни, призывающий откуда-то сверху. За каждого оставшегося внизу, за каждого побежденного усталостью должна бороться вся копь. Это — старое правило горняков. Никто не имеет права на отдых, пока сквозь толщу рухнувшего невежества, предрассудков и нищеты не будет услышан слабый ответный стук. Штейгер-коммунист ведет и направляет эти работы. Вот результат последней из них: до ленинского призыва на 270 рабочих Володарской копи приходилось всего 37 коммунистов, сейчас их 150.

Товарищ Малышев, работающий в забое № 61,— один из тех, кого удалось отвоевать у шахты. С 18 по 21 год он провел наверху, был пулеметчиком в Красной Армии, прошел с боем от Вятки до Иркутска, участвовал во взятии Сиваша. Из партии выпал, можно сказать, благодаря «белогвардейским хитростям». Отступая от Канска и желая «подкопаться под пролетариат», белые нарочно бросили в городе множество спирта. Товарищ Малышев был одной из жертв этой противнической провокации. А в пьяном виде, как известно, совсем другое обстоятельство.

Работая в копи, о возвращении в партию как-то не думал.

— Если бы,— говорит,— вы видели мою комнату, то не стали бы удивляться.

Что же это за комнаты, мешающие товарищам вернуться в партию?

Все рабочие казармы Кизела перешли к тресту по наследству от знаменитых князей Абамелек-Лазаревых. Строил их архитектор, одаренный богатой фантазией. Посреди каждой улицы, на расстоянии приблизительно 10 шагов от входных дверей, он с большим искусством расположил ряд отхожих мест, совершенно отравляющих воздух. В конце возвышается каменное здание, так называемый «арестантский поселок», где жили каторжане, в цепях отправлявшиеся на работу. Во время войны к ним присоединились военнопленные, которых пытались использовать как чернорабочих. Но они оказались несговорчивыми и предпочитали класть руки под колеса электровозов, только бы избавиться от каторжных работ. Затем, в виду сопротивления белых невольников, копь наводнилась невольниками желтыми. Около 3000 китайцев заполнили кизеловские казармы. На теплые еще нары одной смены валилась следующая, только что вернувшаяся с работ. Туберкулез и сифилис быстро выкосили ряды желтых артелей, да и к работе под землей эти дети солнца оказались плохо приспособленными.

Революция избавила их сиятельства от дальнейших забот о рабочей силе. Но проклятие старого каторжного поселения все еще тяготеет над новым советским Кизелом. Тени этих гнилых, отвратительных построек отравляют жизнь тысячам рабочих семейств. У их порога чернеет застарелая грязь, те же сточные воды прося-

чиваются в сени, та же голь и безносаея нищета наваливает свои отбросы под окнами, забитыми досками, железом и тряпьем. Ни стула, ни порядочного стола, ни полки, ни умывальника, ни одной книги на сотни общежитий. Только старейшие рабочие пользуются отдельной квартирой (одной крошечной комнатой с миниатюрными сенцами), где они отсыпаются после работы, завернувшись с головой в одеяло и лежа прямо на полу. Для семейных рабочих корова — настоящее спасение. Но кизеловцы лишены возможности держать даже мелкую птицу, так как при домах нет ни коровника, ни сарая. Одним словом, вопиющее убожество, которое только отчасти и с трудом может быть объяснено недостатком средств и хозяйственным кризисом. Если, несмотря на прозябание в настоящей клетке (3×3), тщетно пытаюсь поднять голову, придавленную книзу потолком забоя, рабочий говорит голосом человека, долгие годы просидевшего на необитаемом острове, что он счастлив был вернуться в партию, — «все молодые вступают, нельзя же остаться отсталым», — то это значит, что партии удалось вынуть из подземной трясины действительно крупного и живого человека.

На Ленинской копи, — может быть, благодаря совершенно случайному составу рабочих в эти дни, — настроение показалось мне менее устойчивым. Но и там, где-то на самом дне, есть удивительная шахта № 3. Это — обширный мокрый коридор, из которого наверх пробивается новый соединительный ход. Он должен механизировать целую подземную область, заменив ручную и конную откатку угля электрической. Но пока это яма, холодная, как лед, со стенами, облитыми сернистой водой, где рабочие в промокших лаптях шлепают по ржавым лужам. Многие из них придерживают рукою лицо: работа на этих глубинах вызывает страшные невралгические боли головы и зубов. Во главе отряда стоит товарищ Осипов — штейгер и коммунист, в партии с 1905 года. До революции он участвовал на двух нелегальных съездах, в 1907 году был выброшен предпринимателем на мостовую, с 18 по 19 командовал 2-й ротой отряда особого назначения, воевал с белыми и одновременно восстанавливал разрушенное ими хозяйство. Едва справившись с противником, солдаты бросали виштовки, чтобы в течение 52 субботников поднять сгоревший железнодорожный мост. В 20-м году, когда топ-

ливный кризис достиг наибольшей остроты, партия посылает старого горняка назад, под землю. Он работает одновременно на производстве и в местном совете. Внизу — отливает затопленные шахты, чинит и выправляет крепления, мобилизует отряды углекопов-новобранцев, наверху — ведет ожесточенную борьбу с тифозной вошью, безграмотностью и голодом. Но копь ревнива и исключительна; она не терпит совместительства. Или совет, или шахта. На этот раз, как и прежде, товарищ Осипов выбрал подполье, если не политическое, то трудовое. На его 53-летнюю спину эта работа часто ложится непереносимым бременем. Но:

— Чересчур я обессилел от постройкома и совета...

Товарищ Осипов не единственный коммунист на дне шахты № 3. Товарищ Юферов — тоже большевик, и ему, как старому штейгеру, пришлось выбирать между работой наверху и копами. Зарабатывает он в месяц немногим больше 30 рублей. Его семья делит небольшое помещение с 4-мя холостыми рабочими.

— Покуда мира хватает — и вообще тягости довольно.

На вопрос о том, какая же последняя мысль, какой внешний толчок заставил его вступить в ленинский набор, товарищ Юферов дал ответ, от которого мрак этой ямы повел черными бровями, а воды, мокрые лапти, зарплата, все колышки, которыми измеряется рабочий быт, потеряли вес и значение.

— В партию я вошел, чтобы буржуазия заграничная смотрела на нас не так, как на ничтожество.

Желая освежить лоб, подземник сбросил меховую шапку. Показалась вся его голова, зачесанные назад волосы, широкие светлые виски над азиатскими скулами и выпуклый лоб, как маслом натертый мыслью и блестящий.

НАДЕЖДИНСКИЙ ЗАВОД

(Черновой набросок двух цехов)

I ДОМНА

Уголь глупее чугуна и руды. Он безропотно приближается к доменной печи. Если передняя из вагонок случайно остановится, задние с тупой поспешностью на нее наступают. Почему задержка? И уже схваченная за скобы двумя каталями, глупая угольная торба радостно раскачивается над жерлом, в которое ее спихнут. До последней минуты она не понимает, что с качелей упадет в огонь. Ее опрокидывают с грохотом. Уже падая, уголь пробует схватиться за края котла.

Есин, каталь, с одним рыжим бакенбардом, опаленным огнем, легким движением лопаты сбрасывает вниз кулаки рассыпанного угля. Сзади тупо ждут очередные вагонетки. Прислонившись к ним, второй засыпщик старается перевести дух.

Есин и его помощник еще раз раскачивают железный ковш и так ударяют его лбом о подвешенный над печью стержень, что он, теряя сознание, выпускает из рук последние глыбы угля и, оглушенный, несется дальше по воздушной дорожке.

Гораздо труднее заманить на эту шумную башню осторожную руду, боящуюся света и людей, еще не забывшую ни ударов кайла, взявшего ее в плен, ни челю-

стей дробилки, с которых машина слизывает размол каменным языком.

Руде дают отлежаться под навесом, в сырости и тени, на досках, которые она окрашивает в красноватый цвет своей земли. Затем ее насыпают в вагонетки и катят к воротам домы. Незаметно, так, чтобы не испугать, ее потихоньку взвешивают на весах, спрятанных под полом.

Ничего не подозревая, сырое железо спокойно подымается в голове доменной печи, в специальном лифте, через сетки которого виден весь этот царственный завод, с его железнодорожными путями, трубами, дымом, горами лома и глины, с небоскребами основных цехов, с ревом, свистом и шипеньем неизвестных машин, запертых каждая в отдельное здание и буйствующих внутри него, как сумасшедший, старающийся проломить стену размеренными, непрестанными ударами железного лба.

И вдруг, уже ступив передними колесами на гремящий помост, увидев над перилами крыши далекие болота и синюю дымку лесов, вдохнув ледяной ветер и легкий дождь угольной пыли, почувствовав под ногами предательский жар домен, заметив людей, ожидающих ее с засученными рукавами, вагонетка пятится назад, делает попытку вырваться, сойти с этих рельсов, ведущих ее прямо в огонь.

Катали, задыхающиеся и черные, хватают ее с двух сторон и, как барана за рога, волокут вперед, удерживая ее стальные копыта в колее рельсов, покрытых угольной грязью, как проселочная дорога после дождя. Наконец вагонетка над люком. Последняя хитрость: ее несколько нагибают, одна из стенок оказывается дверцей, которая, распахнувшись, роняет белоснежную руду на подстилку из угля. Катали бешеным усилием выдергивают ее обратно и отводят к лифту, которым уже поднимается следующий молчаливый пассажир.

Есин опускает на котел тяжелую круглую крышу и, всей тяжестью навалившись на рычаги, выпускает огонь доменной печи из его тюрьмы.

Голодное пламя в одно мгновение проглатывает «калошу» (три вагонетки угля, две руды), прорывается наружу через узкую щель и жадно облизывает края трубы, пол вокруг нее, тянется и к каталю, слишком близко подтолкнувшему свое угольное стадо.

Есин тревожно наблюдает за особым рычагом, мерником, по самую рукоятку воткнутым в глотку домны и показывающим степень ее сытости. Мерник делает глотательное движение и приподымается выше. Печь сыта.

Но огонь продолжает бушевать на крыше домны. Раскаленный воздух со свистом вырывается из щелей. Посредине костра жалко чернеет маленькая круглая крышка с неплотно привинченными краями. А вдруг опуск?

Домна стара. В ее брюхе давно выгорели углубления, образовались мешки, в которых задерживается огненная каша.

В течение последних пятнадцати лет огонь, объевшись угля и железа, несколько раз вырывался наружу в припадке неудержимой огненной рвоты. Он потоком стекал с этой крыши, сжигая людей, камень, металл и воду, пытавшиеся стать на его пути. Но нет, стихло. Огонь, отяжелев, опадает, за ним запирается железная дверь.

Эта работа, опасная и грязная, происходящая на открытом воздухе, при непрерывных скачках температуры,—от тропической доменной жары к сибирскому ветру,—считается неквалифицированной и оплачивается скудно. Катали получают по пятому разряду, то есть 22 рубля в месяц.

С виду товарищ Есин, с его рыжей бородой, плечами широкими, как весы, и могучими кулаками, кажется воплощением человеческой силы. Между тем огонь и холод в борьбе за поочередное обладание его телом давно разрушили его мускульную силу. Он все еще прекрасный работник — благодаря знанию множества незаметных приемов, позволяющих свалить тяжесть труда обратно, на плечи машин. Но под угольной маской, под налетом искусственной красноты лицо Есина часто бледнеет, и пот, который стекает за ворот его никуда не годной прозодежды, холоден и тяжел, как сырость на стене. Загар, который доменное солнце наводит на эти лица, бел, как известка, с синеватым оттенком снятого молока.

Товарищ Пельник работает далеко внизу, среди огромных труб, окружающих подножие домны. Это — дыхательное горло печей. По одним горячий воздух нагоняется внутрь, по другим отбросы горенья, у которых

огонь отнял все, что в них было живого, несутся к свету, обезумев от желания снова жить. Но по дороге к освобождению эти отработанные газы должны еще и еще раз заплатить домне богатый выкуп за свое освобождение. У них нет больше кислорода, отобранного до последней капли. Они нищие, у которых не осталось ничего, кроме тепла. Это тепло они и должны уступить печи; их заставляют идти к солнцу бесконечно длинной дорогой, колодцами, полными огнеупорного кирпича. Этот кирпич газы согревают, оставляя ему весь жар и пурпур горения, вынесенный из пламени, и, только сделав эту последнюю работу, вытянувшись, с поднятыми над головой дымными руками, они наконец уходят в небо.

Но товарищ Пельник занят не на этих каналах. Он охраняет дыхательное горло домны, по которому воздух нагнетается в ее легкие. Этот воздух, уже изнемогая от жары и жажды, со свистом несется по катакомбам труб. Он грязен, выпачкан углем, тяжел от приставшей к нему минеральной пыли. Его надо очистить, прежде чем он войдет в белую пещеру огня. И вот у подножья черных колодцев расположены особые «блюдца» с глубокой, спокойной водой. Воздух жадно пьет, припав лицом к этой прохладе, к этой желанной воде, которая тихонько смывает с его лица угольную грязь.

Товарищ Пельник от времени до времени открывает оконце в толстой кишке трубы и, отвернув лицо от горячего вихря, сбивающего его с ног, белого, как клубы пара, выскочившего на мороз, опускает в живот машины длинную металлическую руку и выгребает из черных внутренностей кучу пепла и угля. В одно мгновение человек сварен, дышит со свистом широко открытым ртом, полным кислых осадков.

За это полагается вознаграждение по пятому разряду. Товарищ Пельник стоит на своем посту 15 лет, из них полных 5 лет на службе Советской республики.

II

У ДОМЕННЫХ И В ЛИСТОПРОКАТНОМ

У печи крестьян не отличишь от коренных рабочих. Одинаковые на ногах лапти вместо прозобуви. Одинаковые холщовые рубахи, прожженные и замасленные, и

лица в угле, и руки в ожогах, и глаза, прикрытые синими очками или глубоко увязанные в складки кожи, как серебро в угол платка. Казанского татарина еще легче узнать. Свой мешок он накидывает на плечи, как нарядный халат, и стоит, ожидая выхода чугуна, как ждал бы муллу у мечети.

Направляя огонь по изложницам, крестьяне, еще не ушедшие от земли, делают это медленнее, и железная штанга в их руках трогает огонь, как грабли свежее сено.

Подымая молот, они все еще подымают его, как цеп, и молотят железную рожь, из которой сыплется зерно—искры.

Придерживая щипцами конец горячей трубы, которую сверху с какой-то неистовой злобой бьет маленькая машина, крестьянин держит ее, как деревенский кузнец заднюю ногу лошади, которую кует. Несколько медленнее, чем следует, и маленькое чудовище, поджимая рычаг, как злобно помахивающий хвост, успевает несколько раз ударить своим широким ртом железного головки по пустой наковальне, прежде чем рабочий пододвинет ему новую трубу для заливки.

Там, где настоящий фабричный рабочий быстро, как оспу, прививает вещи небольшой знак, нужный для дальнейшего производства, крестьянин медлит несколько секунд, и из его добросовестных рук металл выходит с овечьим клеймом на боку.

К заводу рабочий привязан, как к инструментам, которые имеют ценность только в его собственных руках. Рабочий отступает, когда фабрика попадает в руки Колчака. Уходит, чтобы вооружиться и затем отнять у вора орудия своего производства. Наиболее отсталый крестьянин остается на фабрике при всякой власти. Он привязан к ней, как к полю, которое просит плуга и родит независимо от перемены власти. Для рабочего революция — продолжение великой производственной борьбы. Для плохо орабоченного мужика революция — засуха, неурожай чугуна, град, побивающий озимые молодой стали.

Выбрав в свой кооператив дрянного организатора, у которого картошка дороже, чем на рынке, такой крестьянин боится поднять скандал, боится протестовать и выступить с открытым обвинением. Если зарплата низка, разряды безжалостны, если нарушаются многие усло-

вия охраны труда, прекращается выдача даже плохой прозодежды — неорганизованный деревенский рабочий видит в этом всем не государственную необходимость, не кризис, не переходный период, а стихийное бедствие, продолжение старой, дореволюционной напасти. Необычайно резко расслоились рабочие листопрокатного цеха. Одна из чистокрестьянских артелей принимает сутунку у самого входа во дворец проката. Она согревает ее и бросает в первую машину. Железо, красное от злости, расплывается и возвращается в руки мастера. Он сбрасывает его на грохнувший железный пол. Назад в печь — и в следующую прокатную машину. Но, попав между железных скалок, металлическое тесто не скоро от них отрывается. Его все снова и снова возвращают назад. То по одну, то по другую сторону станка лица рабочих освещаются отблеском железа, на мгновение выскочившего наружу и с лязгом идущего назад, в прокатку. Каждый раз оно оставляет машине кусок своей золотой шкуры. С давних пор на Урале укоренился прием, улучшающий его качество: листы разнимаются клещами и пересыпаются угольным мусором. Полосы больше не склеиваются и дают хороший ожог. Сверху машиной руководит нажимальщик, пожилой рабочий, поворотом рулевого колеса увеличивающий или уменьшающий пытку железа. В то время как люди внизу все-таки имеют возможность подбежать к баку, сделать глоток воды и освежить лицо, рулевой неизменно стоит на своем капитанском мостике. При прокате мучительны не только жар, грязь, угар и сырость, но грохот, лязг, скрежет, вой, визг, ежеминутные крики красных железных черепах, с размаха ударяющихся спиной об пол, глухой гул машин, стук молотов, доносящийся из соседнего отделения. Нет голоса, способного перекричать палаческую глотку проката. Из всех звуков рядом с ним могут быть услышаны только самые слабые, самые незаметные, умеющие, как мышата, пробежать между ног разъяренных гигантов грохота и, несмотря ни на что, достигнуть человеческого сознания. Это — тихий короткий свист мастера, которым он зовет обратно к печи или станку своего подручного, в изнеможении присевшего на скамью. Тихий сигнал труда и дисциплины, которому никогда не отказывают в повиновении, как бы ни одеревенели руки на клещах, какими бы ручьями ни текла по лицу потная вода. Это не только

приказ; свист, похожий на иволгу, в этом железном лесу значит еще: приди и помоги.

Случайно или нет, на прокатке листового железа работает целое село фабричных крестьян, переселившихся в Надеждинск с Будинского завода. Все пожилые люди, имевшие собственные домики и хозяйства при старинном вятском заводе. Крестьяне, не бегавшие ни от белых, ни от красных и выброшенные теперь на пролетарскую улицу разорением своего барина — завода, пустившего их по миру, как раньше дедушка проигрывал в карты. Они не могут забыть ни старого режима, ни своих покинутых деревень, долго живших под кнутом, но сытно, в собственном домике, при собственной корове. Были биты, но сыты. А теперь? Глухая, незаживающая тоска о земле, о плуге, о первых остреньких зеленых иглах, лезущих из земли весной, мучает их среди машин. Окаменелые мужики без земли, которых крепостное право 200 лет заставляло работать машинами, но искусственно не позволяло выдернуть корней из земли, из навоза, из господ бога, из игрушечного, призрачного крестьянского надела посессионной фабрики.

Эта деревня у станка ни одного человека, ни единого, не дала в ленинский набор. Молча отказала.

Товарищ Леготкин вернулся к станку из армии после 3½-летней службы, после тифа, сделавшего его непригодным для фронта. На узкой груди, стиснутой и исковерканной трудом, как нога китаянки, Леготкин носил орден Красного Знамени, полученный за пленение 5 белых офицеров во время разведки. В партии он тоже был, потом ее потерял, как теряли жизнь, память, вид на жительство и собственное свое имя в тифозных теплушках. Теперь его листопрокатная артель крепко встала между ним и партией, которая не обернулась, не заметила потери, не имела времени нагнуться и поднять упавшего за борт человека. До того ли ей было?

Леготкин делает свою каторжную работу, подкалываемый и поддразниваемый мужичками.

— Кавалер ордена. Воевал — много они тебе за это дали? Живешь хуже собаки. Все обещивали, а где исполнение?

Только молот бешеными ударами перерывает назойливую чесотку, донимающую Леготкина.

Есть еще один бывший коммунар в листопрокатном — товарищ Фурин, тоже потерявший партию благо-

даря какой-то старой, незажившей обиде. Она все его существо обезобразила, всю жизнь перекрестила, как шрам через лицо. В ленинский набор не пошел, несмотря на 3 года добровольной службы в Красной Армии...

Но на всех собраниях этот старый рабочий и честнейший по существу большевик с 18-го года говорит и голосует за партию.

ГОРЛОВКА

(Донбасс)

I

Глядя из окна железнодорожного вагона, можно подумать, что Донбасс решил застроиться целым рядом пирамид. На его полях, гладких как стол и покрытых пыльной скатертью польни, отделенные друг от друга промежутками в несколько верст, возвышаются ровные остроконечные конусы, геометрически правильные одинокие горы.

На вершине каждой из них, бережно подогнув тонкие ноги, сидит большое железное насекомое; оно беспомощно и слабо, — маленькие, трудолюбивые вагонетки, похожие на муравьев, ежеминутно взбираются к нему по рельсовой дорожке и кормят горами земли и камней, добытых на дне шахты.

Вся гора состоит из породы, годами изо дня в день осыпающей ее искусственные склоны. В этой промышленной области фабричные трубы давно переросли пирамидальные тополя, эти зеленые живые колонны юга. Горы пустой породы, выброшенные на поверхность угольными копами, вполне и безраздельно господствуют над черноземной равниной. У их подножья голая степь перерезана густой сетью железных дорог. Она соединяет между собой угольные и металлургические оазисы, облегчая движение черных караванов, кочующих между углем и рудой, доменными печами и шах-

тами. Это — великие торговые пути южной металлургии.

Горловка — один из самых крупных угольных колодцев Донбасса. Гора ее земляных отбросов строилась десятилетиями. Черный конус лежит на широком фундаменте красноватых пород, потухших и охлажденных, как лава. На вершине сера, навоз и угольный мусор еще продолжают гореть. Ночью красноватый блеск этого тихого, никогда не прекращающегося тления делает террикон похожим на потухший вулкан, по склонам которого бродит пламя, этот жадный старьевщик, отыскивая себе пищу среди мусора. Но если искусственная гора, несмотря на свое зловещее зарево, совершенно безвредна, то под землей, на глубине своих трехсот сажен, копь так же опасна, как в 1890 и 1917 годах. В недрах угольных пластов заключены особые озера — пустоты, полные болотного газа, из которых метан тонкими, как волос, трещинами просачивается в штольни. Подземные пожары отравляют нижние забои угольной кислотой. По временам она скопляется во всех углублениях, как дождевая вода в низине. Шесть лет тому назад один из забойщиков, товарищ Сеничкин, пришел к штейгеру и отказался идти в забой, где его фонарь без всякой видимой причины два раза потухал, охваченный пламенем, и где в воздухе ему почудилась особая духота, пахнувшая смертью. Но в те дни малейшая остановка в работе строго каралась администрацией бельгийской компании. Избегая ненужных трат на розыски и обследования, инженеры уже в течение многих месяцев сообщали совершенно фантастические сведения о количестве скопившихся в шахте гремучих газов. Маленький человек, некий коногон, тоже знал, что гремучий газ и метан — только случай, только неизвестность; а расчет и безработица — осязаемая и беспощадная реальность. В ламповом его стекле была трещина, большая черная царапина. Старший стволочной ее заметил и посоветовал вернуться. Где там! Он погнал свой шумный поезд туда, где у забоя уже стояло тихое озеро болотного газа. И, когда подслеповатая лошадь коногона завернула за угол, это озеро встало и подняло на огненных плечах шахту со всеми работавшими в ней людьми. Воспламенение угольной пыли придало взрыву необычайную силу. Семь ударов последовали друг за другом с небольшими перерывами. В истории горного дела есть случаи беспримерного и бескорыстного мужества, ко-

торые пережили даже революцию. Таким случаем была работа начальника спасательных команд Донбасса, инженера и ученого Черницына. Три отряда пошли за ним на дно отравленной газами шахты, чтобы спасти рабочих, может быть заваленных породой и камнями и ожидавших спасения. Ни один человек не вернулся на поверхность земли. Первыми почувствовали зловещую дурноту люди из отряда Черницына, далее других выдвинувшегося вперед. Ему самому удалось вернуться, призвать на помощь второй отряд, подобрать и уложить на носилки упавших; оставалось сделать еще несколько десятков шагов сквозь бурый туман ядовитых испарений. Но тут силы оставили вновь пришедших. Чувствуя головокружение, они опустили на землю свои носилки и попробовали уйти от смертельного обморока. Он свалил их на полпути. Только Черницын еще раз дотащился до главного ствола. Здесь этот человек, два раза избежавший гибели, со слезами на глазах просил третий и последний отряд вернуться за потерянными товарищами, тела которых лежали так близко и, вероятно, еще сохранили признаки жизни. Он сам повел последних восемь добровольцев назад в рыжие сумерки шахты, — и только теперь, шесть лет спустя, тела этого героя и его товарищей были извлечены и похоронены новой Советской Россией, успевшей родиться и возмужать, пока смертельные испарения потихоньку рассасывались где-то на трехсотсаженной глубине.

В течение этих шести лет рабочие Горловки продолжали бороться уже не за спасение нескольких товарищей, а за жизнь самой шахты, которой угрожала полная гибель. Трудно себе представить, в каком виде пролетариат Донбасса в 20-м году принял свои копи. Все их оборудование было совершенно разрушено. Болотный газ захватил важнейшие шахты. Вентиляционные приспособления погибли; угольная пыль разлетелась по копиям, как облако моли в нежилом доме, угрожая придать самой незначительной вспышке ужасающую силу, которой прославился взрыв 17-го года. Водоотливное хозяйство дошло до состояния, близкого к полному разрушению. Во главе этой развалины стал рабочий Коробкин, настоящий белый медведь, вылезший из шахты, последовательно бывший рассыльным, лампоносом, конгоном, забойщиком, красногвардейцем и коммунистом-партизаном, и, наконец, директором Горловских ко-

пей. За каждый ремонт, за каждый аршин бронированного кабеля, за каждую новую гайку или стекло для лампочек нужно было бороться: или сделать их самим, или достать и провезти через фронтową полосу. Рабочие опускались в шахту — и в какую шахту, — отравленную газами, залитую водой, полную угольной пыли, непроветренную и неосвещенную, рискуя каждый день взлететь на воздух или захлебнуться в подземных водах. Вспомним шахтерский паек 21-го года, который когда-нибудь будут показывать в музеях, в феврале 21-го года состоявший из $1\frac{3}{4}$ фунта муки (в день на семейство), $\frac{1}{8}$ фунта табака, 1 фунта сахара, $\frac{1}{4}$ фунта мяса, $\frac{1}{21}$ фунта сала и $\frac{1}{21}$ фунта овощей и 4-х папирос в месяц. Смены, проработав в забоях два-три часа, возвращались назад из-за голодной слабости, валившей их с ног. Несмотря на все эти тягости, перелом к выздоровлению все-таки совершился. Производительность главного горловского рудника № 1, составлявшая 2 280 535 пудов в 1921 году, в 1922 году подымается до 4 321 921 и в 1924 году — до 5 440 164 пудов. Производительность на одного рабочего-забойщика за 1921 год — 4150 пудов, за 1923 год — 4812 пудов. Средняя дневная производительность забойщика за 1921 год — 195 пудов, за 1922 — 285 пудов, за 1923 год — 289, средняя дневная производительность подземного: за 1921 год — 45 пудов, за 1922 год — 53, за 1923 год — 61 пуд.

Добыча угля на рудниках № 1, 5 и 8 за 21-й год не превышала сумму в 5 850 025 пудов. В 23-м году это количество уже утроено, добыча равняется 15 430 431 пуду.

Но и сейчас, при сравнительно благоприятных условиях, работа в Горловке может считаться одной из самых трудных по Донбассу. Шахта уходит под землю совершенно прямым стволом длиною в 260 сажен, от него под таким же прямым углом отделяются боковые ветви — квершлаг. Между двумя параллельными квершлагами лежит массив толщиной в 50 сажен. Но уголь не добывается или почти не добывается по горизонтальной линии. Его слои под острым углом поднимаются к поверхности. Чтобы следовать за ними, углекоп должен покинуть и удобный квершлаг, и узкий коридор, в него впадающий, так называемый «штрек», и выбиваться наверх узкой, круто наклоненной щелью, уступами уходящей ввысь.

У человека, идущего в забой не снизу вверх, а сверху вниз (через выше лежащий центральный ход), создается впечатление, что он, протиснувшись сквозь узкий люк и нащупав ногой ближайшую деревянную подпорку, за которую цепляется его тело, вдруг попал на нижнюю палубу огромного корабля, почти поваленного набок сильной качкой. Если бы эта качка вдруг прекратилась и подземный корабль принял естественное положение, то вместо знаменитого забоя «Мазурка», где люди выплывают такие фантастические фигуры, висят над пустотой на тонких перекладинах, получилась бы низкая зала вышиной аршина в полтора, с потолком, на всем протяжении подпертым деревянными столбиками. Но вся эта штука лежит на боку, «полы» и «потолок» обрываются вниз под острым углом, и крепления, поддерживающие крышу, служат перекладинами бесконечной лестницы, по которой поднимаются и опираясь на которую работают забойщики.

Чтобы один, стоя выше, не бросал угля на голову другому, работающему ниже, в породе сделаны особые уступы. Таким образом, перед каждым рабочим лежит особая глыба, в которой он выдалбливает нечто вроде черной камеры, но с провалом вместо пола, с дырой под ногами, через которую отколотый уголь грохоча летит вниз, к люку, и прямо в откатывающие его к подъемной машине вагонетки. Через эти же люки, вечно закупоренные углем, должен поступать в забой свежий воздух. Можно себе представить, сколько углекислоты и опасности скопится у ничтожных отдушин, соединяющих забой с внешним миром.

Фигуры забойщиков почти невидимы за густой пылью, составляющей воздух подземной трущобы. Настоящей вентиляции нет. Нечистое дыхание подземелья отсасывается машиной, поставленной над устьем вентиляционного колодца. Струю этого душного, отравленного воздуха не раз встретишь в шахте, когда она, бешено хлопнув дверями тихих подземных конюшен, преградивших ей доступ к работающим забоям, со свистом уходит под потолок. Тяжелая, сухая струя газов обматывает и сжимает грудь, как большая теплая змея, согревшаяся на солнце и вываливавшаяся в пыли. В забоях воздух в полном смысле слова отсутствует. Летучий уголь прикасается к глазам, и глаза учатся смотреть, посыпанные едким порошком. Легкие работают в мешке из

угольной пыли, кожа, пропитанная потом и напудренная сажей, делает людей изваяниями из угля, одежда становится чугуновой. На расстоянии двух шагов шахтерская лампочка, это выдержанное, невозмутимое существо, сохраняющее присутствие духа, пока в воздухе сохранилась хоть капля кислорода, светит растерянным светом, звездной каплей, упавшей в крошечный омут.

Забойщик висит на тонких сосновых перекладинах, перекрывающих провал. Весь забой, с его чадом и мраком, пропитан острым запахом человеческого пота, который течет из-под белых подмышек, смачивает обмытые им светлые предплечья и машинным маслом растекается по черным, как чугун, бокам. Растянутое поперек черной клетки черное тело бьет вокруг себя, издает свой равномерный рабочий крик, это «гха-гха-гха», и рушит уголь, который, срываясь, подымает новые облака пыли. Кусочки его роятся и жалят, как черные комары черного подземного лета, москиты угольной Африки. Товарищ Гондарь держит свою кирку за самый конец длинной деревянной рукоятки. Лезвие его обушка то блеснет, врубаясь в уголь, и шахтер меняется в лице при виде светлых брызг, посыпавшихся из оцарапанной породы, то мелькнет, оскалившись, далеко откинутое за спину. Непобедимая пыль становится все гуще. Переводя дух и хрипя от усталости, Гондарь опускает оружие и гневно оплевывает сваленную у его ног добычу.

Нет дна этой яме, раскрытой под ногами, нет ей насыщения. Опять обушок свищет и заносит над голыми плечами свой стальной выгнутый клюв. Уголь крепко сопротивляется и только изредка сбрасывает на голову забойщика предательский камень или, когда Гондарь, выронив зубок, спускается вниз и разыскивает его в кучах мусора,—уголь брызнет ему на мокрые плечи струйкой осколков. Но еще удар и, потеряв равновесие, он летит вниз водопадом, целым каменным наводнением. Уклонившись в сторону, рабочий как бы продолжает отмыкать кран за краном, черная плотина рвется, и потолок, грохоча, падает вниз. Пыль за ним встает и дымит, как по следу проскакавшей кавалерии, фонари тлеют лагерными кострами, наполовину затоптанными конницами.

Очистившееся пространство надо немедленно поддерживать новыми креплениями. Рабочий бросает кайло и берется за топор. Бревно пляшет под ударами, воз-

дух звенит и вскрикивает, переливается пыль, свет меркнет, и, раздвигая свой подземный ковчег, шахтер вставляет свежий кол в разинутую пасть угля, не позволяя сомкнуться над своей головой его избитым челюстям.

Для крепости еще тонкая досочка (затяжка) втискивается между крышей и креплением — легко, как трамвайные кондуктора вкладывают в сумку свои толстые контрольные тетради.

Ничто здесь не держится. Все надо подпирать, вклинивать, сшивать большими деревянными стежками. Все скользит, сыплется и изменяется. Забойщик, хозяин всех вещей, одним ударом, как повелительным словом, указывает им место и службу: крючок фонаря пришибает к балке, топор висит на перекладине, держа ее острым зубом, как верный пес, дерево стоит и не гнется, и зубок не выпадает из обушка. Проверив крепость и послушание своих немых помощников, человек ногами упирается о стойку, грудью ложится на соседнюю, и, повиснув лицом вниз, держа в объятиях дерево, которое его несет, начинает очищать новый участок. Опять гроза обвалов и громы падающего угля.

И он и фонарь его, — все стало призраком. Пыль их душит, свет мигает, с трудом протирая засоренные глаза, и кажется не ярче белых, смоченных потом лопаток, под кожей которых, как живые шары, ходят взбухшие мускулы.

Ниже товарища Гондаря работает еще несколько человек, отделенных друг от друга небольшими уступами. Можно себе представить воздух забоя, когда девять потоков угля сыплются вниз, девять пыльных туч курятся одновременно, и из девяти глоток отхаркивается сажа, черная пена плевков и облегчающая душу матерщина.

II

Немногим лучше работается на пласту «Сорока». Тот же поток угля, бегущего по желобу то с робостью, то с громом обвала; та же пыль, трудное дыхание, отсутствие воздуха и равномерный стук стальных дятлов, выдалбливающих угольное дупло.

Четыре забойщика, непохожих, — как вообще люди непохожи друг на друга, — рубят уголь, сидя верхом

на тонких перекладах. Нижний из них — старый солдат-«преображенец» — большим ухом, любопытно открытым, как раковина речной улитки, едва улавливает голос самого верхнего, почти мальчика, бывшего гимназиста, заброшенного молодым авантюризмом сперва в ряды Красной Армии и РКП, а потом в Горловскую шахту. Майн Рид и революция, «Дети капитана Гранта» и большевики и, наконец, отрезвление на дне Горловки после года тяжелого взрослого труда. Между солдатом и мальчиком — настоящий старый забойщик, горловский рабочий, воевавший за свою шахту со Шкурой, две недели просидевший в ожидании расстрела «в одних кальсонах» и вернувшийся назад под землю, как возвращаются многие настоящие углекопы.

Скука его томила наверху, — пустое и светлое дневное время, вызывающее сплин у подземников. Они не умеют жить без угля, и без обушка, без шахтерского фонарика, освещающего уединенный кусок подземелья тем ровным светлым пятном, которое люди оттуда, «сверху», так любят на своем письменном столе зимой, среди молчаливых книг.

Четвертый — коммунист, и голос его выходит из самой верхушки затопленного мокротами горла. Это — старый красноармеец, встречавшийся с Калединым у Матвеева Кургана, шагавший по фронтам, пока все они не кончились, вернувшийся на производство с пятью ранениями и тоской по родным шахтам, не заглушенной ни годами великой революции, ни войной. И не удивительно: человек с 12 лет коногоном водил под землей поезда вагонеток с тем неподражаемым, соловьиным, разбойничьим свистом, от которого шахта смеется и шевелит всеми своими тенями. Лошадь бежит во всю прыть, так что ее сильные задние ноги, забрызганные грязью, как белые ворота несутся в темноте, а встречные углекопы, прижавшись к стене и пропустив мимо себя поезд, одобрительно машут фонарями:

«Эх, партия пошла с ветерком».

Рано или поздно старый коногон и запальщик, бурьщик и каталь все равно вернутся в шахту.

Каждый из четырех по-своему держит обушок, по-своему молчит, думает и работает свои 8 часов. В двух, однако, вопросах эти четверо, при всей разнице возраста и политических убеждений, безусловно и отчетливо

совпадают. Во-первых, в стихийной и кровной своей связи с рабочим государством.

Каждый иначе формулирует эту социальную аксиому. Маленький авантюрист, мечтательный провинциальный мещанин, из которого каторжные работы сделали человека; забойщик, для которого отдых в 50 лет невыносим, как олицетворение скуки; преображенец, колющий уголь угловатыми и торжественными движениями, как будто вокруг него не шахта, а Дворцовая площадь в дни долгих высочайших парадов; и коммунист, заколдованный подземным миром. У одного революция легла глубоко под поверхность сознания, как темный и богатый пласт социального опыта. У другого она стала частью самой шахты, как лицо Ленина, одним из рабочих в недолгие минуты отдыха написанное углем на сводах глубокого и опасного горизонта; третий носит в себе это советское гражданство как противовес, уравновешивающий всякое колебание экономических тяжестей, как бы велики они ни были...

Но зато рабочие оставляют за собой право широчайшей критики, вернее — самокритики И чем она резче, чем ближе к производству и его нуждам, тем определеннее выступает новое, пореволюционное лицо России.

Знаменитое «а вот при старом режиме то-то и то-то было лучше» стало совершенно невинным полемическим приемом. Попробуйте у этого же рабочего, в пылу справедливой деловой критики обмолвившегося «старым режимом», попробуйте его расспросить о недавнем прошлом поподробнее. Обнаружится поразительная вещь: он это прошлое совершенно выронил из памяти, оно перестало существовать в его сознании, как нужная реальность. Прошло всего шесть лет, а люди уже с трудом вспоминают дни господства белых, и только у стариков или у товарища Исиченко, старого рабочего-каторжанина, выманишь что-нибудь о царизме, да и то живыми островками в памяти сохранились драгуны и виселицы 1905 года, дни расстрелов и величавых похорон.

И второе. Массы, отстоявшие свои рудники с оружием в руках, засеявшие их своими костями в годы голодной войны, совершившие то, что специалистам казалось невозможным, требуют теперь одного — и к этому сводятся все жалобы, все недовольства и недоразумения, — такого же щепетильного, безукоризненного, внимательного отношения к своему быту, какое сами они

уделяют машине, производству и всем его нуждам. В жизни рабочего нет мелочей. Ни одному из них не придет в голову сумасшедшая идея пренебречь мелочами машины, электрической станции или парового котла. Невнимание к мелочам карается на производстве самым безжалостным образом и притом немедленно: взрывом, увечьем, ранением. Рудник или шахта воспитывают осмысленное и неутомимое внимание. В Горловке, на таких опасных коях, где от малейшей неточности зависит жизнь нескольких тысяч человек, мелочи — все или почти все. Ими занимаются лучшие, наиболее квалифицированные рабочие. На них в течение двадцати пяти лет сидит такой специалист, как товарищ Гудев, заведующий ламповым отделением, наблюдая за тем, чтобы ни один из тысячи колпачков не пропускал ни крупинцы воздуха, чтобы тысячи затворных колец с абсолютной точностью до одной десятой доли волоса прилегали к своим стеклам. И если в шахте все благополучно, то это значит, что товарищ Гудев, десятилетиями сидя возле своего закопченного очажка, как цветником обсаженного семейством зажженных фонарей, ни разу не пренебрег одной из великих мелочей, организующих и оберегающих труд. Здесь не признают рока, случайности объявлена война. Есть гайки, винтики, гвозди, ничтожнейшие куски меди, железа и стали, сваленные в ящиках шахтной кладовой, оберегаемые пожилым рабочим, как будто бы это были сокровища; есть пыльные гвозди ремонтной мастерской, которые в свой день и час должны занять незаметное место в теле машины, чтобы сделать ее сильной и здоровой и тем предотвратить нелепую катастрофу.

Над главным стволом шахты стоит копер, опускающий на дно ее людей, вагонетки с углем и породой, рабочих, инженеров и лес, дерево и кипяченую воду, — словом, все необходимое для ее существования. Устройство машины чрезвычайно просто: подвешенные к двум концам стального каната, переброшенного через колесо, две клетки с ужасающей быстротой опускаются в шахту и снова поднимаются на поверхность. Скорость их падения совершенно нечеловеческая. Стены колодца текут вниз каким-то влажным водопадом, кровь бросается в голову, в ушах вата, и только свет подземных лампочек по-прежнему равнодушен и желт, как будто бы вокруг них все вымерло. Далеко от подъемной машины и двух

ее клеток с невыразимой быстротой, менее чем в одну минуту достигающих 260 горизонта, в спокойном и теплом машинном отделении стоит приборчик, напоминающий издали тихие старинные часы. Это индикатор, который тончайшим перышком отмечает на листе бумаги колебание скоростей, самый отдаленный намек на опасность. У подъемной машины, таким образом, два полюса. На одном, верхнем, стоит инженер и самым тщательным образом наблюдает капризные холмики скоростей, у другого, внизу, старший ствольной глухими ударами колокола собирает команды рабочих, следит за погрузкой, за тем, чтобы никто не соскочил до остановки и не случилось ни одного из тысячи несчастий, возможных при каждой посадке.

А в котельном? Разве не диктатура мелочей у этих печей, в которых трепещет легкий вереск огня,— где лопаты ходят мерной и размашистой качелью, и жигало, повертываясь, входит и выходит из печи, как копье? Техника такая, что любой из кочегаров, зазевавшись, мог бы взорвать половину Горловки.

И в своем новом быту забойщик и кочегар, коногон и лампонос гораздо легче переносят снижение заработной платы, если за этой мерой стоит государственная необходимость, чем неряшество и небрежность, натирающие кровавые мозоли на его психике. Все эти занозы давно известны: это — жилищный вопрос и кооперация, заводская больница и курорты. Хуже всего обстоит в Горловке дело с домами для рабочих. Они достались нам от бельгийцев, а бельгийцы строили так, чтобы к 19-му году, то есть к моменту ликвидации их концессии, все постройки развалились. Так и случилось,— рабочие остались в рассыпающихся халупах. Семья в 6 и больше человек или 3-4 бездетных семейства занимают землянку из одной комнаты и маленькой кухни. Стены — какие-то прутья, обмазанные глиной. Пол земляной, крыша двускатная, без потолка. В сотнях домов она так ветха, что ветер сносит песок, еще с осени терпеливо натащенный хозяйками, и на очаге выпадает снег.

Все крыши протекают. Стены расписаны сиренью и зеленью сырости. После работы люди просыпаются у себя на постелях, потому что на них «идет дождь». При этом от старости дома по самые окна вросли в землю и стоят неровными рядами, как грязные бородавки, разъеденные сыростью. При ядовитом воздухе Горловки,

прилепившейся вокруг никогда не потухающей, снедаемой внутренним пожаром горы, все кругом отравляющей продуктами разложения,— эти жилищные условия являются великолепным рассадником туберкулеза. В местной больнице можно видеть, во что превращается легкое углекопа к моменту смерти. Это — бледный мешок, на который уселся пласт угля в палец толщиной. Если в жизни рабочего были периоды, когда он уходил с подземных работ, то на легком они помечены тонкими жировыми прослойками. Так на жалком обрывке человеческого тела записана вся его героическая борьба с углем и сыростью, с голодом и переутомлением.

Недостаток в жилищах так велик, что десятки сезонных рабочих не имеют даже собственных нар и после работ валяются на полах в нарядной, котельном, в бане,— если удастся обмануть бдительность уборщиц. Тем не менее к этому кризису горловские рабочие относятся спокойнее, чем можно было ожидать. Это объясняется тем, что в поселке ведутся энергичные строительные работы. Пообедав и поспав после шахты, рабочий обязательно идет смотреть, как выводятся светлые каменные стены новых домов, как прорубают в них широкие окна, как настиляется серебристая огнеупорная крыша из уральского цементированного асбеста. Люди часами любят на погреб, на коровник, на летнюю кухню, на весь этот новый рабочий дом, где каждая семья будет пользоваться отдельным очагом, отдельной входной дверью, отдельным шкафом для просушки мокрой одежды. К сожалению, Донуголь жаден на постройки, бережлив и осторожен, как Плюшкин.

В этом году он заказал Госстрою только 20 домов для семейных (действительно хороших, крепких домов) и 4 общежития для холостых рабочих. Это при двадцатитысячном рабочем населении, при семи тысячах углекопов, голодными глазами считающих каждую новую балку, каждый гвоздь, идущий на постройку. Или в этой области будет проявлена такая же исключительная энергия, какую партия развивала на фронтах голода и гражданской войны, или гнилые, туберкулезом промоченные и проплеванные дома под самым носом у ГПУ будут продолжать свою контрреволюционную агитацию, которую они ведут вот уже 6 лет. Старые горловские хлевы как самые неисправимые враги советской власти должны быть поставлены к полуторааршинной стенке

нового, из здорового камня и дерева построенного пролетарского дома.

Больница и медицинский надзор. Из своих семи тысяч углекопов Горловка может ежегодно послать на отдых 150 человек. Это немного. Но хуже то, что только 4 или 5% настоящих шахтеров попадают в Крым или на Кавказ. Большинство оседает на Донце, в доме отдыха, где сырые сосновые леса мало способствуют излечению. Больница бедна. Всех, кто вообще может ходить, она отправляет домой и долечивает на ежедневных приемах. Только тяжелобольной может рассчитывать на койку и то не всегда. Случается и так: забредет в Горловку рабочий, уже больной, дотащится до больницы,—места нет. Наймется в шахту, поработает несколько дней и потом свалится где-нибудь в углу сборной комнаты, да так и лежит трое суток, путаясь под ногами чередующихся смен со своими хрипылыми вздохами, мучительными плевками и кучей заугленного тряпья. Между тем человеческая развалина, нашедшая убежище в самом сердце копей,—тоже не кто-нибудь, а товарищ Трофимов, шахтер, два года добровольно воевавший в Красной, уволенный со службы после тяжелого ранения, полученного на фронте,—словом, один из тех углекопов, которые воевали и ставили на ноги могучие шахты Донбасса, один из тех, которые и теперь тащат в гору производство, несмотря на проклятую бедность, повисшую на горбу. Смены приходят и уходят, шумит живой рабочий прилив, гудки выкрикивают часы работ, из бездонного мешка земли ежедневно высыпается сотни тысяч пудов угля, шахта с громовым маршем победы и труда шагает через головы своих павших бойцов. Кто-то обязан заботиться о том, чтобы их вовремя поднимали на носилки, чтобы для их последнего часа всегда находилась постель, накрытая тишиной и покоем. Или такой случай: внизу, на самом дне копей, в одном из забоев 260 горизонта, рухнувшей крышей тяжело побито забойщика. Несчастье случилось около 7 часов вечера. Как назло, клеть подъемной машины благодаря маленькой неисправности не могла тотчас поднять пострадавшего на поверхность. Но, кроме главного ствола, каждый горизонт имеет еще от 5 до 7 запасных входов, так называемых гезенков. Это — труба, мокрая и узкая, в которой едва помещается человеческое тело. Со дна ее встает сумрачный ветер шахты,

мокрый, с острым конским запахом. Ноги едва достают широко расставленные перекладыны. Малейший камень, сорвавшись вниз, приобретает страшную силу удара. Между тем со дна, видимые в этом колодце как звезды сквозь подзорную трубу, шевелятся и лезут вверх фонари испуганных забойщиков. При малейшей тревоге они бросаются вон из шахты, гонимые призраками 17-го года.

Внизу, в маленькой дощатой комнате, на подстилке из сена лежит человек, лица которого не видно: это раненый забойщик. Мы спустились в шахту около часа ночи. Фельдшер прибыл всего на четверть часа раньше нас. С 7 до 1 часа! Где же он пропадал в течение 6 с лишним часов? Эти факты приводятся здесь вовсе не для того, чтобы набросить тень на Горловку, наоборот, ею сделано очень много для улучшения рабочего быта; но сейчас, куда ни обратиться, с кем ни заговори, — в забое и в кочегарке, в очереди кооператива и на партийном собрании, — рабочие повторяют одно и то же: раздражающие «мелочи», не вызванные общегосударственными причинами, могут и должны быть устранены.

Кооператив. Каждый шахтер и сам отлично знает, что его рабкооп в долгах, как в репьях, и только в этом году начинает становиться на ноги. Но знает и другое: что на первых порах скудные средства были самым нелепым образом потрачены на покупку дорогих и ненужных пиджаков, вагонов бумаги и косметики. Что знаменитый коммерсант, совершивший все эти сделки, ухитрился потерять 5000 руб.; что в Горловке в этом году существуют хлебные очереди, которые стоят с вечера всю ночь, до самого утра. Что шахтеры, вернувшись с работ, ходят и ищут загулявшего раздатчика, чтобы получить свой фунт хлеба. Знают и о том, как в срочном порядке были выстроены по всему поселку хлебные ларьки, которых не удалось открыть из-за отсутствия весов. Да ведь любой рабочий с радостью одолжил бы свои собственные, и на складах рудоуправления они имеются. Черт возьми, если бы рабочий с таким же легкомыслием относился к своим обязанностям, его бы в шею выгнали с работы. Нельзя же в самом деле устраивать 18-й год с ночными очередями, с женщинами и детьми, спящими на земле у порога хлебных лавок. В забоях, на собраниях, в сборной вой стоит от этих

мелочей, от этой вши нашего быта, принявшей размеры слона.

Все это минусы. Но только слепой не увидел бы за ними гигантских шагов, которыми идет вперед новая бытовая культура. Особенно с тех пор, как ленинский набор призвал в ряды партии лучший слой рабочих, имеющих производственный стаж от 5 до 30 лет, из них 50% красноармейцев-добровольцев, часто людей с более высоким политическим образованием, чем партийцы 17-го и 18-го годов, которым некогда было учиться. На первое января на 4758 рабочих приходилось 144 коммуниста и кандидата; на первое апреля при общем количестве рабочих в 5149 человек уже 242 коммунара; на 1 августа 5472 рабочих, из них 536 коммунистов, не считая 22 анкет в портфеле товарища Горького, секретаря кулспарткома, поступивших только теперь, через несколько месяцев после массовых вступлений. 22 долго обдумывавшиеся, спокойно выношенные анкеты.

Одно воскресенье, прожитое в Горловке, разворачивает целую картину нового быта. От собрания юных пионеров, с их неожиданными полосами глубокого внимания, когда оратор говорит понятно и требует коммюна на папу и маму, до новых крестин, во время которых на сцене сидят пожилые уже рабочий и работница, и нянька, к радости всего собрания, укачивает за спиной президиума готового голосистого младенца, которого покрыть может только ускоренный свадебный «Интернационал», заставляющий ежеминутно и с радостью вставать и садиться всех свидетелей; от комсомола, — славного, голенастого, веселого комсомола, который в жаркие дни довольно нерадиво душит толстенный том экономики и не знает, как быть со своей горячей кровью — без любви противно, а жениться, ничему еще не научившись, тоже нельзя, — и до работниц, которые большинством голосов проваливают на собрании регистрацию брака на том простом основании, что замуж выходить можно только по большой любви, а пока что в часы, свободные от тяжелого труда, должно жить радостно и молодо. Только семьи тут припутывать не нужно, и нечего обращать в пожизненную каторгу каждую случайность.

Разве все это не новая жизнь? А теплый, молодой, жизнерадостный и по-молодому серьезный кулспартком, где трезво и без чиновного чванства работают, где к ком-

сомольцу приходит пожилой рабочий поговорить о всех своих нуждах — и партийных и семейных. О том, что ему, старику, трудно дается «История партии», хоть читает ее честно третий раз, а еще труднее развестись с женой, так как вещей накопилось много — что лежит в сундуке, то ее, а то мое, — как же мы добро разделим? И комсомолец Шишов — умный, лукавый, быстрый комсомолец наших дней — слушает, вдается в детали, переспрашивает насчет полушубка и тихонько привязывает «отца» к партии. И удивительное, осмысленное и полное уважения, совсем новое, изнутри и снизу выросшее отношение пожилого рабочего ленинского набора к новой работнице, вступающей в его ряды с молодым голосом, который так легко обидеть, пробующей защитить себя и свою жизнь от сплетнического, злого, бабьего гнета старой семьи.

Испитое и битое, затравленное или озорное лицо дореволюционного поселка неузнаваемо. Мы сидим в центре и не подозреваем, как много вопросов величайшей важности — вопросов совести и любви, вопросов детских и взрослых, касающихся каждой одиночки и коллектива; вопросов сейчас, сегодня, из жесткого старого кирпича устарелых жизненных форм вытесывающих, выгравированных наше коллективное завтра, разрешается там, в Горловке, в городке, где люди вдыхают запах углекислоты, смешанной со зловонием выгребных ям. И делается это все не сверху, а без ведома всякого верха, часто вопреки косной и омещанившейся воле маленьких чиновных людей.

Изумительна Горловка в воскресенье вечером. Ее угольная гора стоит гигантским треугольником, вписанным в теплое лунное небо. Здания рудника — как темная гавань, к которой причалили корабли с их дымными трубами и ослепительными огнями. Злые подземные огни тлеют по склонам горы, и от времени до времени вагонетка, взбежав наверх, опрокидывает на них град камней. Тогда огонь, старый поджигатель, красноглазый цыган, выплевывает облако дыма и переползает на новое место со своим камельком.

А внизу, где когда-то пьяная и озверевшая от нищеты гуляла старая Горловка, заливаются гармоникки. А внизу — качели, к которым огромный фонарь поворачивает то одну, то другую белую щеку света. Внизу — сад, в котором цветы на весь поселок кадят запахом

юга и роскоши. Оркестр и комсомольцы, клубы и собрания, старинные шахтерские песни и «Интернационал», озорной свист загулявших коногонов — и мальчишки, обсасывающие у щелей обрывки новой пьесы, капающей из театра в сад, как капает мороженое с промокшей пятикопеечной бумажки.

Внизу, в тени промышленной крепости, темные улицы и сытый, мирный собачий лай, много молодых и влюбленных, много детей и много беременных женщин, запах свежего хлеба, и на каждом столе арбузы — красные солнца с черными родинками на сахарных холодноватых щеках. Покой и движение, тень и свет и не выразимая никакими словами, широкая, отдыхающая тишина двадцатитысячного рабочего города.

И видишь: это победой и миром полнится советская страна.

СОЛЬ

Бахмутская долина, это — кусок черного хлеба, густо посыпанный солью. Под одеялом чернозема лежит сплошной, почти без прослоек, чистый, как лист бумаги, безукоризненный соляной пласт. Его мощность достигает 22 сажен, то есть она почти в десять раз превосходит в ширину богатейшие угольные залежи Союза. Вся площадь соляного королевства равняется 54 верстам, и еще несколько лет тому назад оно пользовалось своеобразной независимостью. Крестьяне, его населяющие, почему-то говорили по-украински, разводили арбузы и ездили на своих медленных великолепных волах. Но из 9 колоссальных рудников 7 принадлежало голландцам и французам и только 2 — русским капиталистам. Но дивиденды голландцев растревожили опасного конкурента: новая буржуазия, образованная и либеральная, уже тогда носившая в кармане адвокатского фрака диплом оксфордского университета и проекты российской конституции, серьезно повела борьбу за более справедливое использование французско-голландской соляной колонии. Сам блестящий Терещенко, парламентарий и коммерсант, будущий министр Керенского, имя которого, звонкое как трещотка, с таким ликованием предавали хуле питерские мальчишки, прыгая во главе бурных июньских демонстраций, заложил прекрасно оборудованный рудник, ныне «Свердлов».

Иностранцы не жалели денег на оборудование своих южнорусских колоний. Барыши были так огромны, что в кратчайший срок окупали все расходы по механизации

ции производства. Не пожалел их и Терещенко. Но его предприятию, основанному на широком и прочном фундаменте, рассчитанному на неторопливую и длительную эксплуатацию, суждено было кончить грубейшим хищничеством. Уже достроены прекрасные — лучшие в Донбассе — дома для рабочих; идеальная силовая станция и мельница для размола более дорогих сортов соли. На глубине 7 сажен шахта наткнулась на первый пласт. Нужно было, не задерживаясь на этой второстепенной залежи, сразу пройти несколькими саженями ниже и начать разработку колоссального 22-саженного пласта. Но началась война: цены на предметы первой необходимости сделали дикий прыжок вверх, — наступила эра благодатной спекуляции, в которой Терещенко не мог не принять самого деятельного участия.

Начатый было ход на второй горизонт забили камнями. Все работы по расширению и научно-правильному оборудованию прекратились. Началась охота за деньгами.

Соль образует идеальные своды, ее подземные постройки считаются вечными. Никакая София не сравнится с безумной смелостью ее снежных куполов, — нужно полное пренебрежение всеми законами горного дела, чтобы подвергнуть шахту опасности обвала. Что же, спекулятивное хозяйство исковеркало всю внутреннюю архитектуру «Свердлова». Оно даже не дало окрепнуть и устояться свежему бетону, который должен был защитить рудник от напора подземных вод, прибывавших по 8000 ведер в час. Несмотря на предупреждение опытного рабочего Рудченки (теперь управляющего двумя рудниками), через три дня после заливки все дренажные трубки были закрыты, и, минуя их, ринулись за первыми партиями соли. А через 48 часов бетон сдал, хлынула вода, и до сих пор клетки подъемной машины опускаются на дно «Свердлова» под проливным дождем. Правда, и у нас нашлась ученая инженерская комиссия ВСНХ, чуть ли не в этом году предлагавшая закрыть и затопить «Свердлова» ввиду... ограниченности нашего соляного рынка, не способного взять больше 13 миллионов пудов. Затопить соль — значит навсегда ее потерять. Вода выщелачивает стены, и рудник обваливается.

Но, как говорит один старый свердловский рудокоп, «рабочий честно момент учитывает и так вам гвоздь забьет, что и комиссии не поздоровится». «Артема» (со-

седний рудник) с его 22-саженным пластом, с запасом соли на 100 лет, считая по 7 миллионов в год, и галереями не длиннее 200 сажен, ввиду всяких технических соображений пришлось бросить, а «Свердлова» отстояли. Рабочие заволновались, запротестовал председатель треста, да и рынок с его условной емкостью сверх ожидания уже в этом году проглотил без остатка больше 20 млн. пудов. Сейчас этот единственный в своем роде рудник, с его механическим оборудованием и полной электрификацией, поставляет республике соль по самой низкой цене — 4 копейки за пуд («Шевченко» и другие — по 9, 7 и 6 копеек.)

«Шевченко» — огромный и все еще безмерно богатый соляной колодец — является образчиком добродетельной косности и несколько тупого усердия, при помощи которого европейская буржуазия диккенсовых времен наживала свои капиталы.

Старой Жаннетте — первой фабричной трубе «Шевченко» — сейчас больше 50 лет. Ее мельнице — шумному первобытному сооружению, перемалывающему соль в неуклюжих ступах толстыми кулаками, тоже за полвека. Она работает, шумя старомодными ремнями и жерновами, развевая пыль вокруг себя, как мельничиха, идущая к обедне со своими крахмальными юбками, надетыми одна поверх другой.

А старая водоотливная машина — честный чугунный батрак, за 30 лет непрерывного труда ни разу не бравший отпуска ни по болезни, ни по усталости. Он работал не торопясь, медленно подымая и опуская неутомимые плечи, методически наполняя свой живот водой и отрывая ее вон из шахты. Целое соляное море прошло через его луженые внутренности. Всякому, осматривающему рудник, необходимо повидать этот удивительный инструмент, образчик бессмысленной и великой в своем усердии рабочей силы. Идти к нему нужно через помещение его молодого помощника, небольшого электрического «Зульцера», поставленного в этом году, — корректной, сдержанной, скупой на движения машины, бесстрастно работающей в этом подземелье, как какой-нибудь техник-иностранец, не знающий языка и потому молчаливый.

За ним ухаживает и смотрит высококвалифицированный рабочий, такой же современный и новый в этой старомодной шахте, как его насос. Это товарищ Белоус,

красноармеец во время революции, человек с тонким интеллигентным лицом и изощренным слухом музыканта. Он наблюдает, чтобы машина ровно и монотонно пела свою трудовую песню, однообразную, как выюга. На грязной замасленной табуретке, рядом с ветошкой, которой камеронщик вытирает масляный пот машины, лежит открытая книга: это «Космополиты» Бурже.

Ниже люк, лесенка куда-то вниз, узкая труба, выложенная кирпичом, по которой лепеча бегут во мраке вечные ручьи. Кое-где пол уходит из-под ног: вода наливает жидкие ямы желтоватой грязью, бежит, и дальше — бесконечная, неумная, непобедимая вода.

Наконец глубокий сырой колодец. Здесь отдыхает огромный насос — «наш старый громила», как его зовут рабочие, — смазанный маслом, как крестьянин в воскресенье; его медные части блестят, как большие и дешевые деревенские часы. Поршень неподвижнее трубки в руке уснувшего человека.

Эти старые машины, исполнительные и верные, как слуги крепостных времен, избаловали и распустили целое поколение рабочих. Люди привыкли во всем и вполне полагаться на машину. К чему наблюдать и контролировать, когда все вертится само собой: поршень качает воду, а мельница трет соль. Рабочие часами уходили из мастерских, уверенные, что старики и без них будут суетиться так же честно. Машины незаметно старелись и слабели, но никто не замечал маленьких странностей, старческих причуд, к которым успели привыкнуть за полвека.

Так, например, бабушка рудника, почтенная мельничная машина, пристрастилась к особым освежающим компрессам, без которых решительно не желала работать. Каждую зиму для нее набивали особый ледничок, и в течение всего лета старушка пользовалась ледяными примочками, которые специальный рабочий, знакомый со всеми причудами своей старой барыни, прикладывал к валу, к самому коренному подшипнику.

И когда весной этого года товарищ Рудченко, приняв «Шевченку» в состоянии полного развала (дело дошло до того, что богатейший рудник давал всего 8000 пудов в месяц при 275 рабочих и неслыханном расходе топлива — от 700 до 1000 пудов), вдруг воспретил и ледник, и компрессы, и особого камердинера для прикладывания оных, — весь поселок взволновался.

— Как, мельницу лишили ее старейших, заслуженных преимуществ!

Пожилой, хороший рабочий пришел в контору и заявил новой администрации с величайшей горечью:

— Я двадцать пять лет стою при этой машине, а через тебя она должна погибнуть. Не могу, давай расчет.

Весь авторитет соввласти был поставлен на карту: из Бахмута приехала специальная комиссия инженеров и торжественно установила, что «уклон», обнаруженный в теле мельницы, вполне законен, и известная неправильность частей даже полезна, предохраняя от порчи подшипники.

Тем не менее красный директор, этот тяжеловесный и настойчивый человек, с тяжелым грузным лицом, испачканным землей, как клубни свежвыкопанного картофеля, бегающий по производству с расстегнутой грудью и босыми ногами, днями и ночами пропадающий на фабрике, как бродяга в лесу, все-таки настоял на своем: на 6 суток остановил машину, и что же? Знаменитый «уклон» оказался старческой болезнью, искривлением, от которого десятилетия страдало все производство. Старина оказалась побежденной, ледник исчез в области преданий. Дальше бороться с рутинной и распушенностью было уже легче. Ветхие паровые котлы, разъеденные соленой водой, испорченные перяшливой, неравномерной топкой, просили срочного ремонта и разгрузки. С них сняли второстепенные обязанности, переведя на электричество все, что только можно было перевести. Рудник, 40 лет ведрами таскавший пресную воду из отдаленного колодца так, что бабье его горе с вьюгами и обмерзлыми ведрами успело войти в старинные песни, вдруг получил водопровод. И люди и котлы напились хорошей мягкой воды. Затем началось введение новой трудовой дисциплины. Прогулы, отношение к машине, как к няньке, которая за младенцем и сама за собой присмотрит,— все это кончилось. Кто-то вздумал вставить проволочку «для сопровождения фитилей» — проволочка попала в подшипник и испортила шейки валов,— виновный был немедленно отстранен от работ. Техники, деморализованные старинным расхлябанным хозяйством, тащившимся, как дорожная карета прошлого века, по осенней грязи, и авторитет которых в глазах масс нуждался в искусственной поддержке,

тоже подобрались. Месячная добыча увеличилась. С октября по август рудник погрузил почти 3 миллиона пудов, себестоимость, взвинченная до 10 с лишком копеек, пошла вниз. В мае — 10, в июне — 8 копеек. И эта цена чрезмерна. Рудченке придется ее сломать, по крайней мере, пополам, чтобы не попасть на длительную консервацию.

Вода, угрожающая шахте, лежит выше нее, между потолком соляных дворцов и поверхностью земли. Самый рудник сух, как солонка, если только можно назвать рудником дивный белый город, соединенный с землей тесным и мокрым колодезцем. Упав на глубину 80 сажен, клеть останавливается перед какой-то обширной площадью, покрытой талым, грязноватым снегом. От нее берут начало широкие пустые улицы, — только в столицах, и позднюю ночью, когда прекращается уличное движение, длинный ряд фонарей так смутно и одиноко шагает посредине безлюдных проспектов, как здесь, на этом подземном Невском. Но оттененная вечной темнотой, ночь здесь похожа на черную драгоценность в черном, как она сама, футляре.

Небоскребы без окон, гигантские постройки со слепыми стенами, целые кварталы, вдруг закрывшие каменными веками глаза своих окон и такие безмерно высокие, что где-то наверху, между карнизами, теряются неподвижное небо, Млечный Путь несравненной белизны и одинокие звезды из кристаллической соли.

Как ни велик подземный город, он все еще продолжает развиваться и расти: 176 галерей, где потолок только начал подыматься от земли, чтобы через полгода достигнуть высоты старых, уже выработанных ходов. В низком подвале бурильщики рвут нависшую крышу динамитом. Каждая смена высверливает по 50 гнезд, следующая становится на гору сброшенной взрывом соли, третья подымается на место второй, и так без конца, пока весь колодез не наполнится горой взрыленной соли. Вагончики грузят ее и увозят, пьяные сладким и тяжелым запахом динамита, который пропитывает белый поток и держится в нем, как дым сигары в волосах. Позднюю ночью, когда в шахтах смолкает артиллерийский гром, вальщики, самые опытные и мужественные рабочие рудника, придерживаясь за тонкую бечевку, черными мышатами подымаются на вершину сыпучей горы и ширмами, длинными, заостренными ло-

мами, сбивают вниз рваную соль. Способ бурения на «Шевченке» так же устарел, как его машина. И мастер-бурщик, вроде товарища Орлова, 30 лет ломавший каменную соль тяжелым, вышедшим из употребления варварским сверлом, в своем роде не уступит ни Жаннете, ни старому насосу. В его жизни тоже не было передышек. Как лодка наперерез волнам, как пила поперек ствола, так буровая скважина должна быть пробита поперек пласта и той волнистой линии, которую прибор веками откладывали на соляном дне. 30 лет товарищ Орлов шел против окаменелого течения. Вся его жизнь — железный перпендикуляр, вбитый в упрямую породу.

Совершилась революция, приходили немцы с дисциплиной и хорошей водкой. Орлов колол соль. Был Петлюра, Деникин был, — жал долго и крепко.

— Заливал за шкуру сала.

Орлов продолжал бурить. Между «Артемом», «где был кадюк», и Бахмутом красным «Шевченко» сделался ничей — нейтральный, без власти и без имени. Орлов бурил, пока наверху с винтовкой в руках сторожила вторая смена. Продолжал работать и каждую ночь спускал коммуниста на дно рудника в белоснежное, как дворец просторное, подполье. Бурил и ночью, простившись с бабой и детьми, бежал спать на советскую станцию «Соль», чтобы не попасть под нож случайной банды. Иногда спекулировал солью, пришивал себе особые мешки к подкладке прозодежды, ссорился за эти мешки с заградительными отрядами и бурил, бурил, бурил. Белые ограбили рудник, увезли весь запас угля, необходимый для водоотливных машин. Через два часа шахта должна была пойти ко дну. Рабочие велели женам тащить в кочегарку весь их запас угольного мусора, припасенного на зиму, все лишние деревяшки выломать из жалкого дома — и ушли на работы. Орлов спустился вместе с ними. Наконец, как дым, прошел Деникин, сгнил Петлюра, голод отошел в прошлое. Уже остановился старый насос, станет скоро и старая, скрипучая мельница; даже сверло в руках Орлова — ржавое и тупое — одряхлело, и место его займет новый электрический бур. Но те же твердые старческие руки, построившие столько подземных дворцов, все белые залы и блестящие триумфальные арки из кристалла, все улицы и площади, своды и лестницы соляного города, пометившие ударом своего мастерского кайла, впервые испро-

буют на стенах «Шевченки» новое трудовое оружие.

Может быть, он все-таки устал. Когда старик, закончив дневной урок и поджидая десятника, сидит на соляной льдине, сложив руки на коленях и сгорбившись, голова его на тонкой худой шее, как электрический фонарь днем: сухая черная ветка с потухшей, как бы оторванной виноградиной света. Но, стряхнув дремоту, парой шуток, как камешком, отогнав от себя Бабенку, плутоватого и смешливого своего помощника:

— Ты, — говорит, — парень не при своих чувствах. Видно, жену начал вишать и то не за шею, а за поперек. Дурак ты еще. — И, оглядевшись кругом, с гордостью и спокойствием: — Вот нам золотое дно какое нашли, а сами поутикалы. Боялись, штоб их не повишала. Вони знают, шо украинци сами смирнийши люди.

— Без них управимся!

Еще раз, далеко с вершины белой горы, мудрый и насмешливый старческий голос:

— Дивчина чи молодычка? Вы уси бабы мягкие, падать вам не больно, — а все-таки, дочка, держись поближе к стенке, — не ушибешься.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Крамов. Лариса Рейснер</i>	3
--	---

ФРОНТ

От автора	19
Казань	22
Казань — Сарапуль	42
Маркин	50
Астрахань	58
Лето 1919 года	74
Астрахань — Баку	89
Баку — Энзели	94
Петербург	103

АФГАНИСТАН

<i>Глава первая. Наша Азия и Азия по ту сторону границы</i>	107
<i>Глава вторая. Об афганской женщине, о сборе винограда и о плясках племен</i>	125
<i>Глава третья. Машин-хане</i>	131
<i>Глава четвертая. Плац-парад</i>	137
<i>Глава пятая. Хина, карболка и мази из бараньего жира</i>	142
<i>Глава шестая. Закрытая женщина с закрытым ребенком</i>	150

<i>Глава седьмая. Про науку, англичан и канат . . .</i>	153
<i>Глава восьмая. Наука в гареме</i>	158
<i>Глава девятая. Вандерлип</i>	166
<i>Глава десятая. Как пишется история</i>	176
<i>Глава одиннадцатая. О людях и странах, отделенных от СССР и 1923 года пустыней, несколькими веками глубокого сна, кряжами вечных гор и кривой мусульманской саблей</i>	181
<i>Глава двенадцатая. Фашисты в Азии</i>	190

ГАМБУРГ НА БАРРИКАДАХ

Гамбург	207
Бамбэк	211
Шифбэк	226
Портреты	231
Еще раз — о Шифбэке	236
Хамм	246
Меньшевики после восстания	253

УГОЛЬ, ЖЕЛЕЗО И ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Билимбай (<i>Рудник</i>)	261
Ревда	271
Шайтанка	280
Лысьва	283
Кытлым (<i>Платина</i>)	300
Уголь черный и белый (<i>Кизелстрой</i>)	317
Подземники	326
Надеждинский завод (<i>Черновой набросок двух цехов</i>)	338
Горловка (<i>Донбасс</i>)	346
Соль	363

Рейснер Л. М.
Р35 **Избранное** / Вступ. статья И. Крамова; Сост.
и подготовка текста А. Наумовой. — М.: Худож.
лит., 1980 — 372 с.

В настоящее издание входят очерки и рассказы Ларисы Михайловны Рейснер (1895—1926) о гражданской войне, о рабочих Урала и Донбасса, о революционной борьбе в Германии, об Афганистане 20-х годов. В них нашла свое отражение богатая событиями яркая жизнь писательницы.

Р 70302-008
028(01)-80

80-80 4702010200

Р2

*Лариса Михайловна
Рейснер*

ИЗБРАННОЕ

Редактор

Л. Полосина

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

Г. Володина

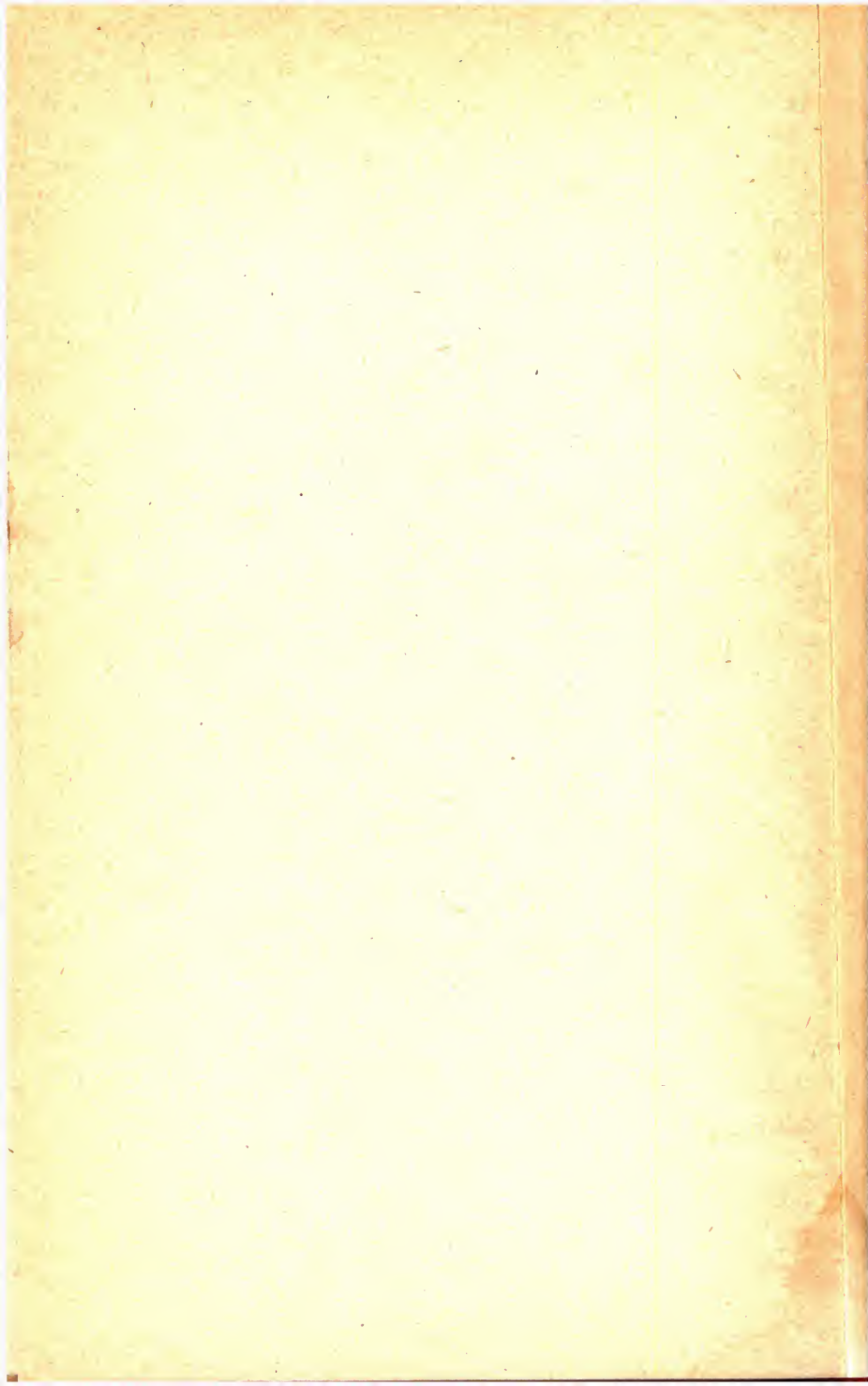
М. Поляк

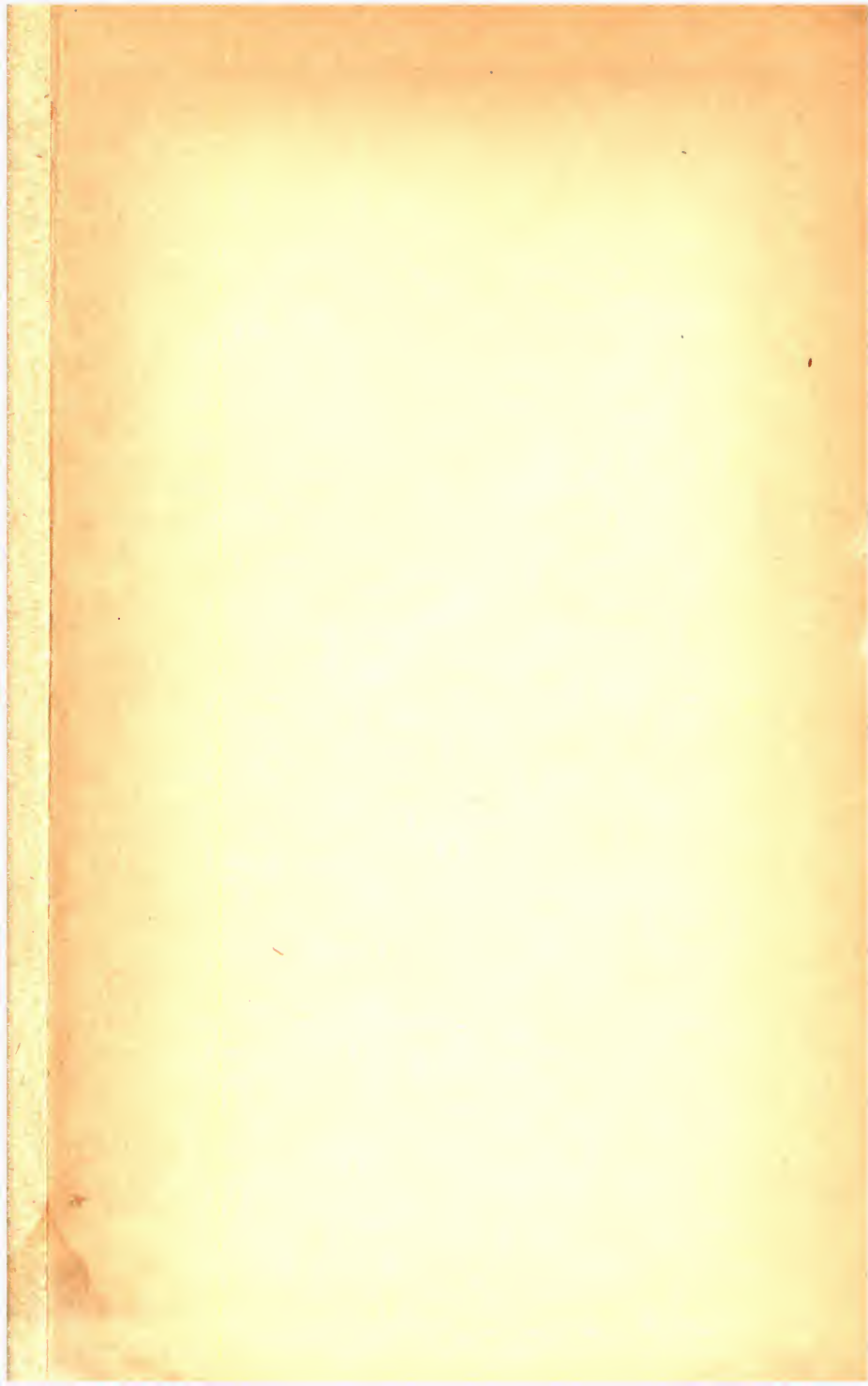
ИБ № 1663

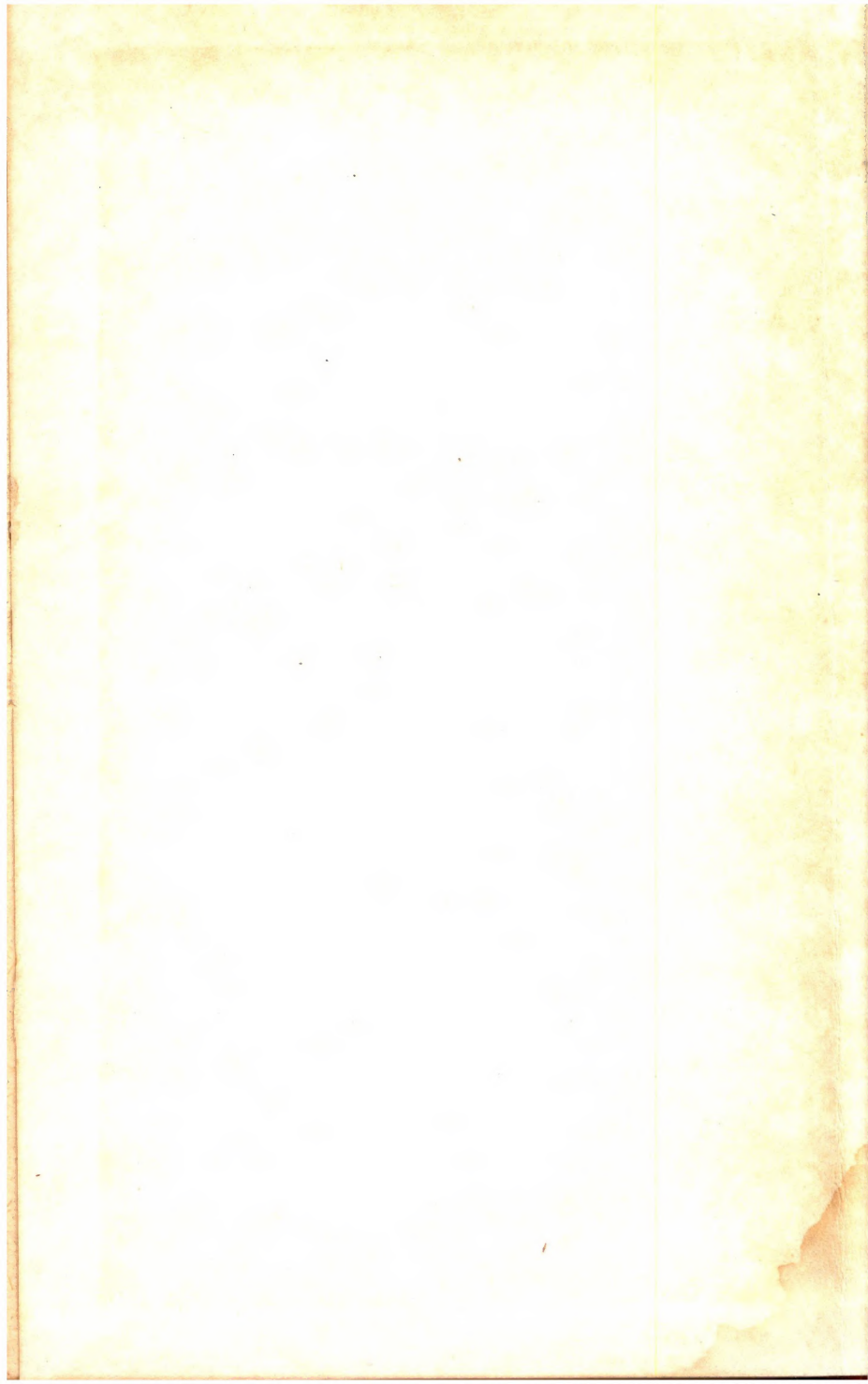
Сдано в набор 12.02.79. Подписано к печати 12.09.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. 19,74+1 вкл.=19,792 усл. печ. л. 19,632+1 вкл.=19,682 уч.-изд. л. Тираж 30.000 экз. Заказ № 22.
Цена 1 р. 80 к.

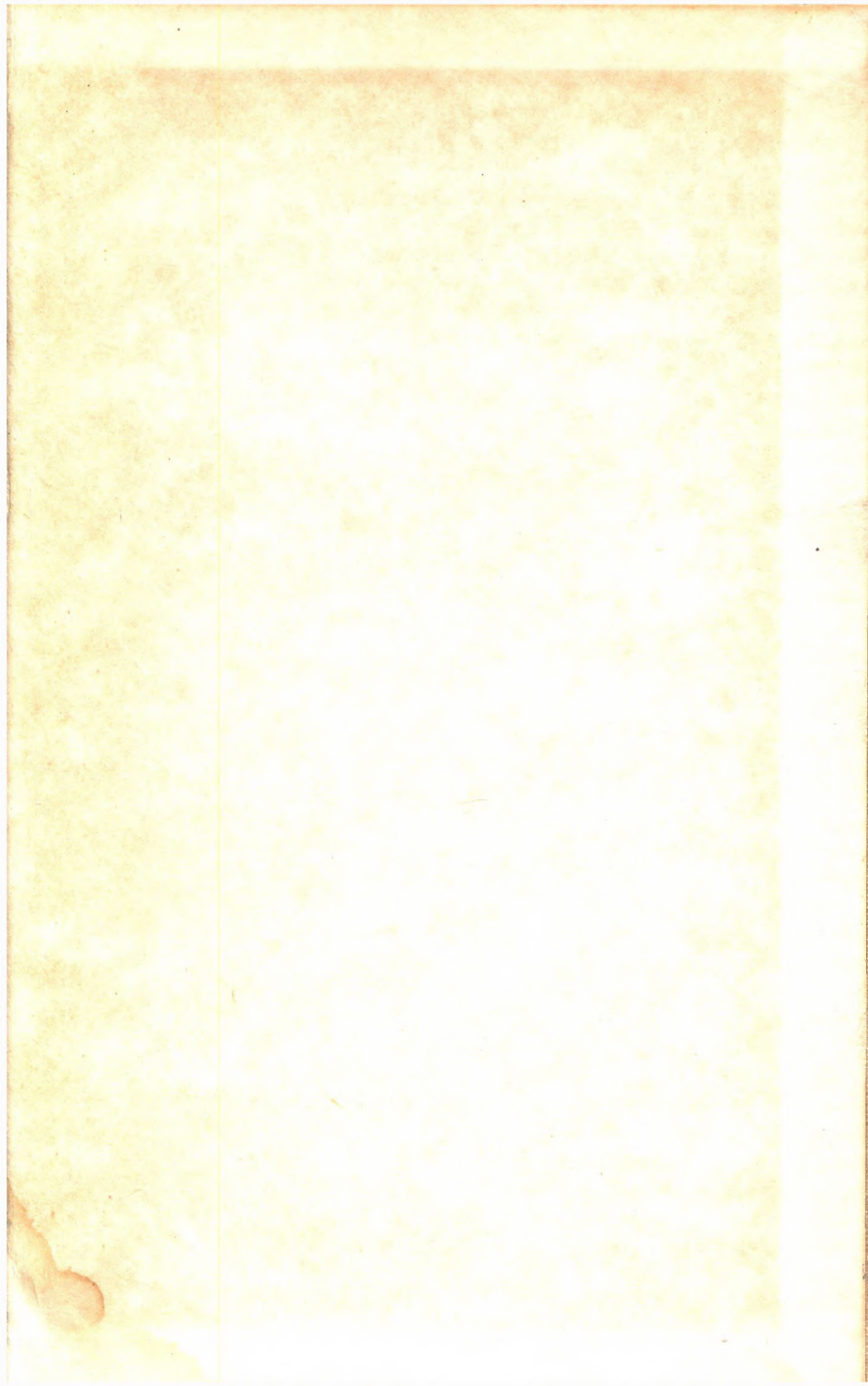
Издательство
«Художественная литература»,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Типография издательства «Таврида»
Крымского обкома КП Украины,
г. Симферополь, проспект Кирова, 32/1.











PLANCHER
JANICA

